

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ



Игорь
Альинский



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



**Матери моей Аделии
Ивановне, памяти отца
Михаила Федоровича,
всех первокомсомольцев
Ленинграда посвящаю
эту книгу.**

А в т о р

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 5

(667)

Игорь Ильинский

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986

Автор благодарит за помощь в работе над книгой лауреата Государственной премии СССР, доктора исторических наук, профессора И. П. Лейберова, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата премии Ленинского комсомола, доктора исторических наук, профессора А. С. Трайнина, заслуженного деятеля культуры РСФСР, заведующего Центральным архивом ВЛКСМ В. Д. Шмиткова, выражает свою признательность всем, кто прежде писал о В. П. Алексееве и способствовал тем самым созданию документальной основы данной книги.

И 470201020—068
078(02)—86 Без объявл.

«Подвижники нужны как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации..., есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели».

А. П. Чехов

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шел февраль 1917 года...

Грозовую тучей нависло над Россией ожидание революции. О революции с надеждой говорили, за нее страдали, ее готовили наиболее сознательные элементы в рабочей, крестьянской и солдатской массе. Революцию предрекали в кругах прогрессивной интеллигенции. Революцией пугали друг друга промышленники, помещики и купцы, от нее, словно от черта во святом храме, открепивался забитый и малограмотный обыватель. Грядущую революцию чувствовали, о ее неумолимости подозревали, ее изучали наиболее дальновидные царские политики. Откровенно и зло об опасности революции говорил царю председатель Государственной думы Родзянко, упрекая его в опасной пассивности. Даже у самого трона были люди, отдававшие себе отчет в чреватости сложившейся политической обстановки таким взрывом, который может уничтожить существующий строй. Председатель военно-промышленного комитета Гучков замыслил государственный переворот. Разуверившись в способностях правительства серьезно влиять на ход событий в стране, метались в поисках выхода и путей спасения своих капиталов наиболее головастые капиталисты. Крупный петроградский промышленник Путилов бредил идеей введения в России военной диктатуры... Ходили слухи о монархическом заговоре во главе с царицей Марией Федоровной, матерью Николая II, программой которого были сепаратный мир с Германией и подавление революции железной и беспощадной рукой диктатуры военных.

Как и все его окружение, революции боялся, но не верил в ее возможность российский самодержец Ни-

колай II. Венценосец и мысли не допускал, что в России может найтись сила, способная встать во главе ее разношерстного населения, и тем более поднять его на свержение богом освященной монархии. Когда генерал Спиридович, начальник личной охраны царя, его любимец, человек умный и преданный трону, представил свое тревожное исследование о социал-демократическом движении, царь сделал ему внушение и отправил градоначальником в Ялту. Император был уверен, что четвертое столетие царствования династии Романовых, счет которому начался всего-то в прошлом, тысяча девятьсот шестнадцатом году, будет не менее счастливым, чем три предыдущих. Он безотчетно верил в армию и жандармерию, считал, что они по его указанию способны немедленно покончить с любым бунтом, если таковой завяжется.

И они старались...

Третье отделение собственной его императорского величества охраны дено и ношно разрабатывало революционное подполье в России и за границей. Шестдесят ящиков с карточками на революционеров за все двадцать три года владычества Николая II хранились в архиве охранного отделения и были вещным олицетворением служебного рвения и способностей специальных служб. Царь не скупился на похвалу, «царские поцелуи», деньги и награды для радетелей его спокойствия.

Но больше всего забот было у петроградской охраны. Немудрено: Петроград — цитадель революционного движения. Стачки. Забастовки. Демонстрации. Листовки и обращения к народу на стенах домов. Очереди у магазинов за хлебом и озлобленные лица голодных людей... По ночам в городе темень — не хватает электричества. Страшно свернуть в переулок, страшно войти в подъезд дома, даже в квартире страшно, потому что страшно снаружи, на улице. Хлещет по ногам, замает во двory поземка, воеет жуткий, пронзительный, холодный ветер. Город замер в тревожном ожидании. Вот пришел новый, 1917 год. Что принесет он? Как будет с хлебом? С электричеством? С дровами? С транспортом? Когда же перестанут шагать по улицам солдаты, свистеть над головами казачьи нагайки? Когда же наконец закончится война?.. Народ негодует, волнуется, грозит.

А в мрачном доме на углу Александровского проспекта и Мытинской набережной, где находилось Отделение по охранению общественной безопасности и порядка пет-

роградского градоначальства и столичной полиции, — а попросту, в охранке, — напряженная работа шла круглосуточно. Здесь, как никто и нигде, знали всё, здесь чувствовали: в России происходит что-то такое, чего еще не бывало никогда, и перед этим «что-то» даже жуткий 1905 год кажется не таким страшным. Будто горят торфяные болота, когда еще не видно огня, но ясно, что там, внизу, в глубине, он ведет свою страшную разрушительную работу, там бурлит и бушует, там раскалено, как в аду, и в любое мгновение из его всепоглощающей пасти выскочат на поверхность языки и все, что есть на земле, рухнет в нее — огромную, ненасытную...

Жандармы и полицейские не щадили себя.

Живым примером для всех служил хозяин петроградской охраны, генерал-майор отдельного жандармского корпуса Константин Иванович Глобачев — человек умный, хитрый и зверски жестокий, получивший этот пост от царя за усердие в борьбе с революционной криволой в Гродно, Варшаве, Нижнем Новгороде, Севастополе. До поздней ночи, порой до утра горел свет в его кабинете: генерал слушал доклады, доносы, инструктировал, карал, миловал... Засучив рукава, засунув в карманы белые перчатки, оглушенные нагоняями, ведомые мечтой о новых званиях и наградах, будто лошади в мыле, носились по Петрограду старшие и младшие чины охраны, напрягали последние силы провокаторы и филеры.

Тюрьмы были забиты политическими. Самые скверные камеры — политическим. Бурда с песком, заплесневелый хлеб — политическим. За малейшее сопротивление — наручники, карцер. Людей избивали до полусмерти «за так», ради развлечения. На допросах пытали. Совсем не малодушные, готовые, казалось, к более жестоким испытаниям, иные сходили с ума, решались на самоубийства. Те, кому удавалось вырваться на свободу, рассказывали страшные, леденящие душу истории.

Жалобы словно растворялись в воздухе. Да и кому было дело в государственных департаментах до воплей обездоленных и униженных, когда давали грешины стоявшие веками дворцы, качался трон и рушилась империя? Перестановки в правительстве следовали одна за другой, министры и начальники менялись как шахматные фигуры... И тут не до чьих-то писем и жалоб, тут бы не сплеховать, службы не лишиться. Какой чиновник станет думать о чужой судьбе, когда свою голову того и гляди потерять можно?

Даже министр внутренних дел Протопопов волновался: общество, Дума встревожены огромным количеством арестов и фактами зверств тюремщиков, о которых нет, да сообщали либеральные газеты. Да и что в том толку? Работа все равно идет вхолостую. Забирают одних — на их месте, будто грибы в погожую пору, возникают другие. Где зачинщики, где подстрекатели? Отловить, засадить! Но кануло в Лету время одиночек. На арену общественной жизни России выдвинулась могучая сила — социал-демократическая партия большевиков, которой сочувствуют, за которой идут огромные массы! Как случилось такое — проглядели, упустили целую партию? А вот поди ж ты — случилось... Ведомые Лениным, через муки и тяжелые потери большевики пробивались к революции, к своей будущей победе. Через смерть на виселицах 1905 года. Через расстрелы на Ленских приисках. Через смертную сибирскую каторгу. Через казематы Петропавловской крепости, карцеры «Крестов» и Бутырки. Через ненависть и улюлюканье зажавшегося и развращенного буржуа. Через равнодушие, сонливость и непонимание полуграмотных мещан, забитых и запуганных обывателей.

Они шли...

Монархия доживала свои последние дни. На вековых часах истории до полного краха русского самодержавия оставались мгновения... И тот, кто был достаточно умен и наблюдателен, кто умел анализировать и имел мужество делать честные выводы, понимал это. И все же машина полицейского террора еще работала, производя кровь и слезы, боль и стоны, унося все новые жизни гордых и смелых людей России...

I

Рыхлый мокрый снег тяжело падал на землю из небесной хляби и тут же таял. Пресыщенная почва уже не принимала влагу. Вода стояла в колдобинах, в каждом углублении. Алексеев притопывал на месте, размахивал руками, пытаясь согреться, но без толку. Ботинки промокли напроць, ноги заledenели. Знобило. Поташнивало от голода. Пахло сырой землей, навозом и каким-то вараевом, запахи которого приносило ветром из деревни: жители Емельяновки готовились к ужину.

И только труба над домом Алексеевых не дымилась, а в окнах не было свега.

В чем дело? Уже больше часа Алексеев не отрывал от них взгляда — не покажется ли мать или чья-то чужая тень. Но в доме — ни движения, ни огонька.

По-февральски быстро темнело.

Как быть? Там, в доме, часть шрифта для подпольной типографии, листовки, чистые паспортные бланки. Два дня назад мать передала через Ивана Скоринку, что жандармы не нашли тайник, а засаду сняли. Еще два дня Алексеев выдерживал — вдруг вернутся? Сегодня утром получил сигнал — все в порядке. Но где же мать? Где отец, сестра? Заболели? Враз? Не может быть. У соседей? Уехали в Питер?

Что-то тут не так...

За годы подпольной работы Алексеев научился чувствовать опасность. Не только понимать умом, нет, а именно чувствовать: даже в толпе, кожей, спиной он мог ощутить на себе упорный и заинтересованный взгляд. Чувство опасности могло толчком разбудить его среди ночи, поднять с постели и заставить уйти в темноту, как десять дней назад, за считанные минуты до жандармов, нагрянувших в его дом неожиданно-негаданно с обыском. Дважды вот так же, вняв только чувству и не имея никаких логических доказательств, он не явился туда, где его ждали. И дважды избежал ареста.

Вот и сейчас чувство говорило: «Здесь что-то не так... Опасно! Уходи!», а разум протестовал: «Какие основания? Засада снята давно. За час наблюдений из дома ни звука. Нет матери? А может, она больна, просто спит, наконец? А товарищи ждут шрифт. Что скажешь им, если не принесешь его? «Мне показалось, я почувствовал?..» Засмеют, накажут. И будут правы. В конце концов надо и рисковать».

С трудом переставляя закоченевшие ноги, Алексеев добежал до дома. Тронул дверь — заперта. Осторожно обошел его вокруг, заглядывая в окна, прислушиваясь. Темно, ни движения, ни звука. Тогда достал ключ, открыл дверь и шагнул в сени.

И тут же почувствовал — сзади, за дверью кто-то есть. Рванулся вперед, в горницу, и в темноте увидел, как из-за отшвырнутой у печи занавески на него прыгает человек. Сзади крик:

— Стой! Полиция!..

Ни на мгновение не останавливаясь, с лету ударил в тень, почувствовал на кулаке огромную тяжесть, понял, что попал и крепко. Так же с ходу пнул в раму и вслед

за вылетевшими стеклами и переpletом кувыркнулся в проем. Уже в полете увидел, как из ствола винтовки вырывается пламя, ужасно длинное в темноте, а потом услышал и оглушительный звук выстрела. Пуля взвизгнула где-то сверху, но Алексеев уже несся к спасительному кустарнику, к обрыву, где он с детства даже ночью, на ощупь знал каждый бугорок и поворот.

Еще раздавались крики: «Стой! Стрелять буду!», еще гремели выстрелы, но все дальше и дальше, и Алексеев понял, что ушел от погони, опять убежал от ареста, хотя, конечно, где-то за углом, на скраине «фараоны» могли устроить засаду и нужно поостеречься.

Остановился, прислушался. Погони не было. Бежать за ним преследователи почему-то, видимо, не решились.

Задами, вдоль кривой улицы Емельяновки Алексеев осторожно докрался до мостика, перебежал Шёлков переулок и свернул на Петергофское шоссе.

Алексеев шел в Питер. К кому — пока не знал. Было ясно только, что в Емельяновке, где его каждый пацан знает, оставаться нельзя. Обыскать несколько десятков деревенских домишек полицейским труда не составляло. Шел в стороне от шоссе: любая случайная встреча нежелательна, да и опасность напороться на жандармский разъезд была велика. Алексеев спотыкался в темноте, падал в какие-то ямы, окончательно, до нитки вымок, но разогрелся и, может, от того, что так лихо улизнул от полиции, настроение у него было задирское, веселое.

Вот и темные улочки петроградской окраины...

У кого же все-таки скрыться? Первая мысль: у Ивана Скоринко или Ивана Тютикова. Они закадычные дружки Алексеева, ровесники, путиловцы, живут неподалеку. Но это рискованно — они сами на примете у охраны. Кто знает, может, уже арестованы, а на квартирах, как водится у охраны, — засада...

Вспомнил, что где-то рядом живет Петр Александров. Но где? Улицу Алексеев помнил, а вот дом... Только раз и бывал он по случаю у Александрова. Что же, придется, как всегда в таких ситуациях, положиться на зрительную память, которая была у Алексеева превосходной, он это много раз проверил. Смушал риск принести в чужой дом беду — вдруг его все-таки выследят? Смушало и то, что особой дружбы с Александровым у Алексеева не было, хоть знали они друг друга хорошо. И как не знать: Александров — большевик, а большевиков на Путилове едва за сотню перевалило. Все они — товарищи.

Переночевать пустит, это ясно, а утром, как говорится, ищи ветра в поле. Да, к Александрову. Выбора нет, сил — тоже.

Далеко за полночь Алексеев разыскал наконец дом, в котором жил Петр.

Правила конспирации требовали осмотреться, выждать, убедиться, не увязался ли «хвост». Но позади почти три часа ходьбы по слякоти. Алексеева шатало от усталости, он дрожал от холода и был словно в полусне. Едва разобрав, что это нужный ему дом, он тут же вошел в подъезд... Ах, если бы у него хватило сил притаиться и выждать, он увидел бы, как из подъезда стоявшего напротив дома осторожно вышел человек, дошел до угла улицы и, завернув за него, кинулся бежать...

Алексеев дернул за шнур звонка.

Петр, услышав знакомый голос, открыл дверь и, сонно жмурясь, провел Алексеева на кухню. Помог снять промокшую одежду, растер его полотенцем, принес пару своего нижнего белья, одеяло, укутал в него Алексеева, поставил чайник на примус.

— Ищут тебя, Василь, — хмуро сказал он. — Вот почитай. Это наш парень один из полиции передал.

Алексеев взял протянутый ему листок, прочитал: «Подлежит розыску, немедленному задержанию и аресту Алексеев Василий Петрович. Родился в дер. Емельяновка в январе 1896 г. Работал на Путиловском заводе, откуда уволен. Сейчас скрывается от властей, неоднократно замечен в Петрограде. Приметы: 20 лет, роста среднего, лицо чистое, глаза карие, волосы и брови темно-русые, усов и бороды нет, нос обыкновенный. Особые приметы: в волнении слегка заикается».

Алексеев равнодушно махнул рукой.

— Пусть ищут... Петя, дай чего пошамать, а? И кипяточку. А то помру, ей-богу. Вторые сутки во рту, считай, ни маковой росинки.

Большая семья Александровых спала, расстелившись на полу. Перекусив, Алексеев пристроился у стены и мгновенно уснул.

А вскоре всех разбудил резкий стук в дверь и голос: «Откройте! Полиция!» В нижнем белье, растерянный и побледневший, Алексеев стоял прямо напротив двери...

В комнату набились жандармы и городовые. Молодой поручик вынул из кармана фотографию, глянул на нее, потом на Алексеева, похлопал его по спине:

— Попался, голубчик? Одевайся. И так всю ночь нам попортил. Начинайте! — кинул подчиненным.

Оттолкнув в сторону испуганных детей, городовые с остервенением стали шарить в постелях, тумбочках, шкафу, разбрасывая в стороны все, что попадалось под руки. Дети судорожно заныли, мать Александра заплакала. Алексеев стоял, оглушенный сном, первым испугом и мыслью: «Попался, да, все-таки попался. В такое-то время. Что делать? Что делать?»

— Послушайте, господин поручик. Прекратите обыск. Эти люди ни в чем не виноваты. Я здесь случайно, — обратился он к офицеру.

— Случайно? Отчего же, — зло усмехнулся поручик. — Именно здесь мы тебя и ждали, когда сообщили, что улизнул ты от засады. Ловок, ловок! Городового так вдарил, что тот и сейчас, поди-ка, без сознания. Ну, это тебе зачтется. А что искать тут нечего — тоже знаем. Не будут прятать большевичков. Сломать кровать! — крикнул он жандарму.

Через мгновение деревянная кровать превратилась в груду досок.

Поручик оглядел скромную квартиру.

— Разбить! — указал он на большую глиняную вазу, стоявшую на тумбочке.

Жандарм кинулся выполнять приказание, но Алексеев, схватив с подоконника утюг, встал на его пути.

— Не трожь!..

Жандарм остановился, нацелился на борьбу.

— Отставить! — скомандовал поручик. — Вазу бить не будем... — Выдержал паузу и с расстановкой, угрожающе повторил: — Ва-зу — бить — не-бу-дем...

Грохоча сапогами по гулкой лестнице, жандармы свели Алексеева вниз. Здесь их ожидала карета. Окна ее были задернуты. «Ого!.. — отметил про себя Алексеев. — Охотились как за важной птицей». Поручик сел рядом с арестованным, двое унтеров напротив.

— В «Предварилловку»! — скомандовал поручик.

Карета рысью покатила в ночь.

II

«Предварилловка», как звали Дом предварительного заключения полицейские, тюремные служители, да и многие жители Петрограда, кому пришлось так или иначе соприкоснуться с этим зловещим заведением, была

открыта в 1875 году. Огромное шестизажное здание на Шпалерной улице возводилось с учетом всех последних российских и зарубежных достижений в тюремостроительстве, строилось долго и с размахом, стоило по тем временам больших денег — около восьмисот тысяч рублей. В тюрьме было триста восемьдесят камер. Триста семнадцать из них — одиночки. Здесь могло разместиться более семисот заключенных — политических и уголовных.

Алексеев знал, что в Доме предварительного заключения в свое время содержались под следствием те, кто проходил по нескольким громким, всколыхнувшим всю мыслящую Россию политическим процессам: участники демонстрации на площади перед Казанским собором в 1876 году, «Процесса 193-х», «Процесса 50-ти», народовольцы. Здесь ждали суда и приговора многие бунтари-террористы, организовавшие в 1887 году покушение на жизнь Александра III, в котором участвовал Александр Ульянов. В декабре 1895 года в «Предварилловку» был помещен помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов, а в январе 1896 года — учительница Варгинской воскресной школы Н. К. Крупская.

Режим в тюрьме долгие годы был сравнительно мягким. Учитывалось, что здесь содержатся еще не осужденные. По сравнению с мрачными, зловещими рассказами узников Шлиссельбургской и Петропавловской крепостей, «Крестов» — самой новой в столице тюрьмы, где только «одиночек» насчитывалось до тысячи, — в «Предварилловке» было несколько лучше. Разрешались свидания, переписка, занятие трудом, чтение. Вместо пищи позволяли получать ее стоимость, даже заказывать себе еду, если, конечно, имелись деньги.

Так было еще недавно...

В последнее время жандармы и тюремщики словно озверели.

Алексеев нервничал. Как ни старался он взять себя в руки, успокоиться, ничего не выходило. «Влип, впил! Сейчас, когда каждый человек на счету, — и впил. И дело до конца не доделал... А за жандарма того они мне отомстят. Пусть. Надо только собраться с волей, приготовиться ко всему, к самому худшему. А что, собственно, они могут сделать со мной? Расстрелять? Повесить? Не за что. Упечь в «Кресты»? — Это могут. Будут морить голодом? — Выдержу. И так каждый день впроголодь. Бить? — Выдержу. Били уже не раз — и шпана,

и городовые. Питать станут? Говорят, в каменный мешок сажают и часами воду на голову по капле льют... От этого люди с ума сходят. Н-да, веселые дела».

— Куда мы едем? — обратился Алексеев в темноту, чтобы отогнать свои мысли.

Поручик курил папирсы.

— Не дури, голубчик, ты же слышал...

— Нет, не слышал... — ответил Алексеев задиристо.

— А не слышал, так и не надо. И замолчи. Мне лень, спать хочу. Утро уже, между прочим.

Они остановились.

Поручик и два унтера ввели Алексеева в обшарпанную комнату и сдали дежурному офицеру.

Дежурный офицер открыл толстый журнал. Поручик продиктовал:

— Восьмого февраля семнадцатого года в четыре часа двадцать минут задержан Алексеев Василий Петрович, большевик... Впрочем, тут все есть об этом субъекте. Перепишите что следует.

Вынул из планшета и бросил на стол голубенькую тетрадку. Офицер сделал нужные записи в книге, поглядел на Алексеева сонно:

— Дактилоскопию делал раньше? Ну, отпечатки пальцев? Ах, да, в прошлом году... Значит, сейчас с тебя снимут только фотографию. Надо раздеться и одеться в здешнее. Резваткин, одежду!..

Из смежной комнаты вышел солдат, вынес синий халат, рубашку, кальсоны, штаны, истоптанные туфли. Подождя, пока Алексеев переоделся, усадил на стул, сделал три снимка.

— Ковальчук, отведи в тридцать седьмую! — снова крикнул офицер.

Из той же комнаты вышел старый солдат с длинной седой щетиной на подбородке и морщинистых щеках, взял из угла винтовку, положил прикладом под мышку, скомандовал: «Пошли!» — и повел Алексеева.

— Я не прощаюсь, голубчик, скоро увидимся! — услышал в спину Алексеев голос поручика, все еще сидевшего рядом с дежурным офицером.

Шли они долго — переходили из одного коридора в другой, построенных зигзагами, шли по висячим балконам и гулким железным лестницам, поднимались с этажа на этаж все выше. И всюду — справа и слева — были одинаковые двери тюремных камер. На каждом этаже — по два надзирателя. Они лениво поглядывали на идущих

щих — привычная картина. Свет был притушен, в коридорах стояли полумрак, тишина. Тюрьма спала.

У одной из дверей сопровождающий скомандовал: «Стой!», загрохотал замком, отпер камеру.

— Шагай!.. Здесь жить будешь.

И неожиданно так сильно толкнул Алексеева в спину, что тот влетел в камеру, ударившись головой о стену.

С удручающим лязгом дверь захлопнулась.

Алексеев сидел на полу, растирал быстро растущую на лбу шишку и не знал, что делать. Постепенно глаза стали привыкать к темноте: через маленькое окошко с сильно скошенным подоконником, что находилось под самым потолком, чуть брезжили чахлый ночной свет. Теперь можно было оглядеться. Справа железная кровать с железным изголовьем, покрытая серым суконным одеялом. В левом углу, в стороне от окна — крохотный, вделанный в стену столик, стул, привинченный к полу. Под окном — раковина умывальника. Ближе к двери по левой стороне — параша. Шатов пять — в длину, четыре — в ширину. Одиночка...

Встал, прошелся по камере. Бросился на койку: «Надо заснуть, отдохнуть, быть готовым к допросу». Но сон не шел. «Как могла узнать полиция, что я ночевал у Александра? Ведь поручик сказал: «Именно здесь мы тебя и ждали». Провокатор? Кто?..»

Он не успел обдумать свою мысль.

Неожиданно вспыхнул фонарь над головой, заскрежетал замок. Вошли знакомый уже поручик и дежурный офицер, только что оформлявший Алексеева.

— Ну вот и определили мы тебя на местожительство, а то мотайся за всяким дерьмом по городу, да еще по ночам. Ты понимаешь, Иннокентий, — обратился поручик к дежурному офицеру, — я из-за этого недоноски такую вечеринку сегодня упустил... А еще вазу разбить не разрешил... Представляешь? Вста-ать! — заорал он на Алексеева.

Алексеев поднялся и в то же мгновение поручик с придыхом ударил его в подбородок. Алексеев упал на кровать, ударился головой о стену.

— Вста-ать!! — снова закричал поручик.

— Хорошо поставлен удар, господин поручик... У кого боксировать учились?.. — Алексеев проговорил эти слова с трудом, сипясь усмехнуться. Собрался в комок, вскочил резко с одновременным шагом в сторону окна. Кулак поручика не достиг цели.

— Ах ты мерзавец... — удивленно проговорил поручик. — Да он еще и английской драке обучен...

И тут же снова ударил Алексеева, целя в нос. И попал. Алексей сполз по стене на пол. Хлынула кровь.

— Вста-ать! — ревел поручик.

Ноги не держали Алексева. В глазах кувыркались фонарь, лицо поручика, лицо дежурного офицера. Но он встал — сначала на колени, потом резко — в полный рост и изо всех сил, что только были еще в нем, кинул свое тело, а на мгновение позже и кулак в ненавистную физиономию. Он угодил поручику в висок, и тот рухнул без звука.

— Нехорошо получается... — флегматично сказал дежурный офицер. Не спеша подошел к крану с водой, намочил свой платок, обтер лицо поручика, привел его в чувство, уложил на кровать. Не спеша вытер руки, не спеша приблизился к Алексеву, уставился на него равнодушными рыбьими глазами, потом неторопливо, привычным движением левой руки, длинной, словно щупальца спрута, ухватил его за волосы и открытой ладонью правой ударил в лицо, потом, ухватив обеими руками за отвороты тюремной рубы, с размаху стукнул головой о стену — раз, второй, третий...

Алексеев потерял сознание.

III

Очнувшись, Алексеев долго не мог сообразить, где он находится. На дворе был день.

Он лежал, не в силах даже качнуть головой — такую боль вызывало каждое движение. До затылка он боялся дотронуться, казалось, что весь он разбит в лепешку. Болело залитое кровью лицо, болел правый бок, живот: кто-то — дежурный офицер, а может, поручик, — бил его, уже лежавшего на полу, ногами. Распухли и ныли большой и указательный пальцы на правой руке. Алексеев вспомнил, как брякнулся от его удара поручик...

Едва-едва, по стенке, добрался до крана, напил, смыл с лица засохшую кровь, снова со стоном улегся на спину, забылся.

А когда чуть повернул голову к стене, взгляд уперся в карандашную надпись. «Мама! — прочитал Алексеев. — Я обещал вам часто писать, но все было некогда. Теперь это мое последнее письмо, которое вы навряд ли прочтете. Мама! Смертную казнь через повешение мне заме-

нили расстрелом. Завтра я умру. Спасибо вам за все, родная! Я спокойно уйду из мира тьмы и насилия, потому как уверен, что мой труп и все наши трупы станут прочным фундаментом лучшего будущего.

Прощайте, мама. Ваш сын Владимир.

22 февраля 1912 года».

Их было много, таких надписей... Вот нацарапанная красным карандашом: «Товарищи!.. Я уйду из жизни сам, по своему собственному приговору. Нет, я не сбежал с поля боя, не разочаровался, не изменил идее социализма. Мой дух силен как никогда. Но тело мое разбито, дни мои сочтены. Чахотка — это мучительно, поверьте. И счастье прожить несколько лишних дней в сопоставлении с муками, которые я терплю ежеминутно, — это не счастье, это несчастье. Считайте, что я пал от пули и над могилой моей пропойте «Интернационал». Ах, как хочется жить!.. Прощайте.

Неизменно ваш Петр Шепетов.

Апрель, 1914 г.».

Алексеев вспомнил неожиданно — бывает же такое, в который уже раз! — простенький совсем, казалось, но так прочно врезавшийся в память случай. Было это прошлой весной в Полежаевом лесу, вскоре после маевки. Он бродил по лесу, дышал горьковатым ароматом цветущей черемухи, любовался ее белым кипением. И вдруг — что это? Ручей подмыл старую черемуху, оголил ее корни, и она, не удержавшись, упала поперек течения. И только несколько корешков, совсем тоненьких, остались на земле...

Но пришла пора цветения — и сестры, подруги и дочери старой черемухи, стоявшие по соседству, в одну короткую ночь оделись в белое. Вот тогда, видать, и эта поверженная черемуха, тоскуя и страдая, собрав все свои силы, сотворила невероятное — зацвела. Из последних сил зацвела! И было удивительно видеть Алексеву: как же могут несколько тоненьких корешочков вскормить такой океан цветов? А вода все больше оголяла корни, и черемуха, перегородив ручей белизной своих ветвей, как бы кричала ручью в отчаянии: «Остановись! Не губи!» Гордая и красивая, без надежды на спасение, она яростно благоухала и пела, и каждым трудным своим цветком словно просила: «Жить, всегда жить!..»

Отчего так поразила Алексева эта картина? Отчего запомнилась, уж который раз вспоминается? И вот теперь... в тюрьме? Да что мудрить — все ясно... Жить надо

в полном напряжении, бороться надо! Чуть расслабишься — и приходит мысль о смерти, с риске потерять жизнь. Вот та черемуха — что она? Дерево. А как цеплялась за жизнь! Так разве имеет право человек уйти из жизни без сопротивления?

А там, чуть выше, что написано там?.. Алексеев приподнял голову, напрягся, с трудом прошелся по строчкам тяжелыми от боли глазами.

«Любимая! Последнее слово — тебе. Через несколько часов жизнь моя сменится небытием. Прости, если чем-то обидел, прости за то, что меня почти никогда не было с тобой, нет сейчас и уже никогда не будет. Я жил борьбой, безумно любя тебя, я принадлежал сперва ей, потом — тебе. Какое яркое солнце встало в решетке оконца моей камеры!.. Пусть светит оно тебе и моим друзьям.

Навсегда твой Михаил».

В голову Алексеева вдруг хлынула новая боль. Она вливалась жарким, тугим потоком от груди через горло, входила толчками, со спазмами, через затылок к вискам, к глазам, накапливалась, собиралась... Как это можно — взять и убить человека, только начинающего жить? Как? Но выходит — можно! Тем, у кого власть, у кого деньги.

Алексеев едва сдерживал крик ненависти, рвущийся из груди, кусал до крови свою руку, зажимавшую рот. А со стен то гордым шепотом, торжествуя, то с полнейшей безысходностью на него обваливался шквал мужских голосов... И чей-то голос, чужой и такой знакомый, влетал в хор этих голосов. Чей? Да это ж его, Алексеева голос...

«Жить, быть счастливым! — призывал он. — Только жить! Куда уж нелепее — умирать в цветении, как та красавица черемуха? Но какое мужество необходимо, чтоб цвести в таком гибельном состоянии, как она? Не просто лежать и умирать, а цвести! Мужество жизни — это способность превращать в победу даже собственную смерть. Последним счастливым цветением, последней торжествующей песней, последним непосильным шагом, как та старая черемуха и эти гордые люди, твои предшественники по камере и борьбе. Законы мужества и борьбы со смертью исполняет все живое на земле. И только человеку дано осознать, что через борьбу за жизнь и страдания в жизни это мужество ведет его к той высшей радости бытия, которое принято называть счастьем. Тот не умер, кто оставил частицу себя на земле. Как все та же старая черемуха... Ведь целый сад вокруг — это тоже она.

Ради жизни, не своей только, а жизни вообще, роняла она на землю лепестки своих цветков и свои ягоды... Ради жизни, ради своих будущих птенцов гибнут над океанами птицы на пути к далеким теплым берегам...»

Сколько времени прошло? Алексеев был не в состоянии оценивать его течение. Прополз день, наступил вечер, навалились ночь, темнота, тишина...

За стеной справа кто-то тяжело и надсадно кашлял, закатываясь, захлебываясь стоном. Звук этот едва доносился, но пугал и раздражал, нагонял тоску.

Алексеев забывался в полубреду, вздрагивал всем телом, стонал от боли, кричал от удивленного во сне.

Ему виделись люди, множество людей. Они идут нескончаемой чередой, а перед ними — пропасть. Они идут и не видят этого. Алексеев кричит, хочет предупредить их, но голос его не слышен в мерном грохоте множества ног и шуме голосов. И вот уже сотни, тысячи человек срываются и летят в пустоту. И задние напирают, толкают и давят передних, не ведая о ждущей их опасности. Алексеев кричит, кричит все громче...

И просыпается от собственного крика.

Он лежит и думает — откуда этот сон? Из детства, конечно, из того далекого январского дня 1905 года...

...Со всех заставских улиц шли тогда люди к трактиру «Старый Ташкент» и далее — по Петергофскому шоссе к Нарвским воротам, к Зимнему дворику, шли с молитвами и надеждами, как торжественным крестным ходом. Вместе с ребятей крутился под ногами у взрослых и девятилетний Вася Алексеев.

И вдруг — залпы. Вопли. Кровь. И лица мертвецов на полу покойницких Алафузовской и Ушаковской больниц, заиндевелые, торчащие вверх бороды, рты, открывшиеся для крика. И телеги, на которых заостеневших заставских мужиков, словно дрова, сваленных в кучу, развозили в санях по домам на ломовых лошадях. И городовые в длинных шинелях, сгребавшие лопатами и скребками красный смерзшийся снег с мостовых.

С того дня и начал Алексеев слегка заикаться, особенно при волнении...

Усталость брала свое. Алексеев снова впадал в забытие. И снова ему виделись мать, сестра, братья, друзья. Он дрался из-за них с огромными мужиками, оде-

тыми в форму городских, которые стреляли в мать, и он кидался на выстрел и чувствовал, как пуля прошивала его тело, вздрагивал, вскрикивал, открывал глаза, таранился в потолок, понимал, что виденное — лишь сон, что он в тюрьме и завтра будет допрос, приказывал себе успокоиться и заснуть, чтобы быть на допросе сильным, но возбужденный мозг подбрасывал все новые картины...

На следующий день все боли и страхи перешиб голод.

Двое суток до ареста Алексеев скрывался у рабочего завода «Старый Лесснер» Ильина. Деньги совсем кончились. На завод «Анчар», где он работал после того, как был уволен с Путиловского, идти было нельзя — там его ждали жандармы. Дома у матери была засада. Приходилось рыскать по городу, прятаться у людей надежных, как Ильин, но малознакомых, стеснять их, питаться за их счет. Поэтому в первый день Алексеев казался сытым и лишь слегка перехватил в ужин, а утром «заморил червячка» чаем да куском хлеба с маслом.

Приступы голода становились все острее. В животе урчало, резало, кололо, будто целый оркестр играл. Малейший звук из коридора или с улицы вызывал раздражение и ярость — так натянулись нервы.

Алексеев пил воду, но это не помогало, пытался отвлечься, думать о чем-нибудь другом, кроме еды. Он слышал, как разносили завтрак, но его камеру обошли. Надзиратель, проходя мимо, лишь заглянул в «форточку» на двери.

Нет, его не забыли, понял Алексеев, а просто проверяют на выдержку. Выкажи слабость — нищу, может, и дадут, но тут же применяют другой способ издевательств. Надо держать характер.

С каждым часом все сильнее болела и кружилась голова. Когда прошло и обеденное время, Алексеев дотянулся до кнопки и вызвал надзирателя.

Вошел не тот солдат, что был вчера, а другой, невысокий, с широченными плечами. Лицо, обрамленное седой бородой, маленькие глазки под лохматыми бровями выражали недовольство. Вместо буквы «ж» он говорил «з».

— Чего надобно?

— Голова болит. Скажите, чтоб лекарств дали, — объяснил Алексеев.

— Лекарств всяких не дерзим. Простой человек не должен ими баловаться. Коли выздороветь, и так выздоровеешь. А коли помирать — так и с богом.

— А почему еды не дают? — неожиданно вырвалось у Алексеева. Он тут же разозлился на себя. — Я не прошу, но все-таки — почему?

— Двое суток не велено давать.

Надзиратель взял за чем-то из угла мочальную швабру и вышел.

Голодать, значит, осталось недолго. Надо как-то занять свое время. Но как? Ни о чем, кроме еды, не думалось. Голод убивал всякую иную мысль. «Вот так и становятся идиотами, ворами, убийцами и рабами. За одно только право есть, есть для того, чтобы оставаться живыми...» — подумалось Алексееву.

Он снова позвонил. Открылась «форточка».

— Ну, что надобно?

— Мне нужны книги.

— Нет, этого никак нельзя.

— Почему?

— Потому как совершенно невозможно, запрещено.

— Почему запрещено? Почему здесь все запрещено? — закричал Алексеев. — Гады, звери!..

— Ты мне поори, поори! Я-ть-те... — Последовала длинная кучерявая брань.

— А вы мне не «тыкайте!» — кричал Алексеев, хотя сам понимал, что кричать не стоит, нельзя, что он сорвался... И все же кричал. — Вы обязаны мне говорить «вы»!..

— Ишь чё захотел! — гудел со злобой в «форточку» надзиратель. — А коль не положено, так и не положено. Скажут звать высочеством — буду звать. А скажут задушить, так и задушут.

Алексееву вспомнились кабаньи глазки, огромные, как лопаты, ладони рук надзирателя... Этот задушит.

Вечером, уже после того, как дежурный по этажу надзиратель в порядке предупреждения погасил ненадолго свет, что значило — до отхода ко сну осталось тридцать минут — в камере Алексеева открылась «форточка» и деланный дребезжащий голос пропел:

— Подайте милостыньку, Христа ради!..

— Поди ты к черту! — огрызнулся Алексеев, подумав, что это шутки надзирателя.

Но странный голос тянул:

— Христа ради... милостыньку... Христа ради...

Потом «форточка» захлопнулась. За дверью послышалась короткая возня, и все стихло.

В камеру заглянул надзиратель.

— Что происходит? — спросил Алексеев.

— Умалителенный это, — с готовностью ответил надзиратель. — С неделю уж как свихнулся.

— Разве можно больного держать в таких условиях, вместе со всеми?.. — возмутился Алексеев. — Его же в больницу надо!

— Надо, а как же, да коек в больнице нету. Вот и пущаем по коридору погулять, поколобродить. Ничего, этот-то тихий... Покрайней ночи...

В голосе надзирателя была издевка.

Все так же насадно и хрипло, словно в пустой бочке, кто-то кашлял за стеной справа.

Сосед слева в очередной раз за эти два дня отлучал что-то ему, Алексею, но тот не знал тюремной азбуки и не мог ответить.

Ночью Алексеев крепко спал. Вдруг прекратились боли в животе, притупилось чувство голода. Усталость физическая и нервная взяла свое.

Утром он смог сесть на кровати. Потом встал, не без опаски прошлепав по камере. Умылся.

Принесли завтрак, и он, с трудом скрывая жадность, съел хлеб, выпил кружку чая.

Вскоре после этого у дверей послышались голоса. Первым в камеру вошел толстый офицер, скомандовал: «Встать!» За ним появился высокий дряхлый генерал в сопровождении двух младших офицеров. Генерал сонно посмотрел на фигуру Алексея:

— Жалобы?

— В соседней камере больной, он кашляет!..

— Говорите только о себе.

— Тут держат сумасшедших!..

— Говорите только о себе. Жалобы?

— Меня два дня не кормили!..

Генерал вопросительно посмотрел на офицера, должно быть, начальника тюрьмы.

— Мера пресечения, ваше превосходительство!.. — от рапорта тот, выкатив огромный живот.

Генерал перевел взгляд на Алексея.

— Меня били! — зло сказал тот.

— Больно?

— Больно!..

— Будет еще больней. Вы — преступник, закон преступили. Насекомые?

— Что — «насекомые»? — ехидно переспросил Алексеев. — Вы о тараканах и клопах?.. Их тут полно.

— Комары... Ах, да, сейчас зима... Душно.

Щеки генерала горели старческим румянцем, подбородок подрагивал. Не сказав больше ни слова, он повернулся и вышел.

IV

Человек лежал на матраце без движения, будто спал. На нем были серые брюки, серого же цвета куртка с черными рукавами, серого сукна шапка с черным крестом наверху, огромного размера полусапоги. Выглядел он скоморохом, и это впечатление разрушало только лицо, покрытое буйной, смоляного цвета растительностью. Был он бледен, дышал тяжело. Лоб, глаза, нос, щеки усыпаны крупными каплями пота.

Его привели под руки два солдата. Надзиратель бросил на пол матрац, одеяло, другие принадлежности, положенные арестанту.

— Потеснись, — сказал он Алексею. — Свободных камер нету. А до карцера он тут сидел.

Солдаты уложили человека на матрац, и все трое ушли.

Куртка, брюки, сапоги и даже руки арестованного были испачканы испражнениями и оттого в камере установился тяжелый смрад.

Алексеев намочил под краном свою шапку и обмыл сначала лицо и руки лежащего, потом принялся за одежду.

Арестант открыл глаза и наблюдал за движениями Алексея.

— Кто вы? — голос его был неожиданно силен.

— Василий Алексеев, рабочий.

— Политический?

— Большевик.

— Сколько сидите?

— Восьмой день.

— Новичок.

— Да не совсем. В прошлом году в «Крестах» три с лишним месяца отсидел. В общей камере.

— А я старый сиделец, — вдруг унававшим, тихим голосом проговорил арестант. — Двенадцать лет по тюрьмам кочую. Четыре уже сменил. Теперь вот в Питер попал. Гнали в «Кресты», да в «Предвариловку» угодил отчего-то.

Он изучающе посмотрел на Алексея.

— Давно в партии?
— С двенадцатого года.
— Пять лет, значит. Для ваших лет это стаж. Годков-то сколько?

— Двадцать.

— А мне за сорок перевалило... Ну, давайте познакомимся. — Человек сел, протянул руку. — Усачев моя фамилия, Иван Петрович. Спасибо за уход. Тут карцер почище всех, какие только в других тюрьмах. Везде холодище, а тут — рядом с машинной топкой находится. Жара жуткая. Это бы и хорошо, да параша нет, на двор не выводят. Все делаешь прямо на пол. Отсюда смрад и духота невыносимые, дышать невозможно. И темень крошечная, полнейшая. Чуть в сторону двинул — и в дерьме. Девять дней отбухал... Ничего, через пару деньков очухаюсь.

Но уже через час Усачев встал, сдвинул матрац под кровать к Алексееву и начал вышагивать по камере. Пять шагов вперед, пять назад, пять — вперед, пять — назад...

У Алексеева зарябило в глазах от его движений, он закрыл их. Усачев заметил это.

— Что — устал смотреть? И я устал. Ну-ка дай отдохну. — Он тяжело сел в ногах у Алексеева. Пот градом лил с его лица. — Вы запомните, юноша: в тюрьму сажают не для того, чтобы ты жил. Тюрьма убивает. Холод, голод, побои, карцер — все для этого. Но страшны не они, а бездействие. Смерть начинается, когда дряхлеют мышцы, тело. Потом приходят всякие болезни — и конец. Вот потому и вышагиваю. Но болезнь тела — еще победы...

Усачев вдруг прервал мысль.

— А где сосед из тридцать восьмой? — спросил он у Алексеева.

— Это который справа? Вчера еще кашлял...

— Странно... очень.

Усачев застучал в стену над Алексеевым, в тридцать шестую камеру. Ему тотчас ответили. Через некоторое время Усачев перестал стучать, умыл под краном лицо, руки. Снова сел в ногах у Алексеева.

— Знаете, кто в тридцать восьмой? Орлов. Был максималист, бомбы в генералов бросал, на эшафот шел, не дрогнув. И что же? Переродился в шапкоснимателя, в тихого и кроткого скота. На своих стал доносить, в «сучью камеру» поместили, где все дерьмо вместе с уголовниками от кары товарищей прячется. Теперь вот от туберкулеза

умирает, говорят, лежит без сознания. Идею потерял, а может, и не имел...

Усачев опять остановился, опять внимательно посмотрел на Алексеева.

— Вам интересно, что я говорю?.. Впрочем, я еще ничего не сказал. Хотите знать, что я думаю о жизни, о борьбе?

— Конечно. Только скажите, кто вы по убеждениям: большевик, кадет, эсер, меньшевик?..

Усачев рассмеялся. Смех у него был сыпучий, звонкий. Смеясь, он запрокидывал голову, и в черной его бороде сверкали два ряда ослепительно белых зубов.

— Труднее вопроса быть не могло. По природе — романтик и оптимист. По образованию — историк. По убеждениям — революционер. Знаю точно, что самодержавие надо свергнуть. Это главное. С какой партией идти? Это вопрос. Начинал, в общем-то, с ерунды, как раз с романтики. Было просто жутко приятной жутью знать, что делаешь что-то опасное и хорошее для людей... Уже в тюрьмах стал понимать суть политических проблем. Нахватался от всех понемногу. Но все-таки сегодня я меньше меньшевик, а больше большевик и уж никак не эсер и не кадет. Я последнее время Ленина изучал. «Материализм и эмпириокритицизм» одолели? Нет? Напрасно. Впрочем, все это не главное.

Я сказал: тюрьма убивает. Про народовольцев слышали? Знаете, кто они? То-то. Могучие были люди. Но Шлиссельбург убил большинство из них. Умерли Малавский, Исаев, Буцевич, Иванов, Варынский, Долгушин и еще несколько человек, всех не помню... Расстреляны за протест Минаков и Мышкин. Повесился Клименко. Сжег себя Грачевский. Сошли с ума Ювачев, Щедрин, Конашевич. Зарезалась Софья Гинзбург...

Так вот, выживают в тюрьме те, кто пришел в революцию не по романтике, а по идее. И эта идея должна сидеть в сердце и в голове так глубоко, чтобы вырвать ее из груди можно было только вместе с сердцем, выпить из головы, только отрубив голову. Человек, у которого есть идея, невероятно живуч...

Алексеев слушал Усачева и радовался тому, что кончилось его одиночество. Уже поутихли боли в голове, животе — кормили не сытно, однако каждый день трижды открывалась «форточка» и подавали еду. Никто не заходил и никуда его не звал. Об Алексеева словно забыли. И вот приятное неудобство — теперь их двое в одиночке.

— Иван Петрович, а за что вас в карцер уперли? — прерывает он Усачева невпопад.

— В карцер? Смешно говорить, решил защитить Орлова. Ведь мы когда-то по одному делу проходили, были знакомы. Жалко стало, хоть и не виделись с процесса. Стал требовать, чтобы перевели в больницу, надерзил начальнику тюрьмы...

— Вы же сказали — Орлов предатель.

— Верно. Но человек. И имеет право на человеческое обращение. Тем более, будучи больным. Наговорил всякого... Зря, наверное. Но ведь свобода не только за тюремной стеной. За свободу и в тюрьме бороться надо. И что труднее всего — борьба внутри самого себя. Я там, в карцере, когда дышал этой вонью, тоже думал: зачем полез? Но ведь я не только Орлова, но и себя, и других защищал. К тому же, забыл сказать, Орлов вскоре проклял себя за малодушие, на инспектора однажды бросился с кулаками. Человек имеет право на ошибку, а если понял ее, то и на прощение...

— Не согласен, — возразил Алексеев. — Так рассуждать, так любую подлость оправдать можно. Должно быть так: хороший человек — так хороший, а гадина — так гадина. И, стало быть, получай, что заслужил.

— Сердечный мой друг по камере, вот это тоже максимализм. Я этой болезнью уже переболел. С годами и вы от нее избавитесь. Особенно, если годик-другой в тюрьме отсидеть придется. Тут ведь каждый день встаешь и думаешь не о том, что будешь делать ты — у тебя дела нет, а что с тобой будут делать. Дадут по морде, обзовут, бросят в карцер или еще что... Тут каждый день дает поводы размышлять о том, зачем жить, надо ли жить, а если жить, то как жить...

Усачев тяжело вздохнул, помолчал. Продолжал, закрыв глаза:

— Жизнь тюремная — дело страшное. Здесь пропадают цели-действия и остаются по сути дела лишь цели-ожидания, цели-мечты. Какие книги запросить и ожидание, когда их принесут... Ожидание, когда разрешат написать родным, и ожидание известия от них... Да, конечно, мы читаем, потом изучаем языки, даже в шахматы играем, если они есть, а нет — так по тюремной азбуке. Но если б вы знали, друг мой, как это не просто, как убийственно трудно — читать без системы, а только то, что дадут, что есть в тюремной библиотеке; читать без цели, без ясного понимания, зачем читаешь,

без надежды к чему-нибудь приложить свои знания. И все же читаешь, пишешь. А душа просит действия, а мысли крутятся все по одному кругу, а мечты все об одном и том же. Годами скорбеть одними и теми же скорбями, думать одними и теми же думами, вызывать из глубин памяти смутные образы родных, друзей и товарищей по борьбе, погребенных туда твоей же волей, и снова загонять их обратно, еще глубже, от боли, которую рождает их появление.

Выжить — вот первая цель узника, потому что главное для тюремщика — убивать. Вот и борются они. И тут так легко потерять личность, если сделать выживание смыслом жизни. Конец, тогда совсем конец!.. Ты помимо воли начинаешь размениваться на мелочи. Хорошо выспался — радость. Вкусно поел — радость. Выкурил папироску — радость. Без труда оправился — радость. И так без конца и каждый день, и годы...

А где взять стимулы заниматься ежедневно физическими упражнениями по системе Мюллера? Ежедневно читать, ежедневно писать, думать. Где? Вне тебя нет ничего, что бы заставляло делать это. Здесь все задумано так, чтобы убить в тебе эти свойства. Так где же этот стимул? И я опять оговорю: он в тебе самом, внутри тебя. Этот стимул — идея, которой ты служишь. Она должна жить постоянно в твоём мозгу, в твоей душе, в твоём сердце. Идея — мотор и топливо жизни человеческой. Есть идея — есть цель, а есть цель — значит, есть и смысл жизни, есть ради чего жить.

Теперь скажите мне, разве все, что я говорил, справедливо лишь для жизни тюремной? Разве не являются узниками миллионы темных, неграмотных людей, которые могут идти, куда хотят, делать, что хотят, но которые ничего не желают, кроме как получше поесть да получить побольше удовольствий преимущественно животного порядка? Вот и выходит, что тюрьмой может стать целая страна, если в ней нет простора передовым идеям, если люди, несущие эти идеи, подвергаются осмеянию, гноятся в казематах, если их казнят.

И выходит, мой молодой друг, что именно нам, тем, кто хранит и раздувает огонь революции, выпала труднейшая доля: вспыхнуть — и погаснуть, высветить великую идею Революции. Вот почему все топоры, отточенные самодержавием — для наших шей, все пули отлиты для нас. Мы — первые. Это прекрасно.

И если ты вступил на общественное поприще, на путь

служения Революции, ты не можешь быть просто человеком. Страдания, боль? Подави, убей их — ты больше, чем человек, ты Революционер, ты господин своего «я». Смерть ради Революции, ради других? Умри, не задумываясь: ты меньше, чем человек, ты слуга этих «других», и смерть ради них для тебя не горе, не потеря, не беда, а радость, счастье, победа! Ты служишь народу... Твое «я» просто невидимо, растворяется в массе, сливается с ней. Ты обречен на бессмертие, если умер за народное дело, потому что народ бессмертен.

Усачев взволнованно ходил по камере, размахивая руками. Лицо его покраснело и сияло, голос рокотал с перекатами от самых высоких до самых низких нот, когда он уже и не говорил, а шептал. Он был прекрасен — огромного роста, с черными взлохмаченными волосами и ослепительной улыбкой. И трудно было даже представить, что два, ну, может, три часа назад именно этот человек лежал полумертвый.

— Вам приходилось нырять в море, видеть морское дно? Из чего оно состоит? Из камня? А камни из чего? Из бесчисленного множества неразличимых невооруженным глазом организмов, которые содержатся в воде и которые, оседая, образуют камни, могучие пласты, целые горы, составляющие то, что мы именуем морским дном. Что делать — нам суждено осесть на дно и составить его невидимо малую часть. Когда-то, может, через десять или двадцать лет случится революция...

— Что, что вы сказали? Через двадцать лет? — перебил Алексеев Усачева. — Что вы! Гораздо раньше. Через два, ну, может, через три года. И мы еще встретимся при новом общественном строе, это точно.

Усачев рассмеялся добродушно.

— Когда я попал в тюрьму, мне тоже казалось, что вот-вот грянет революция. И мы радостные пойдем с народом в светлое завтра. Увы... Скоро состарюсь, а революция что-то задерживается. Впрочем, времена сейчас иные. Я не утомил вас? Говорю и говорю. Намолчался. Было время, в юности, я все слушал. Теперь хочется говорить. Значит, в самом деле, старею... Иногда я даже побаиваюсь того дня, когда меня освободят. Не верите? Сам удивляюсь, но факт.

У человека, двенадцать лет кочующего по тюрьмам, живущего оторванной от общества жизнью, мыслями и волей преодолевшего страх перед земными муками и даже смертью, рождается... Что вы думали? Ну? Не дога-

даться. Страх перед жизнью. Перед той огромной, бурлящей и уже неведомой жизнью, где кипят страсти настоящего, всего общества. Понимаете? Всего, а не кучки отвергнутых и забытых, хоть и сильных душой людей. Перед новыми идеями, которые мы еще плохо усвоили. Перед новыми, молодыми, как вы, людьми. Сохранили ли вы наш дух? Кто мы для вас — отцы или... Понимаете? Кто вы для нас — сыны или?.. Примете нас, когда выйдем на волю? Нужны мы вам, нужны революции, есть для нас дело? Иначе: стоит ли выходить на волю, бороться здесь за то, чтобы жить, или лучше умереть? Вот, по моему, главное сейчас...

Усачев замолчал. Алексеев почувствовал, что не все еще сказано. Все лицо Усачева дышало волнением. Пальцы своих больших рук он сжимал в кулаки и разжимал, стараясь овладеть собой. Заговорил:

— Вот брось сейчас меня посреди реки — и я могу утонуть: двенадцать лет не плавал. Наверное, разучился? А плыть — хочешь не хочешь — надо, если знаешь, что стóит. Через год мой срок кончится. Предстоит жить, но на какую почву встать? Ведь двенадцать лет день за днем и год за годом она уходила из-под ног, а вместо нее появлялась новая — почва тюремной жизни, в которой я все умею. Когда ты исключен из жизни, она становится загадочной, сложной, пугающе-таинственной. Хочется заглянуть вперед — и страшно, все — туман...

Усачев говорил, а Алексеев слушал, размышлял, многому удивлялся, и хотя порой у него появлялось желание возразить, ибо не все, что говорил Усачев, он принимал, но молчал.

Несколько раз заглядывал то в «волчок», то в «форточку» надзиратель, но Усачев и Алексеев даже не замечали его.

Иван Усачев философствовал, мечтал, объяснял себе, примеривался к будущему: ему было трудно вспоминать — слишком долго убивал он в себе прошлое, все, что вызывало боль — думы о матери, теперь уже умершей, о жене, вышедшей замуж за другого, о друзьях, ставших по преимуществу добропорядочными слугами властвующего монарха. Он долго убивал в себе память, убивал и убил. Осталось настоящее, которое было похоже на жизнь, но было ли жизнью, он и сам не знал. Остались идеи, мечты, надежды... Из такого настоящего было трудно, порой просто невозможно представить будущее в картинах живых и реальных, оно виделось

сплошь из слов и теорий, плакатно-лубочным, но невозможно красивым, именно таким, ради которого стоило бороться и страдать.

Алексеев, не остывший еще от митингов и забастовок, от речей и дружеских объятий, был здесь, в камере. в мыслях и бедах Усачева, и там, на улицах Петрограда, в классовых схватках, в борьбе. Он не по рассказам, книгам и газетам знал, что сейчас творится в городе, знал, что вот-вот рванет пламя до самых небес и разнесет в куски все ненавистное, что возводилось кирпич к кирпичу сотни лет: и эту тюрьму, и эту камеру. Тогда он приведет Усачева к своим друзьям...

Но тут за стеной, где лежал Орлов и где целые сутки стояла тишина, снова раздался кашель. Нет, не кашель, а долгий и жуткий стон, скорее — крик... Тишина — и снова крик. Так десять минут, двадцать. Усачев с Алексеевым замерли. Было ясно: человек расстается с жизнью, расстается трудно...

Вскоре крики оборвались.

А еще через несколько минут ни с того ни с сего вошел надзиратель и равнодушно сказал:

— Помёр тридцать восьмой. Беркулез...

И вышел.

Все остальное произошло, казалось, в одно мгновение...

Усачев некоторое время сидел оцепенело, молча. Потом сказал:

— Нет, так нельзя... Он был революционер. Его убили. Люди должны знать... Прошу вас, — обратился он к Алексееву, — поддержите меня минутку, я скажу речь... Встаньте вот так... — Усачев прислонился к стене, уперся руками в свои колени. — А я на спину...

Несколько секунд — и он взгромоздился на Алексеева, ухватился за решетку окна под потолком, ударом кулака вышиб матовое стекло, закричал:

— Товарищи! Друзья! Слушайте!.. В тридцать восьмой камере только что умер политический Орлов... Он страдал в тюрьмах двенадцать лет. Его мучили — и он был сломлен. Но лишь на момент. Он снова встал в ряды борцов, и тогда его заморили, заморозили... Его убили!.. В этот час...

Но Алексеев уже не слышал, что говорил Усачев. В камеру влетели три надзирателя. Один из них выдернул Алексева из-под ног Усачева, и тот всем весом своего громадного тела закинулся навзничь со всей высо-

ты, на которой находился, грохнулся головой о каменный пол, несколько раз дернулся и затих. Из его ушей, из носа, изо рта побежали струйки крови...

Надзиратели заколотились около тела Усачева, зашептались. Потом один куда-то убежал, вернулся с рогожей. Усачева завернули в нее и тихо, по-воровски унесли.

Алексеев же сидел на полу в углу и никак не мог понять, что случилось — правда, а не сон. Ивана Усачева больше нет!.. Человека, который еще несколько минут назад говорил, мечтал, смеялся, думал о будущем, — нет... Осталась только лужица крови посреди камеры. Сейчас вернется надзиратель, замочит ее, мокрое пятно высохнет, и никто не узнает о том, какая трагедия разыгралась в этой тесной камере...

Стучат слева, сверху... Хотят спросить о чем-то... Но как ответить? Был шанс в прошлом феврале, в «Крестах» обучиться тюремной азбуке, да прощалили.

Алексеев встал на раковину умывальника, подпрыгнул, ухватился за деревянный переплет окна, подтянулся к нему по скошенному подоконнику и выглянул. Перед ним прямо, слева, справа и вверх было видно одно и то же — серые стены со множеством, будто пчелиные соты, крошечных окошек, тускло блестевших в угасавшем вечернем свете своими матовыми бельмами. Внизу, в квадратном дворе, на его середине, стояла толпа арестантов, которых куда-то пытались угнать несколько надзирателей, но узники сопротивлялись. Их лица были обращены в сторону Алексева. И тогда он закричал:

— Товарищи! С вами только что говорил большевик Иван Петрович Усачев... Его уже нет, он убит... Убит надзирателями!.. Так не может больше продолжаться! Мы должны бороться, протестовать. Призываю...

Снова вбежали те же надзиратели и с ними толстый офицер, легко, будто налипший осенний лист, оторвали Алексева от решетки, зажали рот.

— В карцер! — скомандовал офицер.

Алексеева снова повели вниз по знакомым балконам, лестницам, коридорам. Надзиратель, напрягаясь, открыл тяжелую, будто в банковом сейфе, дверь карцера. Алексеев получил несильный подзатыльник, широко шагнул в темноту — и дверь затворилась.

Вот это и была темнота, о которой рассказывал Усачев — полная, крошечная. Что впереди, что справа, слева? Не видно. Смерд стоял, будто в выгребной яме. В животе начались спазмы... Алексева стошнило, потом еще,

еще, выворачивало наизнанку. Обессиленный, он прислонился к двери, не решаясь присесть. Жарко, душно... Он чувствовал, что ему не хватает воздуха, что он начинает задыхаться...

Алексеев стоял час, другой, третий... Деревенели ноги. мутилось сознание. Тревога, беспокойство вдруг начали овладевать им, вытесняя и те смутные мысли, которые еще роились в голове, о том, что происшедшем там, наверху. Отчего? Что случилось? Но дело как раз было в том, что здесь ничего не случалось, не происходило ничего, здесь была абсолютная тишина, полное беззвучие. Алексею вдруг показалось, что он слышит, как металлически постукивают одна о другую мысли в его голове, что он слышит, как думает. Тишина молчала, таила, внушала, грозила, пугала, заставляла чего-то ждать, прислушиваться к прерывающим ее почти неслышным полувзвукам, читать их...

Что-то едва слышимо зашипело справа. Змея? Алексеев вздрогнул, напрягся. Но нет, это чуть прошуршала вода в отопительной трубе.

Вот прошелестел потусторонний, подавленный звук. Стон? Кого-то дунат? Кто-то просит о помощи? Кто? Где?.. Да нет же, нет, это он сам, Алексеев, вздохнул, а может, хотел вздохнуть.

Тишина... Тишина проникала в душу, в тело, прикасалась к нервам, и нервы болели, ныли. То была не та тишина, в которой отдыхают живые, то была казнящая, мертвящая тишина...

Алексеев не вынес, загрохотал кулаком, потом ногой в дверь. Стучать пришлось долго. И грохот, который он сам создал, успокоил его. Когда пришел наконец надзиратель, Алексеев сказал, что он объявляет голодовку.

V

Не верилось, что в сером, замызганном, заплеванном, сплошь состоящем из несчастий здании «Предварительной» может быть такой роскошный, такой радующий глаз кабинет. Вся его обстановка находилась в вопиющем контрасте с грубыми стенами коридоров и камер, уродливыми решетками на окнах, гремучими металлическими лестницами, намазанными, чтоб не ржавели, какой-то вонючей смазкой; с мрачными, заросшими бородами и щетиной лицами надзирателей, их заносенной солдатской одеждой, пропахшей махоркой и потом. Здесь, в

просторном кабинете, все: от стен, обитых шелком, от орехового дерева стола, кресел и дивана с желтыми атласными спинками, от золотистых персидских ковров на полу, от огромных картин, полных солнца и света, от широких, в две стены окон — от всей обстановки до самого хозяина, — высокого, седовласого, лет сорока пяти ротмистра, одетого с иголочки, при орденских лентах, с сигарой, — все здесь словно должно было сказать вошедшему, что в мире есть не только боли, страдания и серое тюремное бытие, но и жизнь совсем иная, иных форм, другой внешности, других запахов...

Ротмистр держал в руках дело Алексеева, лениво листал страницы и неожиданно подумал: «С какой стати я собрался «потрошить» этого сопляка? Не того полета птица, не для меня. И вообще: зачем я приехал сюда? Странно, очень странно».

В самом деле, сегодня никаких забот у инспектора Петроградского охранного отделения Министерства внутренних дел России Владимира Григорьевича Иванова в «Предварительке» не было, хотя в связи с различными политическими делами бывал он здесь частенько. Просто вдруг решил поехать — и поехал. Почему «вдруг»? И не куда-нибудь, а в тюрьму — веселенькое место! От срочных дел уехал — почему? Впрочем, что за тайна. От самого себя?..

Стала рушиться вера... Не в бога, нет — в него Иванов никогда не верил, хоть был крещен и в церковь хаживал регулярно. Но царь, но Отечество... И вот царь-то, именно царь, о котором ему было также известно много такого, чего лучше бы и не знать, царь, которому присягал на верность, этот царь стал мало-помалу испаряться из души и на месте, которое он прежде занимал, — свое и богово — образовалась пустота. Там поселилось и все росло сосущее душу беспокойство...

Всю свою жизнь Иванов отдал политическому сыску, по служебной надобности, из любопытства и интереса, с которым нес свои обязанности, изучал историю политической мысли в России и в Европе, историю бунтов и революций. О Разине, Пугачеве, декабристах, нечаевцах, петрашевцах, долгушинцах, народовольцах, о социалистах и анархистах знал не по слухам, а по архивам Третьего отделения, по доверительным рассказам прокуроров и судей, по документам, на которых монаршей рукой означенные, стояли надписи, ставящие точки в судьбах и жизнях.

Иванов слыл одним из наиболее способных жандармских офицеров, в феврале 1914 года из московской охраны был переведен в петербургскую и получил сверхсекретное задание: «вести» Романа Малиновского — члена ЦК партии большевиков, депутата IV Государственной думы от рабочей курии Московской губернии, куда он был избран с помощью... охраны. Да, Роман Малиновский был провокатором, дьявольским «изобретением» московской охраны и одного из руководителей департамента полиции С. П. Белецкого, которые с января 1912 года создавали «специальные условия» для продвижения Малиновского в руководство большевистской партии. Рискованный, отчаянный план, но — удался. Малиновский свою ежемесячную зарплату в 500 рублей «отрабатывал» добросовестно: предавал, предавал, предавал. Ах, если бы не этот сверхлиберал Джушковский!.. И кто бы мог подумать: товарищ (заместитель) министра внутренних дел и шеф жандармов, генерал-майор жандармерии — и на тебе! — этаким чистоплюй. Его, видите ли, коробит, ему, понимаете ли, кажется, что нельзя работать такими «грязными» методами, содержать платного агента в Думе. И вот итог: они с полковником Поповым, начальником Петроградского охранного отделения на секретной квартире вручают Малиновскому «выходное пособие» (шесть тысяч рублей) и выпихивают куда подальше с рассерженных глаз высокого покровителя искусств. Куда? Да хотя бы в Австро-Венгрию. Такое дело сорвалось, прямо-таки гениальное... А уж как по карьере ударило неожиданно-негаданно, хоть плачь. Что тут поделать? Надо было стараться служить.

И ротмистр Иванов старался... Ставил сети большевистским и разным другим революционным организациям, засылал в них провокаторов, следил, ловил... Но чем больше следил, ловил, чем больше читал и думал, тем яснее становилась бесполезность его работы. Не хватало агентов, тюрем, ума не хватало, что делать с этими революционерами, которых не становилось меньше, сколько он ни старался.

Не сразу, а постепенно, но тем основательней, Иванову открылась реальность близкой революции. И это поразило, парализовало его еще сильнее, чем пошатнувшаяся вера в царя.

Оно еще не наступило, это неведомое новое время, и было еще не ясно до конца, наступит ли оно и когда, а у ротмистра уже возникла почти физическая потребность

«вписаться» в него, понять его, приспособиться к новым обстоятельствам. Любимая им жизнь, его настоящее не стали еще прошлым, а он уже испытывал по ним щемящую тоску и оттого еще более люто ненавидел грядущие перемены. Надо было делать выбор между старым и новым и это был выбор между жизнью и смертью. И он метался между «или — или», хотя всем своим умом понимал: от прошлого, от старого не оторваться. А это значит — смерть. В сорок с «копейками», в званиях, в сытости и любви — умирать?.. Нонсенс!

Временами неотвратимость наступающих перемен была столь ощутимой, почти осязаемой, что Иванов начинал рваться на приемы в высокие кабинеты, убеждал, тревожил, стращал их хозяев, а они кивали головами и просили не паниковать.

Видя их великосветское спокойствие, Иванов порой начинал сомневаться в своих предчувствиях. В конце концов в истории все уж бывало — бунты, восстания, революции, а что изменилось, в сущности? Господа остались господами, рабы — рабами, разве что по-иному стали называться. Так было, так будет, ибо вечно среди людей неравенство материальное и, что еще более важно, думал он, неравенство умственное и нравственное. Дураки всегда будут подчиняться умным, образованное меньшинство будет править темной массой.

И легче становилось на душе, и даже неумолимая логика цифр, говоривших, хочешь того или нет, о нарастании размаха забастовок на заводах, бунтов и волнений среди крестьянства, начинала терять свой повелительный и неотвратимый характер. Пусть погалдят, пошумят, потешатся, пусть. Конец будет такой же, как всегда — на колах, в петлях, у тюремной стены.

Все чаще просыпался ротмистр среди ночи от неведомого страха и долго лежал, ворочался, пытаясь понять его природу; все жесточе ненавидел всех мастей социалистов, анархистов, эсеров, просто всех, желавших перемен, посягавших на вековое.

Себе самому Иванов мог сказать, ради чего он бросил дела и приехал в тюрьму: хотелось убедиться в слабости всей этой революционной шушеры. Вот и все...

Вместе с начальником тюрьмы, давним знакомым, прошелся по камерам, посмотрел на этих грязных, замызганных людишек с грубыми лицами и потухшими глазами, и настроение у него — вот ведь какое дело! — стало подниматься. Нет, эти люди ничего не смогут изме-

нить. И все их идеи, все социальные проекты — химера и глупость, какие бы умники за них ни брались.

Рассказали ротмистру об Усачеве, об Алексееве, о том, что он объявил голодовку и пятый день не принимает в карцере пищи, что три дня без сна стоял, не присев, на ногах, а на четвертый упал без сознания. «Любопытный экземпляр, — подумал ротмистр. — Двадцать лет от роду — будущее большевизма. Стоит посмотреть, что он собой представляет». Приказал освободить Алексева из карцера, привести в порядок, накормить и доставить к нему в кабинет, который содержался на случай появления высокого начальства и которым Иванов пользовался, когда бывал в тюрьме.

Начальник тюрьмы капитан Ваняг — толстый, грузный — присев на диван, почтительно наблюдал погруженного в чтение Иванова. Никогда он не видел его мужественное лицо таким потерянным, смятым, а ведь они знали друг друга уже давно. Иванов тоже приложил руку к тому, чтобы он стал начальником тюрьмы. Чего и говорить, радости великой должность эта не могла доставить, но две тысячи четыреста рублей в год — денежки немалые, на другой работе по его званию больше нигде не дадут.

Иванов дочитал «Дело», задумался.

— Хорошее лицо, умное. Фигура, судя по всему, заметная, а вот улик-то у вас... у нас... Борис Викентьевич, маловато, пшик. Кто родители?

— Отец — путиловец, уроженец Псковской губернии, мать не работает. Трое братьев и сестра, вполне благонадежные. Ротмистр Калимов — он занимается у нас Путиловским заводом — считает его одной из самых опасных в политическом отношении личностей. Начитан, хоть образование всего четыре класса. Убежденный марксист-ленинец. Ходит в ведущих агитаторах. Разрешите пригласить?

Дежурный унтер ввел Алексеева.

— Садитесь, — буркнул Иванов голосом ровным, обыденным. И продолжал листать «Дело».

— Ничего, я постою. Так привычней, — угрюмо ответил Алексеев.

Уловив в голосе злость и напряжение, ротмистр посмотрел на него изучающим взглядом, в котором, впрочем, не было заметного любопытства. Это был взгляд профессионала, привыкшего оценивать людей в один обхват, за те несколько секунд, которые требовались человеку,

чтобы преодолеть расстояние от порога кабинета до приставленного к рабочему столу стула.

Перед ним стоял среднего роста, исхудалый — кожа да кости — заморыш, бледный, с темными кругами вокруг глаз, со следами синяков на лице. Темно-русые волосы спутались, откинута назад, открывают лоб высокий и чистый. «Жилист, — отметил ротмистр. — В чем душа держится, а смотрит дерзко, ненавидяще, растопырился, будто еж. Выглядит на все тридцать, а ему, между тем, только двадцать...» Заглянул в «Дело» — не ошибся ли? Все верно: двадцать...

Ротмистр подобрался внутренне, как всегда бывало с ним на допросах.

— Отчего же ты злишься, братец? Голоден? От пищи сам отказался. Стоять столбом три дня тебя никто не заставлял, — добродушно начал Иванов.

— Будто не знаете, что там ни лечь, ни сесть нельзя. Хуже, чем в хлеву. — Злость в голосе Алексеева стала заметней.

— Знаю, а как же. На то и тюрьма. Есть места похуже. О Петропавловке, о «Крестах» слышал? Хотя да, ты уж второй раз в тюрьме. Однако любопытно: три дня на ногах без сна и еды — это трудно? Сильно отекали ноги, а?

Алексеев взвился.

— Не ваше дело! И прошу называть меня на «вы»... Ротмистр усмехнулся.

— Скажите на милость, среди вашего брата отчего-то все желают, чтоб с ними непременно на «вы» обращались. Будто у вас это так и принято. Ну, буду величать тебя на «вы», а ты — это ты... А насчет ног — это профессиональный вопрос. У высоких и толстых они на второй день отказывают... Садись... садитесь, все-таки.

Наверное, если бы ротмистр и не предложил сесть во второй раз, Алексеев сделал это сам или упал: сил стоять у него не было. Опять кружилась голова, резало в животе, одолевала слабость. Час или чуть больше назад его освободили из карцера, переодели в свежую арестантскую одежду, сменив ту, в которой он был в карцере, дали еды: все тот же серый хлеб с водой, совсем небольшой кусок.

Алексеев сел.

Ротмистр порылся в кармане, достал какую-то корбочку, вынул из нее пакетик, запрокинул голову и высыпал себе в рот порошок. Морщась, запил водой.

— Печень разыгралась... Вот ваше «Дело», Алексеев, — сказал он, похлопав ладонью по папке. — Я должен снять с вас допрос. Хочу спросить...

Алексеев перебил ротмистра голосом усталым, тихим, но задиристым:

— А я хочу сначала получить разъяснения по двум пунктам..

Иванов проглотил свою незаконченную фразу, пожевал губами.

— Ну что же, слушаю...

— Я хочу знать, наказаны ли те, кто убил политического Усачева?

— Убийство Усачева? Кто такой? Ах да, мне рассказывали. Убийства не было, просто несчастный случай. Какие ж тут наказания, разве что замечание, чтоб службу лучше несли. И сбавьте-ка тон, братец, здесь вас допрашивают, а не вы следствие ведете. Пункт второй?..

— Я требую сказать, почему меня без всяких обвинений бросили в тюрьму, избивают. Я требую...

— Молчать, мерзавец!.. — неожиданно выкрикнул с дивана капитан и дернулся шеей, так забавно скривил нос. — Он требует!.. Тебя бы к стенке в самый раз!..

Повелительным жестом Иванов остановил Алексеева, укоризненно глянул на Ванага.

— Запомните: требовать здесь вы ничего не можете.

— Нет, могу. Я пока не осужден, я пока российский гражданин и стало быть...

— Вот именно — «пока»...

— ...и стало быть, имею право...

— Право имеешь, — согласно качнул головой ротмистр.

— ...и стало быть, могу...

— Нет, не можешь, — снова перебил Иванов жестко. — Право имеешь, но ничего не можешь. Тем более требовать. И кончим с этим.

— Я требую обращаться на «вы»!..

— Не «требую», а «прошу», ясно? Наша служба. Алексеев, держит вас под наблюдением уже три года. Я изучил ваше дело. Хочу спросить несколько вопросов, так, личного свойства, философского, в известном смысле, значения. Этаким полудопрос, полубеседа. Согласны на такое?.. Заметьте, я не требую, а прошу. Поговорим просто так.

— Смешно звучит — «просто так», — хмыкнул Алексеев. — Это как? Без кулаков, без пинкарей сапогами,

без карцера, без голода? Без этого фонаря, хотя бы? Я ведь даже не вижу, с кем говорю, как же мне «просто так» с вами беседовать?

— Да, конечно, это нелепость, — ротмистр погасил фонарь и снова с укоризной посмотрел на Ванага, направившего сноп света прямо в лицо Алексеева. — Уберите! В «Деле» написано, что Алексеев Василий Петрович с восьми лет учился в церковноприходской школе, с двенадцати — в ремесленном училище Путиловского завода, с четырнадцати — работал в пушечной мастерской означенного завода. Так? Так. Учился хорошо. Все это похвально. А дальше — скандал: с тринадцати лет распространитель противозаконных воззваний и листовок, большевистской «Правды». В четырнадцать — это просто нелепость! — забастовщик, в шестнадцать — член большевистской партии... Ребенок, мальчишка — и бунтовщик!.. Как это возможно?

— Очень даже возможно, господин офицер. Вы такой умный да старый, сами знаете — возможно. Не стану я говорить, а?

— Нет, уж скажи. Голод?

— Я ж говорю: сами знаете. Голод, а что же еще? Нищета. Троих сынов, братьев моих, маманя схоронила — отчего? От голода. Трое других выжили, мыкаются, едва живы. Сестра с ними. А я? Отчего из школы выгнали? Из-за Фукса. Мало молитвы петь до одури заставлял, так и бил жестоко. А мы — забастовку. Вот тебе и «до—ре—ми»... А на заводе — мастер был Тетявка... Тетявкин. У него поговорочка любимая была: «У меня с голоду не сдохнешь, но и досыта не поешь». Чуть чего — штраф, чуть чего — подзатыльник, а то пинок под зад — и вон с завода. Вот так, господин ротмистр. Вас годик-другой голодом поморить, так и вы революционером стали бы...

Иванов хмыкнул, покраснел: «Хамит, сопляк». Но промолчал.

— Выходит так: чтоб с голоду не сдохнуть — грабь богатых. Разбой это, а не революция, братец.

— Упрощаете, господин офицер. Вы Маркса, Ленина почитайте. Там сказано...

— Читал я вашего Маркса. И Энгельса, и Плеханова, и Бакунина, и Ленина читал. Головастые люди, право же. Но фантазеры. Вы словно с ума посходили с их фантазиями, а ваш Ленин посиживает то в Париже, то в Швейцарии, статейки пописывает, а вас — в тюрьмы...

Что имеет этот человек по имени Ленин, призывая вас на борьбу с само-дер-жа-ви-ем, а? Ничего, кроме чернильницы, пера и тридцати пяти букв русского алфавита. Ведь вас, большевиков, единицы. Сколько вас на два миллиона жителей в Петрограде, а? Молчите. Знаю — несколько сотен. А рабочий люд, которого десятки тысяч, спит. На что тут можно рассчитывать? Против вас полиция, армия, пулеметы, пушки, миноносцы... Золото и бриллианты — казна... Царь, князья, дворянство, связанные кровными узами. Кровными, братец, то есть кровью, понимаешь? Это сила необоримая.

Алексеев слушал Иванова и не мог понять, куда он клонит, зачем весь этот разговор. Допрос есть допрос, тут выспрашивают, выпытывают, а не проповедуют.

— Если самодержавие необоримо, так стоит ли нервничать, господин ротмистр? Рабочие объединяются не по голосу крови, а по голосу идей, которые обещают нам счастливую жизнь, и этот голос все же сильнее. Идеи большевиков разлетелись по России, народ просыпается.

Ротмистр дернулся.

— Идеи!.. Народ!.. Оставьте глупости! Одним заткнем рот хлебом, других купим, третьих пристращаем, четвертых — в тюрьму, а пярых — к стенке. Вот и весь ваш народ с вашими идеями.

Посмотрел на Алексеева с прищуром, столкнулся с упорным взглядом.

— В 1912 году, как написано в «Деле», ты имел от своей партии задание вступить в общество «Образование» и прибрать его к своим рукам, так сказать «обольшевить». Где сейчас работают активисты этого общества? Скажешь?

«Ну, вот и начался допрос. Сейчас кликнет кого-нибудь», — подумал Алексеев. Встал. Ротмистр смотрел, не отрываясь, куда-то в переносицу, ждал. Не дождавшись ответа, заговорил снова.

— Ты один из организаторов забастовки на заводе «Треугольник», пишешь заметки в «Правду», распространяешь нелегальную литературу, работаешь в подпольной типографии. Где находится типография? Скажешь? Алексеев молчал.

— В пятнадцатом году на Путиловском заводе тобой организованы подпольные партийные группы и революционные кружки молодежи. Сколько людей в кружках? Состав? Вожаки? Ну? Год назад тебя избрали членом бюро подпольного Нарвско-Петергофского райкома

РСДРП большевиков. Назови фамилии членов райкома... Молчишь? Дурак. Ты же видишь — мы все знаем. Понимаешь, что сгноишь свою жизнь на каторге, а то закончишь на виселице, а? Ты о смысле жизни когда-нибудь задумывался? О том, чему и кому служишь, размышлял?

— Народу служим. — Алексеев удивился тому, как глухо прозвучал его голос. Прокашлялся, повторил громче: — Народу служим.

— Нар-роду! — хохотнул ротмистр. — Темень беспросветная, холопы, дворня, городская претерь — это народ? Им служишь?

— Ну, конечно, господин ротмистр, вы привыкли считать, что применительно к России слово «народ» и употреблять нельзя. Народ — это в Европах и Америках, куда еще ни шло... Но вот я, все мои предки, друзья — и есть те самые холопы, смерды, тот самый рабочий люд, который вы ненавидите. Им и служу.

— Народ... Что он тебе даст, твой народ? Богатства? Чины? Награды? Да он хоть знает ли, что ты ему служишь? Не знает и не ведает о том твой народ. А государь великодушен. Людей, которые верно служат ему, одаряет щедро. Стоит тебе оказать некоторые услуги и, честное слово, уже завтра ты будешь на воле и жизнь твоя пойдет совсем по-иному. Честное слово!

«Э-э, вон куда клонит господин офицер!.. В провокаторы вербует. Ну-ну, давай...» Алексеев усмехнулся остро, ланцетно.

— Честное слово жандарма!.. Смешно слышать. Знаем мы вашу службу и вашу жандармскую честь. Вон стены камеры, где сижу, они прямо кричат о вашей чести, кровью и слезами прекрасных людей кричат. Честь убийц... Ротмистр взбесился.

— Ты что позволяешь себе, мерзавец!.. Жандарм — слуга Отечества. Скромный труд наш святым делом называется. «Святое дело сыска» — это слова самого государя Николая. «Святое»! Вот так. Не в игрушки играем — безопасность престола охраняем — что может быть выше? Да, порем, да, казним. А ты как хотел? И ты свое получишь, если дурака валять будешь. Видывал я всяких, не тебе ровня. Ломали. Теперь служат нам, да еще как. Ты думаешь, мы заговоры раскрываем, организации обезвреживаем колдовством, что ли? Нет, браток. Есть люди, которые долгие годы работают в ваших организациях. Они не только выдают таких, как ты, вредных для

государства работников. Они пишут историю революционного движения, изучают его, так сказать, изнутри... А как же иначе? Ты Козлова и Кириллина помнишь? То-то...

Ротмистр гикнул грубо, торжествуя.

Алексеев помнил этих молодых совсем парней. В пятнадцатом году они пришли в его подпольный кружок и так активничали, так старались... Потом родилось подозрение, что кто-то из них провокатор. Пытались разобраться — кто, но риск был слишком велик и из кружка вывели обоих. Потом они и вовсе куда-то пропали с завода. Значит...

— Да, да!.. — кивал Иванов. — Именно то, что ты думаешь. И не один из них, а оба... Козлов у вас, а у нас Шацкий, у вас Кириллин, а у нас Афанасьев. Так-то. Ваш брат о сыске по дуракам и держимордам судит. А сыск — это наука. Наука слежки, наука ловли, наука судейства и тюремного содержания, допроса, казни... Да-с, и казни тоже. А вершина этой науки — политический сыск, которому я служу. И смею уверить тебя, мерзавец, что и ума, и чести у меня одного хватит на всю вашу партию вместе с ее вождями, не то что у всего офицества жандармского корпуса. И если у нас есть ремесленники, то это не значит, что в нашем деле нет своих гениев.

Подойдя к столу, ротмистр позвонил в колокольчик.

«Ну, вот теперь и начинается допрос», — мелькнуло в голове у Алексева.

Вошел унтер, вытянулся у дверей. Встал с дивана капитан.

Ротмистр вышагивал по кабинету, наблюдал за Алексеевым, молчал. Заговорил:

— Значит, прочитал надписи на стенах своей камеры? Ну, как? Действует? А ты говоришь, что мы дураки. Говорю же: сыск — наука! Психология.

Снова замолчал и шагал мерно туда-сюда, туда-сюда... Сапоги скрип-скрип-скрип...

— Да ты никак побледнел, братец? Испугался? Ай-ай-ай... Такой говорливый, такой смелый — и нате — бледный. Вот что, голубчик, — обратился ротмистр к унтеру, — принеси-ка...

И скрип-скрип-скрип...

— ...Принеси-ка...

Взгляд на Алексева, пауза.

— ...Принеси-ка стаканчик чаю. С лимончиком. Быстренько.

Усмехнулся, и к Алексеву:

— Страшно умирать? А еще страшнее жить уродом. Но мы допрос с пристрастием, как говорится, редко применяем. Уж если очень нужно. — Ротмистр улыбнулся капитану. Тот щелкнул каблуками. — Так что не бойся. Просто мизансцена, именуемая «Допрос». Действует?

— Действует, — ответил Алексеев и опять удивился тому, как сел его голос. — Действует, — повторил он тверже. — Только это ничего не значит. Ничего вы от меня и под пыткой не добьетесь. И правда все равно на нашей стороне, а не на вашей.

Станным взглядом глянул ротмистр на Алексева. Были в этом взгляде все те же ненависть и злоба, но к ним добавились, кажется, грусть, а может, сожаление, обида. Или страх? Он усмехнулся уже знакомой усмешкой, рот двинулся вправо-вверх, у глаз собрались морщины, сказал негромко, задумчиво:

— Сейчас я велю, чтобы вас отпустили, Алексеев. Честное слово.

— Господин ротмистр?.. — вопросительно перебил Иванова капитан и опять дернул шеей, скрывил нос.

— Отставить! — скомандовал ему ротмистр. — Да, отпущу. А вы подготовьте документы на выпуск. — И к Алексеву: — Но прежде о трех вещах. О правде. Нет правды вашей и нашей, есть одна правда. Ты слишком молод, парень, чтобы понять это, понять, что нет и не может быть правды в идее. Идея может быть красивой, зажигательной, привлекательной. Но она — из слов. А правда — это жизнь. Твой дом, твой труд, твоя семья, твоя любовь — вот единственная правда. Правду можно поделить пополам и получить две полуправды; от правды можно отнять две трети и оставить одну треть или четверть, а из них вывести какую-нибудь идеологию. Но не было, нет и не будет идеологии, которая в полной мере отражала бы всю правду жизни. Так что не стоит говорить: «Правда за нами». Своя правда есть и у нас, и мы за нее стоим, ой, как стоим...

Часы над камином отбили два часа дня. Иванов достал свою «луковицу» из кармана.

— Да-с, пора обедать, опаздываю. И все же... О революции. Бесчисленную череду смертей, всеобщего разрушения, бесполезное мученичество для множества людей — вот все, что принесет ваша революция народу, о котором вы так печетесь и к которому, хотите того или нет, при-

надлежу и я, ротмистр Иванов, тысячи других офицеров, разных служащих, чиновников, прочих интеллигентов.

Алексеев собрался возразить.

— Помолчите. Я знаю, что вы скажете: дескать, вы — не народ, вы — эксплуататоры, кровопийцы. Читали, слышали. В известном смысле вы правы. Но я не об этом. О жизни. Жизнь моя рушится. Все, что я имею, все мое счастье — под угрозой. Я ненавижу всю вашу революцию и особенно большевиков, но уже поздно. Только чудо может изменить ход событий. Я бессилен. И от того ненавижу вас вдесятеро сильнее. Но если б я мог, если б я мог...

Иванов скрипнул зубами, скулы его побелели.

— Теперь вы свободны. Флягин! — крикнул он.

Вошел унтер.

— Уведите.

У порога Алексеев остановился.

— Я все-таки скажу, господин офицер. О правде, о революции, о жизни. Сразу и коротко. Не в любви или ненависти, не в словах и аргументах дело. Вы говорите лучше, я хуже. Ну и что? Словами правду не создашь, это верно. Проповедовать проще, чем быть святым... Жизнью своей мы правду и умножаем, и убиваем. Собственной жизнью общую жизнь и правду творим. А жизнь моя — революция. И тем, как я проживу ее, как вы свою жизнь проживете — тем и решим мы наш спор. Есть у меня такое чувство — встретимся мы еще...

Едва Алексеева вывели, капитан Ванаг вскочил с дивана.

— Господин ротмистр, я вас не понимаю — зачем вы его отпускаете? Ведь за ним столько охотились, это опасная фигура.

Ванаг был еще почтителен, но напорист.

— Опасный человек, согласен. Нет, не только тем, что смел, фанатичен. Умный — вот беда.

Ванаг возразил:

— Ума я не заметил как-то...

Иванов подошел к столу, порывшись в «Деле» Алексеева, достал несколько листов.

— Знаешь, что он стихи пишет?

— Это не новость. В тюрьме многие начинают стихоплетничать.

— Не скажи, дорогой. Уголовники стихов не пишут. Политические — да. И тут есть объяснение. Революционеры — они по преимуществу романтики, если хочешь,

идеалисты, даже если именуют себя материалистами. А потому — поэты. И вот что странно: все стоящие поэты — революционеры, по крайней мере — бунтари. Возьми Байрона, Пушкина, Лермонтова... Поэтичность — признак ума и революционности. Я это вывел из моих наблюдений и размышлений. Он пишет стихи — а вы можете, господин капитан? Вот, послушай, что пишет этот пролетарий...

Иванов встал в позу и с выражением прочитал:

Мы все больного века дети...

Ванаг слушал и криво усмехался:

— Я другое могу...

Иванов забулькал внутренним смехом:

— Другое... Ловить, пытаться, писать доносы, надувать щеки от сознания собственного величия. А думать вы умеете? А слово чувствовать? Не рушить, а созидать можете? Правду говорить можете? Ну, хотя бы самому себе, а? А он — эта городская протерь — он знает правду о нас, про свой век. Вы о своем веке задумывались?

Ванаг смотрел на Иванова с удивлением, хотя на лице его застыла маска внимания. Что происходит с ротмистром? Он не узнавал его. Какие стихи? Какая правда? Какое ханжество? Пороть, стрелять и вешать эту мразь — вот поэзия. Но вслух сказал иное:

— Любопытно, любопытно...

Иванов вглядывался в глаза Ванага, кажется, что-то понял.

— Что — «любопытно»? Этот парень думает о будущем, а вы, а я? Вы ждете не дождетесь, когда, наконец, умрет ваша матушка и передаст свое наследство... Ах, оставьте ваши оправдания!.. — раздраженно выставил Иванов ладони в сторону Ванага, открывшего было рот, чтобы возразить ему. — Оставьте, знаю я вас — и предостаточно. Заметьте — не осуждаю. А вот этому Алексею удивляюсь. Он, сам сопляк, мальчишка, о чем он думает? Не о наследстве, замечьте, а о наследнике. Вот я читал его стихотворения... творения, черт побери... По мысли... просто оч-чень прилично. Умен, умен этот парень, вот в чем наша беда, вот что меня расстраивает. Когда умные люди отходят от государства — это ведет к катастрофе. Рано или поздно...

— Ну-у, Владимир Григорьевич, — шутливо-укоризненно, с деланной обидой протянул Ванаг. — Мы ведь тоже не дураки, ей-богу...

Иванов снова уперся взглядом в глаза Ванагу, и тот не выдержал, опустил их.

— Не дураки, не дураки, точно. Но стихов не пишем, а это существенно.

Иванов нервно закурил и зашагал по кабинету.

— Зачем я отпустил его, спрашиваешь? Может, о будущем своем пекусь. Молох революции занес над нами свою длань. Скоро — чувствую это, понимаешь, чувствую! — вот эти Алексеевы, вот этот токарь или какой-нибудь другой пекарь будут решать вопрос о том, жить тебе, мне, всем нам или помирать.

Иванов вдруг поймал себя на том, что он опасно откровенен, и замолчал. Ванаг ждал. Не выдержал.

— Ну продолжайте же, Владимир Григорьевич, интересно...

«Интересно, — хмыкнул про себя Иванов, — конечно, интересно знать, что думает один из работников охранного отделения, тем более что думы его крамолой пахнут. Интересно потому, что об этом можно доложить начальству, ублажить его и свои верноподданнические чувства».

— Да будет. Не хотелось бы говорить об этом.

— Вот тебе и на... поговорили... излили душу... спасибо за доверие. — Ванаг смотрел обиженно.

Они стояли друг против друга — люди одного круга, одних убеждений и одних привычек, оба хорошо знающие правду политической жизни России, но у одного она уже вызрела настолько, что он мог сформулировать ее и высказать вслух, другой, бездумный и слепой, с удивлением слушал то, что говорил только что, да испугался договорить человек, которого он считал отчаянной храбрости смельчаком.

«А, скажу, черт с ним!» — махнул рукой Иванов.

— Ты говоришь вот: «К стенке бы этого большевичка». Поздно! Это надо было душить еще в семенах. Теперь это расстрелять нельзя. Что такое «это»? Социал-демократия, большевизм. Это факт, что в России есть уже политическая партия, которая состоит из таких вот фанатиков, вроде Алексеева, и которая ведет за собой — именно ведет! — огромные толпы. Алексеев и ему подобные — продукт ее работы, а теперь и движущая сила. Мы упустили эту партию, как ни стыдно это сказать. У них одна простенькая задачка, — Иванов хмыкнул. — Уничтожить царизм, монархию, а значит, прежде всего покончить с нами, ее охранниками. Большевики! Не отдель-

ные подстрекатели, как было еще с десятков лет назад, в старые добрые времена, а хорошо организованная партия с очень сильным, талантливым вождем во главе... Это уже не факт, а явление.

Знаешь почему я отпустил этого сопляка? Потому что он прав. Да, да, да! — он прав. Мне горько, мне кричать и плакать от тоски хочется, но он прав. В чем? Идею нельзя подстрелить, как утку, она бестелесна и всепроникающа. Идею может победить только другая, более сильная идея. А ее у нас нет. Религия? Она для самых темных и убогих. Ни один умный человек в России в бога уже не верит. Я не верю. Ты веришь? Врешь! Монархия? Сама себя со свету сжила. Кто верит в царя, в его мудрость и справедливость? Я? Ты? Наши сиятельные начальники? Наши бессловесные подчиненные? Черта с два! Уж кто-кто, а мы-то знаем: все насквозь прогнило. А ведь мы — хранители престола.

Мы куплены сами, покупаем других. Что продаем, что покупаем? Души, веру. Там, где деньги, там нет веры. А что человек без души и веры? Дерьмо. Большевики же дают веру и надежду. На мир. На хлеб. На землю. На справедливость. И говорят при этом: «Не ждите, когда вам дадут их, возьмите сами. Ведь вас огромное большинство». Заманчиво до одури! «Заберите богатства у кучки богачей — ведь это ваши богатства!» Чертовски прекрасно — вмиг стать богатым. Умная и крайне опасная программа. Да что большевизм! Анархия и та более привлекательна, чем монархия. «Ах, Распутин, ах, распутинщина, они погубили трон!» Чуть. Что — Распутин? Эпизод истории. Вот нет его уж год с лишним, а что изменилось? Ничего.

Глубинное в другом. Забастовки, демонстрации, листовки. Пораженческие настроения, усталость солдат, дезертирство с фронта. Очереди за хлебом. Суть здесь. Молох революции просыпается. Поклонись ему, Борис Викентьевич, встань на колени и моли, чтобы оставил тебе жизнь. Что стрелять этого шпенделя с Путиловского? Он посланец революции и только. Убей Алексеева — на его месте возникнут другие. Не счастье числа голов, ног и рук у этой злой гидры, и потому она всесильна... С тем, что было, покончено. «Царь, царь!» «Боже, царя храни!».. К черту! Нам бы не царя, а правительство с царем в голове, нам бы идею, ну, хоть одну стоящую идею!

Иванов был словно в припадке, он кричал, шинел, рубил ладонью, бегал по кабинету и вдруг, взглянув на

Ванага, осекся. Тот стоял бледный, и рука его шарил в кобуре.

— Ты что, идиот? Стрелять? В меня?! — Иванов взвизгнул, подскочил к Ванагу и вlepил ему пощечину.

Ванаг опустил безвольно руки и замер, будто оглушенный. Ротмистр бросился в кресло. Потом вскочил, налил себе воды, залпом выпил стакан.

— Извини. Ты просил — я сказал. И будто легче стало. Что раскис? Отставить!

И, блеснув зубами в бешеной улыбке, не прощаясь, хлопнул дверью и поехал к себе, в охранку.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Молодым сегодняшним трудно просто невозможно поверить, что социалистической революции, которую мы называем Великой Октябрьской и которая открыла новую эру в истории человечества, могло и не быть. Речь, конечно же, не о том, что ее могло не быть вообще, никогда. Революция в России была неизбежна, она должна была произойти рано или поздно: таков закон развития общества. Но — «рано» или «поздно»? Она случилась «рано», потому что ей предшествовали первая русская революция и Февральская революция.

Февральскую революцию начали, ее совершили народные массы. И не их вина, а беда, что на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 2 марта за предложение большевиков отдать власть Советам из 400 депутатов голосовало только 19. Это их беда, беда народная и всеобщая, стоившая крови и многих тысяч жизней, что в тот день Петросовет встал на позицию создания Думским комитетом Временного правительства.

Февраль исторически стал прологом Великого Октября, и потому он неотделим от него. Подумать только: в несколько дней сокрушена едва ли ни самая старая, самая прочная из всех европейских военно-феодалных монархий, совершен грандиозный по масштабам исторического времени скачок от абсолютизма и деспотизма к свободе и демократии. Менее всего склонный к мистицизму, предвидевший эту революцию, В. И. Ленин назвал ее «головокружительным успехом» русского народа.

Революционный взрыв и именно 23 февраля 1917 года никем не готовился. Океан народного гнева неожидан-

но и стремительно выплеснулся из трущоб рабочих окраин Петрограда на площади, проспекты, улицы столицы и затопил ее. Народ уничтожал магазины, сотрясал дворцы. Куда, в какую сторону направит он свою всеокрушающую мощь? Куда повернут стволы своих винтовок, в кого станут стрелять солдаты? Грабь, бей, убивай, упирайся минутной безнаказанностью? А дальше? Дальше — виселицы, расстрелы, каторга. И тогда снова — рабство, нищета, голод...

Этого не случилось, потому что в России была горстка храбрецов, которых именovali еще не всем понятным в те дни словом «большевики». Да, это была только горстка — 24 тысячи человек на 178 миллионов российского народа, разбросанных по громадной стране: две тысячи человек — в Петрограде, шестисот человек — в Москве, двести — в Киеве, двести — в Харькове, сто пятьдесят — в Самаре, пятьсот — на Урале.

Но эта горстка большевиков, ослабленная бесконечными погромами и арестами лучших вожakov, отсутствием в России своего вoждя — В. И. Ленина, не плыла по воле волн событий, а направляла — и чем дальше, тем успешней — бурлящий революционный поток в русло действительно революционных задач: от «желудочно-стихийного» движения с требованием «Хлеба!» к лозунгу «Долой самодержавие!», к захвату политической власти.

Алексеев был той «единицей» из двухтысячной Петроградской организации большевиков, на долю которой выпала обязанность разжигать и укрощать страсти народной лавины, придавать взрыву масс революционную заданность.

I

Что случилось с городом? За те дни, которые Алексеев провел в тюрьме, Петроград, уже и тогда бурливый, грозный напряжением надвигающейся революции, изменился до неузнаваемости. Все тот же парад дворцов вдоль Невы, все те же проспекты и улицы, заводы и фабрики, те же сады, парки и золотые купола церквей, те же острые запахи снега и заводского дыма, особо вкусные после затхлого тюремного воздуха, но люди, люди — что сделалось с людьми? Их словно стало вдвое больше — такие резкие, смелые и отчаянные, будто пьяные от вина...

Куда идти от тюремных ворот — домой, на завод, к друзьям или в райком — Алексеев не размышлял: ко-

лечно, в райком партии, на Новосивковскую, в дом 23. Там, в скромненьком одноэтажном домишке с надежным выходом в сад, были его мысли, там привык он вместе с товарищами заваривать «кашу» — готовить забастовки, демонстрации, собрания. Скорей туда — к спорам, к речам, к бессонным ночам, к работе!..

А может, все же домой? Там мать... добрая, приветливая, вечно хлопочущая, спешащая. Для каждого находилось у нее ласковое слово. В поселке ее любили все. Даже урядник Нопин, который, кажется, и родился-то насупленным, с матерным словом во рту, и тот при встрече изволил молвить хоть и хмуро, но вполне благожелательно: «Здравия желаю, Анисья Захаровна». Как не любить ее ему, кого она не только на свет родила, но и выходила, хилого, болезненного, будто с того света вызволила?

Все помнилось Василию... Как сидела мать у его изголовья ночами, гладила его пышущий жаром лоб своей рукой, которая казалась такой прохладной, снимающей боль... Как, унижаясь и плача, моталась по соседям, выпрашивала какой-нибудь еды для своих детей... Как она молилась.

В бога Анисья Захаровна не верила, хотя иконы в избе держала и била поклоны истово. Бог представлялся ей некой силой, неодобрительно относящейся к пьянству. А пьянство виделось ей самым жестоким из всех земных зол, ибо муж ее, Петр Алексеевич, пил жестоко и оттого в дом шли все беды. Этому вот богу и жаловалась Анисья Захаровна на своего мужа, советовалась с этим богом, делилась с ним мелкими радостями и все просила его о чем-нибудь, необходимом для семьи и детей. А когда Петр Алексеевич, протрезвев после очередного запоя, замаливал перед ней свои грехи, она тут же забывала про бога, переставала молиться, ходила быстрая и веселая, обрушивала всю свою доброту на мужа в надежде, что это последний его загул. Но наступал день, когда муж вновь являлся вдребодан пьяным и, словно мстя за послабление, что дал своей жене, вымещал на ней всю злобу и горечь, накопившиеся за эти трезвые дни и всю горькую жизнь.

Мать... Да, она любит его больше всех, своего старшенького; да, скучает, волнуется, плачет, когда не видит неделями, а то и месяцами, уже отчаялась видеть дома; да, он рискует быть покалеченным, а то и убитым в какой-нибудь схватке с городовыми, как она говорит. Все это так, он и сам понимает. Но что поделать? Ведь все

уже давно ясно: главное — революция, борьба, а не семейные нежности. Жестоко? Может быть. Хотя, по правде говоря, по молодости лет своих Алексеев и не чувствовал этой своей жестокости. А только вдруг в самый неподходящий момент — то за станком, то на каком-нибудь собрании — всплывет перед глазами горестное материнское лицо, увидятся руки ее с распухшими суставами, с заветренной кожей, но — боже мой! — до чего же проворные, умелые и ласковые, натруженные на десять жизней, услышится тихий с хрипотцой голос ее, чуть обиженный и просящий: «Приходи поскорей, сынок». Так увидится и услышится, что удушьем схватит грудь...

Об отце не думалось. Он просто был. Молчалив, замкнут. Измученный, забитый жизнью, заезженный работой человек...

Братья? Чужая родня. Все трое — словно птенцы из другого гнезда. Начнет Василий против царя говорить, глаза у кого страхом, у кого злобой наливаются. Сколько раз мать разнимала слезами своих сыновей. И только сестренка, только Наденька в свои тринадцать лет, кажется, что-то разумное ухватывала, открыв рот, слушала Василия, смотрела на него расширенными глазами, судорожно сглатывала слюну и кричала: «Не трожьте Васю, не трожьте!», когда кто-нибудь из братьев сжимал кулаки.

В свою конуру, которую Алексеев снял на Офицерской улице на чужое имя с тех пор, как перешел на нелегальное положение, и подавно идти ~~из~~ хотелось. Ни стола в ней, ни кровати, а только старей комод, стул да примус на подоконнике. Холодно, неуютно.

Алексеев явился в райком так удачно, как и не мечталось: все были в сборе. Шло заседание. Петерсон пожал ему руку, объявил: «Товарищи, из тюрьмы освобожден член бюро райкома Василий Алексеев...» И выжидательно замолчал, глазами спрашивая: «Почему? Каким образом?» Алексеев смутился и только пожал плечами. Петерсон объявил заседание продолженным. Все было так буднично, что Алексеев обиделся: можно было подумать, будто он не из тюрьмы, а от друзей с блинов вернулся. И только радостная улыбка путиловца Степана Афанасьева ободрила и успокоила.

В повестке дня стоял один вопрос: как использовать завтрашний воскресный день, чтобы 20 февраля, в понедельник, поднять на забастовку Путиловский завод и приобщить к ней остальные предприятия района. Представи-

тели заводов «Анчар», «Тильманс», автомастерских гаража «Транспорт», Екатериногорской мануфактуры, «Химического завода» поддержку обещали. Райком решил: завтра, в воскресенье, по всей Нарвской заставе: в очередях у хлебных и продовольственных лавок, по рабочим дворам, в квартирах, на улицах — развернуть агитацию; всем членам организации большевиков быть в указанных местах; утром 20 февраля сообщить в райком о результатах агитации и настроениях рабочих.

Алексеев получил задание работать среди путиловцев, и вскоре вместе со Степаном Афанасьевым они двинулись организовывать путиловских большевиков.

К вечеру Нарвская застава уже гудела, будто растревоженный улей. На перекрестках у Огородного и Чугунного переулков, на поле у Лаутровой дачи, в Поташовом и Полежаевом лесу, на кладбище в Красненьком — митинги. Возле фабричных и заводских ворот, везде, где есть какое-нибудь возвышение — камень, придорожный столбик, крыльцо или выступ заставского домика — везде митинги, летучие, стремительные, резкие. Всюду люди говорят речи — смелые, страстные, призывают, пророчествуют, клянутся, электризуя себя, других и весь окружающий воздух до состояния гремучей смеси, когда, кажется, достаточно случайно выскочившей из-под кованого сапога искры, чтобы огромная человеческая масса вспыхнула и взорвалась веками копившейся в ней и теперь освобождающейся энергией...

Налетят казаки — быстро, будто горох по столу, рассыплются с угрозами и проклятиями люди и тут же, не успеешь моргнуть глазом, уже собрались в другом месте. И несутся белыми голубями ввысь — впервые за долгие годы свободно и открыто — большевистские лозунги «Хлеба!», «Мира!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!». Без боязни звучит вырвавшееся из подполья дорогое слово «товарищ». Не «вашеблагородие», не «ваше-превосходительство», не «господин», не «мадам» и даже не «гражданин», нет — к черту их! — а прекрасное, рушащее все сословные барьеры, роднящее и сближающее, слаще музыки слово — «товарищ»...

Будто океан разыгрался в шторме — не унять, старайся не старайся. И вот уж городовые поосмирили, жмутся по подъездам, их словно меньше стало. И вот уж казаки проносятся на рысях и как бы не видят митингов. И дяденьки в енотах и бобрах, и дамочки с вуалями, и гимназисты, и даже юнкера пробегают по тротуарам, оза-

боченно и опасливо поглядывая на бурлящий рабочий люд.

Алексеев оцепенел, горло болело от бесконечных речей на морозе, перед сотнями и тысячами, в шуме, гаме и реве голосов восторженных и озлобленных, протестующих и ненавидящих. Далекие от политики, в большинстве своем малограмотные и пока еще не способные разобраться в программах различных партий, но уставшие от нищеты и угнетения, люди с жадностью слушали всех ораторов подряд, переходили от одной группы митинговавших к другой, сосали сигарки, судачили и ругались меж собой, сгоняли надоевшего оратора, с надеждой впиваясь глазами в следующего: вот сейчас наконец откроется вся правда жизни во всей чистоте и станет доподлинно ясно, за что и против кого биться.

Это были не просто речи, нет! Это были схватки с противниками — эсерами, меньшевиками, кадетами и анархистами, тоже кинувшимися в бой, — на глазах у массы и за массу, без которой никакая партия победить не может. И пока далеко не везде верх был у большевиков, ибо осколки здравого смысла поблескивали в речах почти всех говоривших и мало кому удавалось коротко и ясно выразить его целиком.

Митинги... Это они в феврале 1917 года раскачали Петроград и всю Россию. Их духовная власть и сила были поистине могущественной.

Но что такое митинг? Сотни и тысячи тех, кто слушает, и единицы тех, кто говорит. И сколько ж силы, веры и страсти нужно иметь, чтобы словом (всего лишь словом!) зацепить людей за самое больное, что болит так давно и привычно и, казалось уже, так безнадежно; чтобы пробудить надежду на исцеление и вселить волю идти к этому исцелению вопреки всем преградам — через боязнь отказа от привычного, через страх перед новым, неизвестным, через опасность быть первым и сомнение в собственных силах; через неизбежные боли и муки врачевания.

Да разве ж дело только в том, чтоб возбудить людей? А ответственность за свой призыв? Ведь неудача — это смерть для всех и для тебя. Тут страсть и вера не спасут. Надо точно знать, что зовешь на верную тропу — к солнцу, а не во тьму, в горы, вверх, а не вниз, в пропасть...

Все было порой до обидного просто: кто лучше сказал, тот и победил, за тем и пошли люди... А где их взять, ораторов? И потому каждый большевик, способный владеть оружием слова, сражался до полного изнеможения...

Битва шла субботу, воскресенье и с утра в понедельник, к концу которого митинговали все тридцать тысяч путиловцев. 21 февраля забастовали все мастерские завода. У станков остались только солдаты, которые были введены уже давно на завод по просьбе Путилова.

22 февраля пришедшие на работу путиловцы уперлись в закрытые ворота: правление завода объявило локаут — все тридцать тысяч бастующих рабочих уволены. Тут же по предложению большевиков был создан стачечный комитет. После совета с представителями райкома большевистской партии было решено: немедленно остановить работу всех заводов Нарвской заставы, разойтись по городу, призывая рабочих Петрограда поддержать стачку.

Алексееву была поручена башенная мастерская, где работали несколько его товарищей. Когда он пришел в цех, там уже шел митинг. Затерявшись в толпе, Алексеев стал слушать быстро сменявших друг друга ораторов. О равенстве, о братстве, о свободе говорили пространно, витиевато. Ругали большевиков. Народ гудел растерянно и настороженно.

— Чего он руками размахивает? А? Чего он размахивает, а ничего не понять? А? — первничал рядом стоявший пожилой рабочий и толкал Алексеева в бок. Тот улыбнулся:

— Что ты меня колотишь, Сергеич?

Рабочий глянул на Алексеева, закричал громко:

— Алексеев! Выпустили?.. Чего он руками машет, а? Ты скажи, ты иди и скажи речь, и чтоб ясно и понятно!

— погоди, Сергеич. Тише! Давай послушаем, пусть порохо поизрасходуют. Тут, Сергеич, своя тактика нужна... — успокоил его Алексеев и, пробившись сквозь толпу, встал прямо перед оратором, у самого борта грузовика, который был вместо трибуны. Его узнавали, кивали, здороваясь.

— Господа! Товарищи! — кричал оратор. Алексеев узнал работника заводской конторы Скобелкина. — Не слушайте большевиков! Они предали Красное знамя революции и призывают к миру с немцами!.. Вот сейчас я шел и видел, как у пушечной мастерской большевики в ключья разорвали Красное революционное знамя. Эти проклятые ленинцы вместе со своим заграничным вождем продают Россию... Государь издал манифест...

В этот момент Алексеев так громко, по-пороссячьи взвизгнул, что все на мгновение стихло от неожиданности.

Алексеев вспрыгнул в кузов грузовика. Перед ним стоя-

ла густая черная толпа. Он видел глаза, устремленные на него, много знакомых. А дальше лиц было нельзя различить, они только белели в сумраке, сгущавшемся к концу цеха, и летучий пар от дыхания всплывал, колыхался над ними.

— Товарищи, друзья! — бросил он первые слова, и они звонко полетели над пролетами цеха. — Я говорю от имени Российской социал-демократической партии большевиков, от имени «проклятых ленинцев», как нас назвал тут предыдущий оратор. Неправду он говорил!.. Чтобы большевики втоптали в грязь Красное знамя? Кошунство! Заводской комитет поручил хранение Красного революционного знамени мне. И будьте уверены, оно в надежном месте!..

— Где знамя, скажи! — зычно раздалось из толпы.

— Врет он, врёт все! — кричал Скобелкин.

— Говори! Где? — несло из задних рядов.

Алексеев рванул на себе пальто так, что два последние пуговицы, на которое оно застегивалось, пулями отлетели в первые ряды, задрал рубаху.

— Вот оно, наше знамя!

Толпа притихла, глядя на красную материю, которой плотно был окутан Алексеев.

— Вот оно, наше знамя. Надежное место, а?

— Надежное! — гудели голоса.

— А вот мой револьвер системы «Наган». — Алексеев вырвал из кармана револьвер. — Пусть сунется кто — положу любого. Есть желающие? Нет? Первый пункт обвинений в адрес большевиков, который тут демагог Скобелкин выдвинул, с повестки дня снят.

— Братцы, так за такие ж враки Скобелкину надо морду бить! — крикнул кто-то сзади Алексеева.

Скобелкина сдернули с грузовика, вокруг него угрожающе задвигались.

— Отставить! — крикнул Алексеев. — Не надо морду бить, мы его по-другому отдубасим. Пункт два из речи гражданина Скобелкина — война с немцами до победного конца... Сколько тебе лет, Скобелкин? Ну?

— Тридцать два, — пробормотал растерянно Скобелкин. — А что?

— Тридцать два ему, румяной морде, — сообщил всем Алексеев. — А почему ты не на фронте? Отвечай!

— Броня у меня, непризывной я...

— Что ж ты, сам непризывной, других на фронт призываешь? А ну, давай завтра на призыв, давай в око-

пы, к нашим страдальцам, которые кровь понапрасну проливают. Как, товарищи, правильно, а?

Раздался хохот. Скобелкин стал продираться к выходу.

— Верно, Алексеев! Так его!.. — выкрикивали из толпы.

— А что? Пусть гражданин Скобелкин и ему подобные «чудо-тыловики» под пулями да снарядами проверят, хорош ль лозунг «Война до победного конца!»... Надо понимать, кто наш главный враг — такие же, как мы, немецкие рабочие, на которых напялили шинели, или кто другой, поближе — Путиловы, Гучковы, Нобели, Рубинштейны и помогающие им Скобелкины...

Гул явного одобрения прокатился по цеху.

— Теперь про манифест... Про какой такой? Нет никакого манифеста. А если б и был, разве не знаем мы цену царским законам? Было уже все: указы, манифесты. Помните?..

Царь испугался, издал манифест:
Мертвым — свобода, живых — под арест.

Помните? Это из 1905 года... Помните Триумфальную арку, кровь и стоны убитых братьев и сестер, отцов и матерей — помните? Снова этого захотелось? Вас господа Скобелкины все успокаивают, все удерживают, все просят подождать. Чего подождать? Пока затухнет пожар народного гнева — вот чего добивается эта пожарная кишка из кадетского корпуса. А кто такие кадеты? Они льют воду на мельницу богачей. Теперь ясно, чьи песни поет этот выкормыш буржуйский?

Он говорил долго, но его слушали. Потому что он говорил правду. Потому что он был свой, рабочий, токарь, и хороший. Потому что — это знали почти все — он уже крепко пострадал за правду, за свои идеи.

Голосовали за предложение Алексеева: завтра — забастовка; с требованиями, которые выработал завком, согласиться.

Разошлись по домам возбужденные, радостные ожиданием нежданно раскрывшейся нови завтрашнего дня и ею же настороженные, обеспокоенные, встревоженные...

II

Наступил четверг, 23 февраля 1917 года. В этот день в Петрограде с утра по призыву большевиков на улицы

вышли тысячи женщин — начинался Международный женский праздник.

За Нарвской заставой работницы тряпичной и конфетной фабрик, Екатериногорской мануфактуры, солдаты и домохозяйки громили продовольственные лавки. К ним присоединились шоферы и механики гаража «Транспорт», рабочие заводов «Анчар» и «Бип», пильщики лесопильного завода, кондуктора и кучера конной железной дороги, работники других предприятий. Верховодили всем путиловцы. Разгоняли полицию. Пели революционные песни. Кричали: «Мира и хлеба!» Женщины несли флаги и плакаты с надписями: «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Да здравствует революция!».

Всего же в Петрограде на улицы вышли почти 130 тысяч демонстрантов. До середины дня положение в целом еще контролировалось полицией, но уже с двух часов она не могла обеспечить порядка и его охрану приняли на себя военные власти.

И все-таки это еще не был шторм, а только его признаки. Вечером на экстренном совещании руководства петроградских большевиков с участием представителей Русского бюро ЦК было решено: забастовку продолжить и расширить, усилить агитацию среди солдат, начать вооружение рабочих. Были выдвинуты два основных лозунга: «Долой самодержавие!», «Долой войну!»...

Пройдет ночь — и заштурмит, да как...

А пока «проницательная» царица сообщала своему дорогому Ники в Могилев, в Ставку, что в столице имеет место быть «хулиганское движение», что «мальчишки и девчонки носятся по городу — и кричат, что у них нет хлеба, и это просто от того, чтобы вызвать возбуждение... Была бы погода холодней, они все сидели бы по домам...».

Исторической правды ради надо сказать, что погода в тот день в Петрограде была холодной. В своей тужурке и кепке на все сезоны года Алексеев мерз всякий раз, когда приходилось хоть на десять минут оставаться на месте, а не бежать из одного цеха в другой, по хлебным очередям, по домам заводских рабочих, собирая женщин на митинг на Нарвской площади.

Они шли без долгих слов и призывов, кутаясь в шали, пряча руки в облезшие муфты, шли молча, с отчаянием и злобой на исхудалых лицах, шли грозно и решительно, как может идти только изуверившаяся, доведенная до последнего предела в своем бесконечном терпении женщина: хоть пули, хоть шашки — не остановить.

Группки и единицы стекались в толпу, в мощный поток, и этот момент единения рождал ощущение силы и уверенности. Зазвучала «Марсельеза», слышались лозунги: «Мира!», «Хлеба!»

На Нарвской площади, где заранее было сооружено несколько трибун, люди останавливались, грудились вокруг трибун, затихали, жадно слушали ораторов.

Под цепким взглядом тысяч женских глаз Алексеев чувствовал себя прекрасно — многим, может, большинству, он был известен. Речи получались короткие. Откуда-то брались те самые нужные слова, сказав которые, больше ничего говорить не следовало. И вот уже надоело говорить, усталли слушать, единым криком с разных концов несло:

— На Невский!.. Требовать мира, хлеба! Стройся в колонны!..

Полчаса — и многотысячная толпа развернула знамена и плакаты, двинулась в центр столицы, стремясь держать строй. У Калинкина моста к ней присоединились несколько сотен рабочих других фабрик. По ту сторону Фонтанки ждали рабочие Калининской мануфактуры.

Между ними, прямо на мосту, стоял большой отряд полиции. Полицейские быстро выстраивались в цепь, брали винтовки на изготовку... А в рядах демонстрантов задние напирала с песнями, с хохотом, не зная о ждущей их опасности. Сейчас прогремят выстрелы... Что делать?

Алексеев бросился в голову колонны, туда, где шли Иван Огородников, Федор Кузнецов, Григорий Самодед... Но его опередила, стрелой пронеслась мимо, прямо на штыки, Настя Круглова.

— Эй, братцы! — кричала она. — Не стреляйте! Разве ж вы не люди?.. Видите — мы без оружия!..

Полицейские растерялись. Миг — и первые ряды демонстрантов, словно в штыковой атаке, кинулись к мосту. Но грохнул залп в воздух и, будто ударившись о невидимую преграду, бежавшие остановились. Полетели угрозы, жалобы.

— Что смотрите? Стреляйте, сволочи!

— Довели...

— Жить стало невозможно!

— Нечего есть!

— Не во что одеться!

— Нечем топить!

Полицейские стояли молча, винтовки на изготовку, офицер замер с поднятой для команды «Пли!» рукой.

— Назад! — кричал Алексеев женщинам. — Назад! Они будут стрелять! Еще не подоспело время, погодите, мы скажем свое слово!..

Все мужчины, что были в колонне, вышли в первые ряды, прикрыли женщин собой.

— Назад, просим вас, матери и сестры! Мы не простим себе вашей крови!

С проклятиями и угрозами колонны женщин стали распадаться, поодиночке, малыми группами пробираться на Садовую в обход — по Фонтанке, Обводному каналу. Знамена и плакаты несли свернутыми, пряча их под одеждой.

— Путиловцы идут к центру! — разнеслось по Петрограду.

На Невском появились толпы рабочих. То тут, то там вспыхивали стычки с полицией. В воздухе пахло порохом...

Через несколько дней, 1—2 марта, Русское бюро ЦК РСДРП(б) в листовке «Великий день» укажет: «Первый день революции — женский день, день женского рабочего Интернационала... И женщина... подняла знамя революции».

Поздно вечером, вернувшись с демонстрации, члены Нарвского райкома партии большевиков собрались в доме на Счастливой улице. Всех тревожило одно: как поведут себя завтра солдаты, что стоят в огромном здании строительного цеха и в мастерских Путиловского завода? Три тысячи штыков — не шутка. Решили начать среди них агитацию, перетянуть на сторону рабочих. С этим и расстались.

Домой Алексеев не пошел: какой резон? Пока доберешься — утро. Расстелив газеты на столе, за которым только что заседали, он укрылся тужуркой. Все тело с головы до пят покалывало тысячами мелких иголок, оно гудело от усталости, но сон не шел. Возбужденный мозг одну за другой прокручивал в памяти дневные сцены. Снова он метался перед разъяренными женщинами, убеждая от нападения на полицейских и от полицейских пуль, снова летела на штыки Настя Круглова. С ужасом представил, что случилось бы, если б грохнули выстрелы... Память выхватила разверстый в крике рот Насти, ее длинные ресницы и родинку на правой щеке...

24 февраля, в пятницу, Петроград проснулся в тревожном ожидании: что будет дальше? И буржуа, и аристократы, и пролетарии столицы знали: окраины взбунто-

вались, бьют провокаторов, вооружаются холодным оружием, гайками, кусками железа.

В тот день в Петрограде бастовало уже 200 тысяч человек. В рабочих рядах появляются студенты, курсистки, гимназисты. Демонстранты с Выборгской стороны, Васильевского острова, из-за Нарвской заставы врываются к центру города, на Невский. Все чаще стычки с полицией. Пехотные подразделения и казаки еще пытаются рассеять толпы нагайками, приказами, шашками. В городских лютнях палки, камни, куски льда... На Невском проспекте — виданное ли дело! — не прекращаются митинги. Уже не только хлеба, как это было вчера, требуют демонстранты. «Долой царизм!» — этот лозунг доминирует среди всех, и это для власти имущих страшно. Хлеба дали — дело кончено. А что делать тут?..

Как обычно по пятницам, в Марининском дворце в тот день заседает Совет министров. Министр внутренних дел А. Д. Протопопов в полунистерике сообщает о том, что полиция не в состоянии утихомирить массовые волнения.

Из Могилева телеграфом поступает приказ от царя: руководство усмирительными действиями в столице возложить на командующего Петроградским военным округом генерала С. С. Хабалова.

К середине дня и городским властям становится ясно, что одними полицейско-казацкими силами народ не усмирить. Важнейшие городские магистрали, ведущие от рабочих окраин к центру, перекрыты нарядами гвардейских полков. В два часа дня штаб начальника охраны города во главе с полковником Павленковым перемещается на Гороховую улицу в дом номер два, в здание градоначальства. С этого момента полиция действует в самом тесном контакте с командованием военного округа.

24 февраля массовое движение петроградских окраин окончательно сомкнулось с выступлениями пролетариата центральной части города. В забастовку и демонстрации включились рабочие 1, 2 и 3-го городских районов. Революцией теперь были охвачены все районы столицы.

У памятника Александру III идут митинговые собрания, раздаются призывы: «Долой полицию!», «Да здравствует республика!» И крики «ура» по адресу молча наблюдающих эту картину казаков. Можно ли поверить: гроза демонстрантов и стачечников, казаки, отвечают толпе поклонами?

В тот же день на Путиловском заводе, где в цехах оставались только солдаты, появилась листовка — воз-

звание Петербургского комитета большевиков. «Помните, товарищи солдаты, — говорилось в нем, — что только братский союз рабочего класса и революционной армии принесет освобождение порабощенному и гибнущему народу и конец братоубийственной и бессмысленной бойне.

Долой царскую монархию! Да здравствует братский союз революционной армии с народом!» Распространяли воззвание солдаты-большевики, члены Нарвского райкома партии.

Чтобы легче было наблюдать за солдатами, заводской воинский начальник Фортунато согнал солдат почти со всех цехов в новоснарядную и шрапнельную мастерские. Но это оказалось на руку большевикам: агитацию вести стало легче. Было решено собрать в шрапнельной мастерской митинг. В группу солдат и рабочих, ответственных за его проведение, вместе со Степаном Афанасьевым и Иваном Генслером был включен и Алексеев.

Солдаты встретили делегацию угрюмым молчанием. Офицеры, сгрудившись, смотрели с откровенной враждебностью. Степан Афанасьев взял слово. Но едва он начал призывать солдат объединиться с рабочими для свержения самодержавия, к нему подскочил один из офицеров, капитан, и закричал, обращаясь к солдатам:

— Как смеете вы, сукины дети, слушать этого подлеца? Он склоняет вас к измене! Знаете ли вы, что ждет вас? Расстрел!.. Скоро кончится для вас свобода, на виселицах кончится!.. Для ваших «братьев рабочих» тоже!..

Капитан прокричал эти слова высоким командным тоном, и хотя с трибуны его согнали, сказанное произвело впечатление. Степану Афанасьеву дальше говорить не дали. На площадку вышел высокий белесый солдат.

— И хоть их благородие тут собачился на нашего брата и не достоин за то солдатского уважения, а говорил он правду, господа рабочие. За бунт нас всех к стенке поставят. Это точно. А хотя бы и выиграли вдруг — нам-то какой прок? Солдатам, я говорю, какая польза? Нету ее. Нельзя нам выступать против царя-батюшки, никак нельзя, а остается терпеть все как есть да богу молиться.

Белесого слушали сочувственно.

Говорили еще солдаты-большевики, правильно говорили. Их тоже выслушали со вниманием, но призыва вооружаться и переходить на сторону рабочих не поддерживали.

Попросил слова Алексеев. Загудели:

— Хватит! Кончай разговоры говорить, все ясно!

— Я не буду говорить, я вопрос задам, только один вопрос!.. — перекрывая гул толпы, начавшей уже расходиться, прокричал Алексеев.

— Ну, давай, спрашивай!.. Какой вопрос?

— Не хотите переходить на нашу сторону — ладно. Ваше дело. Не хотите понять, что вы такие же, как и мы, рабочие, только в шинелях, которые скоро снимете — ладно. Но можем ли мы передать нашим матерям и отцам, братьям и сестрам, что не выступите против нас? Не станете стрелять и колоть?

— Это обещаем! Передавайте!.. — раздалось с разных сторон.

— Э, нет. Так не пойдет, — крикнул Алексеев. — Десять человек скажут «обещаем», а остальная тысяча? Голосовать надо. Согласны?

— Голосуй!.. — закричали.

— Те, кто обещает не выступать против своих, против рабочих с оружием — прошу поднять руку! — прокричал Алексеев.

Взметнулись вверх ладони. И по тому, как быстро это произошло, Алексеев понял, что слово твердое, не выступят солдаты и в самом деле.

— Кто против? — спросил для порядка.

Отметил: офицеры и кое-кто из солдат не подняли руки ни в первом, ни во втором случае.

Солдаты вдруг повеселели, обступили рабочих, с извиняющимися лицами стали выпытывать про дела у бастующих. Видно, мучила совесть за нерешительность, а тут какое-никакое решение нашлось. «Чудаки, — думал Алексеев. — Да ведь это победа для нас. И для них тоже. Нейтральная позиция — это уже шаг в революцию. Не все сразу. Не объединились сегодня, добьемся этого завтра».

В тот день Русское бюро ЦК партии большевиков приняло решение еще более энергично развивать забастовочное движение и далее: с целью перевести его во всеобщую политическую стачку; продолжить и активизировать работу среди солдат; информировать о ходе событий «близлежащие к столице города» и московскую организацию большевиков.

...А в царской семье еще царило спокойствие, жизнь текла своим обычным, десятилетиями устоявшимся порядком: завтракали, обедали, ужинали, играли в карты, читали книги. Случались мелкие неприятности и несчастья: царевич и обе царевны враз заболели кровью. Анна

Федоровна телеграфировала об этом из Царского Села в Могилев мужу. В тот день это была главная ее забота и тревога.

25 февраля, суббота. В этот день государь всея Руси жил в Ставке по обычному распорядку: с 9.30 до 12.30 — работа с начальником штаба генералом Алексеевым, завтрак; в 2 часа дня — прогулка на автомобиле; в 5 часов — чаепитие; в 7.30 — обед. Из Петрограда донимают тревожными телеграммами, предупреждают о надвигающейся катастрофе.

Царь не верит в нее. Царь спокоен. Царь верит в силу своей власти, в войска, в полицию...

А полицейские в тот день уже не рисковали показываться в форме. Переодевшись в солдатские шинели, они бежали с рабочих окраин в центр города, на Невский, к Зимнему дворцу, пытались хоть здесь создать заслон ревущему человеческому морю: забастовка охватила весь Петроград, в ней участвовало уже свыше 300 тысяч человек — более половины всех рабочих города.

Перекрыты подходы к центру — проспекты, улицы, мосты... И все ж людской поток неудержим. Раздаются первые выстрелы по демонстрантам, первые стоны, падают первые убитые и раненные.

Напряжение достигает предела. Бастующим становится ясно: без оружия не победить, без оружия революция в самом зародыше будет потоплена в крови.

Бюро ЦК и ПК большевистской партии принимают решение: «Вооружаться! Возводить баррикады! Завоевывать солдатскую массу на сторону революции! Продолжать наступательную тактику!»

С раннего утра этого дня, как и все члены Нарвского райкома партии, Алексеев занимался единственным делом — добывал оружие.

Первым делом собрали все, что только могло стрелять, в семьях рабочих. Набралось несколько десятков охотничьих ружей и наганов, припрятанных еще со времен революции 1905 года. Вид у них был неважнецкий: стволы и бойки проржавели, пружины у затворов послабли. Патронов кот наплакал. С такой амуницией много не навоюешь.

Отнять револьверы и винтовки у городских — к этой мысли приходили все. Другого выхода просто не было. Но легко подумать и сказать, а решиться на такое... За нападение на блюстителя порядка — тюрьма. Да если бы речь шла об одном случае, об одном человеке. Раз-

оружить всех городских — вот что предстояло; разоружить здоровенных, под стаг их лошадям-тяжеловозам мужиков, обученных приемам борьбы с толпой, при пашках и наганах — это не шуточное дело. Это война... Но других вариантов не было. Решились.

Из самых сильных заводских парней создали несколько групп по три-четыре человека в каждой. Придумали для городских различные «ловушки».

...Идут трое пьяных, хулиганскими голосами орут «Боже, царя храни...» или «Отче наш...». Что должен делать городской? Пресечь святотатство и богохульство. Он подходит к нарушителям порядка во гневе, а они... Дальше — по обстановке.

...Выбегает из переулка парень с красным флагом, а за ним трое с криками: «Держи бунтовщика!» Видят городского, кидаются к нему за подмогой. Что должен делать городской? Бежать им навстречу. Трое окружают городского... Дальше — по обстановке.

«Ловушек» таких напридумывали достаточно, а разоружить удалось только семерых городских. Лишь двое неожиданно покорно позволили стянуть с себя портупей, другие же дрались отчаянно, до полного изнеможения, будто их убивали. Один же, по кличке Скучный, оказался таким вертким и тренированным, что вырвался из рук четвертых, раскровил лицо Андрею Афанасьеву, подшиб ногу Петру Степанову и чудом не пристрелил Кольку Андреева. Сбежал, матюгаясь и угрожая, и об этом парни сокрушались до зубовного скрежета — на счету Скучного было множество обид. Обходя свой участок, он частенько подзывал пальцем проходивших подростков, иногда совсем мальчишек, заставлял их встать на четвереньки и с такой силой бил по задку кованым сапогом, что бедолаги потом по неделе не то что сесть, ходить не могли. Больно, а главное, унижительно... Сам же Волнихин — такая нежная была у этого городского фамилия — даже в лице не менялся, а только сквозь зубы подвывал: «У-у, скукота...» За что и получил свое прозвище.

Вскоре городских будто ветром сдуло с улиц. Они сидели по полицейским участкам, готовые к бою.

Что делать? Оружия по-прежнему не было, а все шло к тому, что оно вот-вот понадобится. Оставалось единственное — напасть на полицейский участок.

Заводские заводы, представители разных партийных группировок, в срочном порядке обсудили этот во-

прос. Мнения разделились. Меньшевики и эсеры, которых на заводе было большинство, высказались против нападения.

Алексеев вышел с совещания хмурый, махнул рукой Петру Степанову: «Подойди!» Прихрамывая, Петр подбежал к Алексею и сник, увидев его мрачные глаза.

— Отойдем, — обняв за плечи Степанова, сказал Алексеев. — Вот что, Петр, участок будем громить, хоть многие наши «вожди» против. Есть решение ПК большевиков — добывать оружие, ты знаешь, а это для нас единственный закон. Отбери из своей братвы самых отчаянных. Через полчаса встречаемся на выходе у главной проходной.

Степанов тряхнул головой, и его длинные прямые волосы взлетели каштановым взрывом. Улыбнулся радостно, будто предстояло идти на свидание.

— Какой участок громить будем? — спросил.

— На Ушаковской. Там у них что-то вроде небольшого оружейного склада. Уж рисковать, так знать, ради чего. Согласен? Да, чуть не забыл: всем быть с оружием.

Степанов — вот отчаюга! — снова улыбнулся.

— Думаешь, будет пальба?

— Думаю...

Через полчаса, как и договорились, встретились у проходной. Набралось около тридцати человек, в основном молодежь, некоторые еще совсем мальчишки. Двинулись к Ушаковской гурьбой, шли взволнованные, нервно пересмеиваясь, подзадирая друг друга.

Вдруг из переулка выскочили на рысях трое городских. Осадив своих громадных битюгов, они стали стрелять в воздух.

— Прячься по подъездам! — крикнул Алексеев.

Гурьба брызгами прыснула в разные стороны.

— Эй, вы! — закричал Алексеев городским. — Поворачивай, а то перестреляем. А ну-ка бабахнем! — крикнул он Степанову и Скоринку. И стрельнул в воздух.

Раздалось еще несколько выстрелов. Кто-то, из двухстволки похоже, целил в городских. Было видно, как упали левейшие по направлению к ним пыжи, слышно, как ударились на излете о мостовую, о стены и стекла окон дробь. Дернулась и заржала одна из лошадей, быть может, задетая дробью. Городовые развернули битюгов и ускакали.

Парни высыпали из подъездов с криками «ура», буд-

то одержали крупную победу. Однако было видно, что некоторые изрядно стухнули.

— Может, кто хочет вернуться пока не поздно? Не забаву идем. Там ведь и убить могут.

Народ захорохорился, запетушился. Строя никто не покинул.

На подходе к Ушаковской Алексеев остановил товарищей. Посовещались. Решили выслать разведку, выяснить обстановку.

Скоринко и Хрысков вернулись быстро. План захвата врасплох рушился: двое полицейских несли наряд в переулках на пути к участку, двое стояли на посту у его дверей. Судя по всему, немало «фараонов» находилось в помещении.

— Сначала надо как-то убрать наряд, — обратился Алексеев к Ивану Скоринко.

По лицу Ивана разлился румянец, он захолопал своими огромными ресницами, будто скворец крыльями, свел к переносице летучие брови, закусил губу — думал.

— Ну? — нетерпеливо и чуть снисходительно глянул Алексеев. Скоринко был на четыре года младше его. — Придумал?

— Убить? — полуутвердительно вымолвил Скоринко. И было видно, что отчаянную мысль эту он вытолкнул из себя случайно, она пришла ему в голову в последние мгновение, как коренное решение, отвечающее, как он, видно, думал, настроению его друга.

— Ты что, Ваня, трёкнулся? — Алексеев с удивлением посмотрел на Скоринко. — Да ведь если они поймут, что мы убивать их идем, они будут насмерть стоять, и знаешь, сколько нашего брата положат? Надо тихо, осторожно связать, понял?

Скоринко вжал голову в плечи и стал совсем маленьким. Кажется, в этот момент они подумали об одном и том же: как может крохотуля Скоринко обезоружить и связать огромного городского, да еще «тихо, осторожно»?

Алексеев засмеялся.

— Ну ладно. Ты у нас в разведке будешь. Степанов, бери две команды и попробуйте ломать «комедию», как утром.

Но «комедия» не удалась. Едва городской завидел подходивших к нему «подвыпивших» парней, он засыпал в свой свисток, а когда они, как бы ничего не слыша, продолжали двигаться по направлению к нему, служитель порядка дал два выстрела поверх их голов и, не

дожидаясь осложнений, пустился наутек. Не отстал от него и второй стоявший в наряде городской.

Стало ясно: уловки, которые были использованы утром при разоружении городских, уже известны всем полицейским. Первый же взгляд на участок подтвердил это: часовые стояли с винтовками на изготовку, в окнах участка затаилось напряжение, казалось, они прищуривались и высматривают опасность.

«Что делать, что делать?» — эта мысль пульсировала в мозгу Алексеева, но ответ не находился.

«Войско» Алексеева спряталось во дворе дома, стоявшего напротив полицейского участка. Здесь было не так ветрено, как на улице, но разогревшиеся во время ходьбы парни стали быстро мерзнуть. Боевой пыл падал на глазах.

— У меня идея, Вася, — пританцовывая от холода, сказал Федька Гурьянов. Алексеев знал его не так давно, но парень этот нравился ему. — Я пойду в участок и скажу, чтоб они отдали нам оружие. Просто отдали — и все. А иначе, скажу, мы вас переколотим. Нас сто человек... Ну, совру. А?

Посудачили и решили, что идея стоящая, хоть и рискованная. Но полицейским надо показать, что с ними не шутят. Решили занять несколько квартир, окна которых выходят в сторону участка. И если Гурьянова через десять минут не выпустят, дать залп по участку.

Квартиры занимали со скандалами. Ждали Гурьянова десять минут, потом еще пять... Он не появлялся. Тогда, к ужасу жильцов, открыли окна квартир и по команде дали недружный залп по стенам участка. Тотчас зазвенели стекла в его окнах, сквозь решетки из них высунулись стволы винтовок и раздались ответные выстрелы. Алексеев понял, что стреляют не для остротки, а прицельно, пули буравили стены, разбивали мебель, посуду в квартире, где разместились с ним еще пятеро молодых рабочих. В соседней квартире кто-то вскрикнул. Ранили? Убили? Алексеев кинулся туда. Оказалось, что отлетевшим от комода щепкой одному из рабочих занозило шею. Щепка вошла глубоко. Кровь стекала за ворот. Парень сидел бледный, стонал и растерянно смотрел на товарищей. Те толпились вокруг, не зная, что делать, пока хозяйка квартиры, злая и угрюмая, не выдернула молча занозу и не забинтовала парню в общем-то пустяковую рану.

Вроде ничего особенного и не произошло, а поосмире-

ли парни, лица стали серьезнее, суровее. Да, это не игрушки, не «казаки-разбойники».

— Ну что, страшно? — спросил Алексеев.

— Ты скажи лучше, что дальше делать? — спросил его, морщась от боли, пораненный парень.

— Тебя как звать-то? — спросил его Алексеев.

— Василий.

— Так вот, не знаю я, что дальше делать, тёзка, — ответил Алексеев.

И вернулся в свою квартиру.

Лениво перестреливаясь, обе стороны выжидали. Алексеев понимал — полицейским затычка на руку: в любой момент может прийти подмога. А чего ждать им, заводским?

— Что делать будем, братва? — обратился Алексеев к своим товарищам.

— Ясно что: поджигать их надо, — спокойно как о давно решенном сказал один из них.

— Верно! — загорелся Алексеев и тут же потух. — Чем? Как?..

— Керосином, как же еще, паклей, — ответил тот же парень.

— Ну да — ты их принес с собой? — с ехидцей спросил Фекличев, инструментальщик из пушечной мастерской.

— Да я живу тут рядом. У нас для керосинки две бутылки керосина заготовлены. Тряпье всякое найдется... С заднего хода подберемся к участку, в окна пакли набросаем, керосина нальем, а вы стреляйте, отвлекайте их...

— Ну, ты молодчина! — хлопнул Алексеев по плечу парня. — Как твоя фамилия?

— Андреев.

— Давай, Андреев, бери их и дуй за керосином. Как сигнал вон оттуда, из-за угла, дашь, мы стрелять начнем. — Алексеев сгреб руками остальных товарищей, подтолкнул их к выходу. — Скорей! Ждем...

Время тянулось медленно. Алексеев нервничал. Новот и условленный знак, наконец. Нападающие открыли огонь. Полицейские отвечали.

И вдруг из окон участка показался дым. Стрельба оттуда прекратилась. Нападающие оживились.

— Ага, попались, «фараоны» проклятые!..

— Вот мы сейчас вас подкоптим чуток!..

— Эй, господа городовые! — закричал Алексеев. —

Выходите поскорей без оружия да бегите по домам? Слышите? А иначе стрелять будем, живыми не выпустим.

Двери участка вскоре раскрылись, полицейские выходили с поднятыми руками, кашляли, чертыхались и разбегались, с опаской поглядывая на окна квартир, из которых им улюлюкали вослед.

Огонь в полицейском участке занимался быстро, и надо было спешно вытащить из него оружие. Один за другим ныряли в дым веселые, хохочущие парни, выбегали чумазы, с вытаращенными от удущья глазами, хватались за грудь, заходясь в глубоком кашле. Но все винтовки и наганы, патроны к ним уже лежали в куче, и их грузили в телегу, запряженную полицейским битюгом.

По дороге им снова встретились конные городовые, снова стреляли, но было видно, что просто для острастки. И также для испуга и поддержания собственной храбрости, а совсем не для того, чтобы ранить или убить, в воздух пальнуло несколько раз гордое своей победой войско Алексеева. Еще ни та, ни другая сторона не решалась пролить кровь, но все больше злобились, и было ясно, что это терпение до первого кровного случая.

У ворот Путиловского завода повозку с оружием окружила толпа рабочих, неведомо зачем собравшихся. Весть о том, что захвачено почти сто винтовок и столько же пистолетов с патронами, большинство восприняло с энтузиазмом. Раздались требования тут же раздать оружие, но Алексеев воспротивился: оружие взято по решению Петроградского комитета большевистской партии, а потому и вопрос о том, кому его дать в руки, решат большевики, их Нарвский райком.

Но толпа, до этого момента смирная, как говорится, «завелась», загорелась, будто костер от искры. Уставшие от безделья — забастовка продолжалась уже несколько дней, — люди были рады любому занятию, отвлекавшему от тревожных мыслей и предчувствий, бессознательно тянулись друг к другу, к единению, нуждались в ободряющем слове. Появились ораторы, зазвучали речи. Выступил и Алексеев, затем на грузовик взобрался Иван Голованов.

— От имени большевистской ячейки предлагаю создать Временный революционный комитет Путиловского завода. Восставший народ должен иметь своего вождя, свою заводскую власть!

Что тут было! Кричали «ура», качали Голованова и снова говорили. А народ все прибывал, уже несколько

тысяч собралось. Потом разобрались по партиям: большевики — в одной стороне, меньшевики — в другой, эсеры — в третьей, анархисты — в четвертой и стали определять своих кандидатов в заводской ревком. Беспартийное большинство мерзло, матюгалось и торопилось к выборам. Потом долго и придирчиво обсуждали каждого кандидата. Потом избирали. Потом решали, что должна делать заводская власть. Организовать боевую дружину — раз. Установить революционный порядок на улицах — два. Взять завод в свои руки — три.

Потом качали членов ревкома. Алексеев с хохотом взлетал над головами, а где-то рядом — временами он видел их лица — дрыгали в воздухе ногами и руками, норовя встать на землю, Иван Генслер и Иван Голованов. Да где там! Кажется, каждый из рабочих хотел прикоснуться к своим избранныкам, к своей власти. Кажется, все понимали значительность момента, а все-таки кто-то должен был определить его.

— Пустите меня, пустите! — кричал Алексеев. — Я скажу, я знаю!.. Это важно!.. Пустите же!..

Его поставили на грузовик.

— Ну, говори — что ты знаешь такого важного?

— Товарищи! Товарищи! Товарищи!.. — Алексеев кричал и не слышал своего голоса. Постепенно тишина волной уходила от грузовика к окраинам толпы. И вот она воцарилась.

— Ну, говори же, Алексеев!

— Товарищи! На нашем заводе случилась революция! Этот завод — теперь наш завод, понимаете — наш. А мы — власть! Все на завод! Да здравствует революция!

И снова он еле слышал себя, а те, кто стоял внизу, и совсем не разобрали.

— Что он сказал?

— Революция! — катилось от одного к другому. — На завод!..

И грохнула «Марсельеза»... Нет, вы бы только слышали, как они пели, вы бы только видели эти лица!.. Лица людей, на которых еще минуту назад, казалось, на века застыла рабская покорность... Тысячи горящих и плачущих глаз, тысячи разверстых в песне ртов, тысячи лиц, светящихся верой. Нет, нигде и никогда вы не увидите больше такого, это можно поглядеть только раз. Это было такое таинство, которое случается лишь в мо-

мент причащения к святыне, когда свершается революция, когда человек постигает самого себя.

— На завод! — закричали задние. — Открывай ворота!

Но ворота были заперты, все калитки на замке.

— Ломай ворота!..

И под напором тысяч тел, таким напором, что треснули кости, железные ворота и дубовые калитки лопнули, будто парусиновые. Толпа черным потоком ворвалась на завод и замерла от неожиданности.

Завод стоял торжественный и тихий. Все дороги, крыши цехов, привычно черные от копоти и гари, были покрыты толстым слоем снега — ослепительно белого, искрящегося разноцветными блестками в лучах выгнувшегося из-за туч в этот день солнца. Небо голубым куполом покрывало огромную заводскую территорию. Паровозы замерли, неподвижные. Трубы стояли бездымные. Прессы и наковальни дремали в безмолвии.

Алексеев огляделся вокруг себя. Вот его друзья и товарищи, знакомые, близкие и незнакомые. В глазах радость и волнение. Как их не понять? Люди встретились со своим кормильцем, с работодателем. Это только бездельники думают, что работой можно наказать. Для нормального, для рабочего человека сущее наказание — безделье. И придет еще время, когда за самые большие проступки человека будут наказывать отлучением от труда...

Пахло раскаленным железом, техническим маслом, охлаждающей жидкостью, и запах этот привел Алексея вдруг в такое состояние, что ему показалось, что вот сейчас он не выдержит, кинется в пушечную мастерскую, включит свой токарный станок и пропади все пропадом — ведь он рабочий человек, он должен работать... Вспомнился учитель богословия и слова из Евангелия от Матфея: «Время разбрасывать камни и время собирать камни...» Увы, пока надо рушить.

— Эгей! — крикнул он. — Снимай, разоружай охрану!

Вечером собрались у Ивана Тютюкова. Обсуждали прошедший день, строили планы, и все в них выходило хорошо. А потом Гришка Самодед предложил Алексею махнуть на Выборгскую сторону. Посмотрим, мол, как там выборы... Но Алексеев-то знал: не в этом дело. Там, на Сердобольской улице, жила Настюха Ивлева, и Гришка был до беспамятства влюблен в нее. Алексеев отнекивался, но Самодед — черный как смоль, борода-

тый и впрямь похожий на деда в свои двадцать четыре — наседали, упранивал. С чего бы? Другими они не были, так, товарищи... Часто сталкивались по партийным делам? Ну, и что? Алексееву хотелось спать, хотелось есть, а идти никуда не хотелось. Бухнуться бы сейчас на диванчик да задать храпака...

— Ну, а пошамать чего-нибудь у твоих выборщиков найдется? — спросил он у Самодеда.

— Да у нее завсегда что-нибудь... — выпалил Самодед с горячностью и осекся, поняв, что проговорился.

Оба расхохотались.

— Махнем, Василь, а?

— А, черт с тобой, махнем...

Жизнь брала свое и жить было хорошо. А все же тревога не покидала душу. Кашу заварили — ой-ой-ой! Только за разгром полицейского участка под расстрел можно пойти. А сколько их, таких дел, сотворили за эти дни... Но вкус свободы уже растаял на губах тысяч, уже испит был первый ее глоток и словно сильный хмель кружил голову — так отчаянно весело было на душе...

«Что будет завтра?» Было о чем тревожиться. Ведь и несмышленицу ясно, что вся сила, которой должна располагать власть, на ее стороне. На подавление революционного движения уже брошено 55 рот пехоты, 23 сотни и эскадрон кавалерии. С Северного и Западного фронтов в Петроград направлены две бригады конницы. Прибавим Петроградский гарнизон в 180 тысяч штыков, 80 тысяч полицейских столицы, в составе которых было более 5 тысяч городских, специально обученных для борьбы с демонстрантами. Почти 300 тысяч усмирителей на 2 миллиона мирного населения...

Потому-то и спокоен так самодержец российский. Вечером того дня, 25 февраля, по дороге в штабной синематограф он диктует телеграмму генералу Хабалову: «Повелеваю завтра же (не через два или три дня, немедленно, завтра же, вот так! — *И. И.*) прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. Николай».

III

Воскресное утро 26 февраля было морозным и тихим. Выпавший за ночь снег припорошил на мостовых и тротуарах кровавые пятна — следы борьбы предыдущего дня. Казалось, что он остудил те кипятковые страсти, ко-

торые владели вчера столицей, что движение масс спадает. Да и на самом деле его нарастанию мешало многое.

В ночь с 25 на 26 февраля охранка попробовала обезглавить движение, провела в столице массовые аресты. Основной удар был нанесен по большевикам. Кроме руководителей районного звена, арестованы работники Бюро ЦК РСДРП(б) А. И. Елизарова-Ульянова, Е. Д. Стасова, хотя члены Бюро ЦК, в которое входили В. М. Молотов-Скрябин, П. А. Залуцкий и А. Шляпников, избежали ареста.

Ранним утром жандармы и конные городовые оцепили явочную квартиру Петроградского комитета РСДРП(б) в доме № 16 по Большому Сампсониевскому проспекту и арестовали секретаря ПК А. К. Скороходова, членов ПК — А. Н. Винокурова, П. Ганьшина, В. К. Эйзеншмидта, А. С. Куклина, который был хозяином. И хотя остальным членам ПК удалось избежать ареста, Бюро ЦК, опасаясь дальнейших провалов, предложило Выборгскому райкому партии взять на себя функции ПК. Городская организация большевиков лишилась испытанного руководства... Всего арестовано более ста человек.

На какое-то время главная сила, направлявшая движение масс, перестала действовать. Основной мотор, от которого, словно фантастически длинные ремни трансмиссий в разные концы города тянулись нити указаний, требований, инструкций, вдруг перестал работать.

И это сразу же дало себя знать. Часть рабочих не вышла с утра на улицы, не явилась к проходным своим предприятиям, а оставалась дома, занималась семейными делами. Вроде все естественно: начинался воскресный, выходной день...

Но пружина сознания рабочих масс была туго заведена всеми предшествовавшими событиями, всей долгой пропагандистской работой большевиков. Сработал их лозунг «На Невский!», брошенный в первый день революции, прочно засевший в головах пролетариев. «На Невский!» — значило идти к Зимнему дворцу, к царским палатам, чтобы сказать ненавистному самодержцу свое обидное слово, показать свою силу. Призыв «На Невский!» стал целью каждого дня и потому, расставаясь вечером, покидая аристократические кварталы, прилегающие к главной улице столицы, люди с надеждой, которую они, кажется, потеряли, а теперь обретали вновь, говорили друг другу «до завтра». Сказав «до завтра» вчера, вечером 25 февраля, сегодня, 26 февраля, рабочие, сту-

денты, гимназисты и курсистки снова шли в центр Петрограда. Но в их марше не было вчерашней мощи, да и был ли это марш?

Вместо того, чтобы как всегда собраться в колонны у своих заводов и фабрик, рабочие двинулись в центр города поодиночке, малыми группами, и эта разобщенность мгновенно сказалась на революционном настрое: не хватало того эмоционального заряда, который люди получали ежедневно на заводских и фабричных митингах, не доставало чувства плеча и локтя, которое приходит, когда шагаешь в строю, в колонне с тысячами единомышленников.

Из-за всеобщей стачки в Петрограде с 25 февраля не работал транспорт. Трамваи застыли в парках, а те, с которых восставшие сняли ручки управления, замерли посреди улиц. Чтобы дойти до Невского с окраин, надо было прошагать по холоду многие километры...

Вторую ночь в городском центре по распоряжению властей было отключено электричество, он бы погружен в темноту.

А власти не дремали... С шести часов утра этого дня в центре столицы началось передвижение крупных нарядов войск и кавалерии, конных казахов и полицейских разъездов. По мостовым, проспектам и улицам протянулись провода военных телефонов...

К семи часам утра, когда город только начинал просыпаться, военно-карательные приготовления были закончены. На подходах к центру, у мостов, на перекрестках и улицах в самом центре столицы было сконцентрировано почти 10 тысяч солдат и городских, переодетых в солдатские шинели. Некоторые воинские и полицейские команды получили на вооружение пулеметы, часть которых была установлена на крышах высоких зданий и колокольнях церквей, стоявших на узловых перекрестках, вблизи больших площадей. В напряженном ожидании замерли пехота и кавалерия. Солдатам было запрещено громко разговаривать, и только всхрапывали и ржали лошади да зловеще поблескивали на винтовках штыки. Как выбить из солдатских голов слепое повиновение царской присяге и приказу, вколотенное туда многолетней муштрой на плацу, зуботычинами и гауптвахтой? Что делать теперь, когда тысячи солдат выведены на улицу, построены и штыки их примкнуты к винтовкам? Как проникнуть в казармы, когда вход в них запрещен катего-

рически, когда приказано стрелять в каждого, кто не подчиняется команде «Стой!»?..

В 13 часов дня генерал Хабалов телеграфировал в Ставку: «Мною выпущено объявление, воспрещающее скопление народа на улицах и подтверждающее население, что всякое проявление беспорядка будет подавляться силою оружия. Сегодня, 26 февраля, с утра в городе спокойно».

Но это было ложное спокойствие... Работа, намеченная большевиками в предыдущие дни, продолжалась. Шло решающее сражение за войско.

Тот день, 26 февраля, начался для Алексеева с постыдного чувства вины: он проспал. И хотя он проснулся первым, а Самодед и Володька Фекличев, у которого они заночевали (вытурила их Настюха, даже в дом не пустила в такую позднь), еще сладко похрапывали, легче ст этого не было; в такую горячую пору — проспать, быть в таком далеке от завода, когда ты там нужен — позор и стыд, стыд и позор...

Алексеев бросил себе в лицо несколько пригоршниц воды и, не дав товарищам очухаться и перекусить, увлек за собой на улицу. Самодед и Фекличев шли, ворчали, но, кажется, испытывали то же чувство, что и Алексеев.

С дороги Алексеев и Самодед ухитрились позвонить в завком Путиловского, переговорили с Головановым и облегченно вздохнули: приказано идти на Невский, вести агитацию среди солдат, разжигать народ.

От того, что приходилось кружить по переулкам, а то и возвращаться назад, продвигались к Невскому медленно. Сунулись на набережную Большой Невки — солдатские посты, вышли на Сампсониевский проспект — казацкие и жандармские разъезды орут: «Назад!» Попробовали заговорить, побуждать — подскочил офицер и так огрел нагайкой Самодеда, что рассек кожу на спине. Прикинули: пытаться пройти через Троицкий мост бесполезно; через Александровский на Литейный проспект — тоже: эти кратчайшие пути к центру охранялись усиленно с первого дня, а сегодня, видимо, в особенности. Чем ближе к центру, тем чаще сновали конные отряды городских и жандармов, тем чаще попадались солдатские посты у общественных зданий. Встречные люди, понуро возвращавшиеся от центра к окраинам, домой, говорили, что настроены солдаты плохо, разговаривают со злобой, стреляют пока, правда, в воздух...

У Алексеева заныло в груди — неужели испугался рабочий люд? Неужели все, что сделано, — напрасно?

Успокаивало то, что тех, кто шел обратно, было совсем немного, зато к центру с каждой минутой народ стекался все дружнее, будто вода сквозь решето, проникал через полицейские и солдатские рогатки.

Постепенно вокруг Самодеда и Алексеева образовалась группа человек в двадцать. Решили идти к Охтенскому мосту. Но и он был забит солдатами. В стороне стояла казачья сотня, и взгляды сотника, которые он бросал на остановившихся рабочих, не сулили ничего доброго.

Далеко за мостом, под окрики солдат перешли по льду через Малую Охту, а там короткими рывками вдоль Суворовского проспекта пробрались к Знаменской площади. Чем ближе к площади, тем явственнее становилось дыхание огромной толпы. Пели «Марсельезу», «Отречемся от старого мира», выкрикивали лозунги. Виднелись красные флаги, красные банты в петлицах верхней одежды. Пар от дыхания белым облаком висел над собравшимися. Пахло свежим снегом.

Челноками пробивались сквозь толпу, сновали меж людей конные городовые и казаки, разбеднивая, мешая собираться в группы, вести разговоры. По разные стороны площади стояли повзводно солдаты с винтовками к ноге, беззлобно переругивались с публикой.

— А ну, пойдем, потолкуем со служивыми, — предложил Алексееву Самодед.

Они подошли к строю совсем уже близко, когда вперед выступил унтер.

— Стой! Дале не ходи, стрелять будем!.. Готовься! — командовал он солдатам.

Солдаты взяли винтовки на изготовку. Алексеев с Самодедом продолжали идти.

— Или! — командовал унтер.

Грохнул залп. Алексеев вздрогнул, побледнел. «Мертв или жив?» — подумал. И понял, что залп был поверх голов. Толпа нервно хохотала. Смеялись и Алексеев с Самодедом, но что это мелькнуло в глазах Самодеда — испуг?..

— Стой! Отойди! — снова крикнул унтер. — Боле в воздух стрелять не будем, а стрельнем как положено по Уставу.

— Уж так и по Уставу? Неужто в живых людей, в братьев своих стрелять станете? — крикнул в ответ Са-

модед, но незаметно придержал Алексеева рукой: «Стой», мол.

Завязался разговор с солдатами, который трудно было вести, потому что гудела толпа, орал на солдат унтер, запрещая солдатам разговаривать с «бунтовщиками», как именовал он собравшихся.

Сзади, перекрывая гул толпы, зазвучал чей-то зычный голос. Начался митинг. Толпа быстро утихомиривалась, вслушивалась в слова оратора, взбравшегося на подножие памятника Александру III.

— Э, да это никак Иван Жуков, член Выборгского райкома, — сказал, оглянувшись, Самодед. — Ух, речист! Ты послушай, Алексеев.

— Эй, солдаты! — прокричал он. — Вы послушайте, в кого стрелять-то надо!..

Но ветер уносил слова оратора. Зато стало слышно, как в стороне Казанского собора раздались залпы — один, другой, застрекотал пулемет. Толпа нервно задвигалась.

— Пугают, сволочи!

— Холостыми палят!..

Уже иной голос доносился с подножия памятника, и Алексеев поднимался на цыпочки, силился увидеть, кто же говорит, как сбоку, справа появился отряд казаков с пиками наперевес и стал угрожающе надвигаться на толпу. Полицейские, которых, несмотря на их многочисленность, как-то не было заметно в толпе, завидев подмогу, ожили, зашевелились, заорали, стали напирать на людей. Обстановка мгновенно обострилась до предела. Над головами рабочих замелькали железяки, в полицейских полетели куски льда. То тут, то там вспыхивали рукопашные схватки.

Казаки с ухмылками наблюдали за происходящим. Алексеев видел, как огромного роста пузатый полицейский ткнул кулаком в лицо пожатого рабочего, как тот осел паземь, как находившийся рядом парень схватил полицейского за бороду, ударил его в ухо, как тот, разъяренный, выхватил пашку и пырнул упавшего на землю парня...

И тут случилось нечто из ряда вон выходящее: один из казаков сорвал с плеча винтовку и прямо из седла, навскидку выстрелил в спину полицейского. Тот вздрогнул, повернулся лицом к строю казаков, постоял несколько секунд, пытаясь что-то сказать, потом рухнул на колени и завалился на бок.

Все, кто видел это, замерли от неожиданности: казаки, оплот и первые хранители самодержавия, стреляют в полицейских! Невероятно! Алексеев слышал, будто вчера здесь же, на Знаменской площади, уже случилась подобная сцена, но не поверил слуху. Но вот она, явь...

— Казаки с народом! — закричал кто-то.

— Ура, казакам!

— Ур-ра! — завопили сотни глоток.

Вдруг где-то рядом зашел рожок «К бою!», в разных концах площади зазвучали команды. Алексеев услышал, как далеко сзади кто-то зычно крикнул: «Пли!» Треснул залп — и раздался истошный многоголосый вопль, увидел, как один из солдат, с которым они только что пытались разговаривать, целит ему в грудь, услышал грохот справа, слева, сзади, перед собой, увидел множество огоньков, вырвавшихся из стволов перед его глазами, увидел, как с головы стоявшего невдалеке пожилого рабочего слетела кепка, лицо его вмиг стало красным от брызнувшей крови и он рухнул бы назад, но люди, что стояли сзади него, кинулись вперед, на солдат, повалили мертвеца и побежали по нему, потому что начался расстрел манифестантов и надо было убежать, надо было спастись.

Выстрелы звучали непрерывно, падали все новые люди, и Алексеев опять удивился, почему он жив, пока не увидел, как плечет один из солдат, бросив свою винтовку, а другой схватился с унтером. Понял: «Мимо, многие мимо стреляют». Но это все — в один миг, потому что в другое мгновение он уже, как и сотни других людей за его спиной, летел на солдат, на вспышки выстрелов и в жутком этом полете они смяли солдатский строй, порасшвыряли солдат и диким стадом, которым уже нельзя управлять, пока оно не изматывает себя, не остынет от ужаса, понеслись вдоль Гончарной улицы, вниз к Александро-Невской лавре.

Алексеев бежал и не мог оглянуться назад. За ним, громыхая о мостовую, тяжело дыша, хрипя, крича и матюгаясь, с проклятиями и воплями ужаса неслась огромная толпа. А во все эти звуки влетался, перебивая их, шокот конских копыт, выстрелы городских и «та-та-та» и «та-та-та» откуда-то сверху, сзади, казалось, отовсюду, с самих небес. И не было сил остановиться — так жутко было, и нельзя было остановиться — сомнут в одно мгновение, растопчут и не заметят. Но нужно было что-то делать, потому что уже не хватало дыхания, деревене-

ли ноги и вот-вот — Алексеев понимал это — он упадет и на него начнут валиться другие, а тогда толпа уничтожит себя сама, а это было бы всего обиднее.

Вот она, спасительная дыра подъезда... Алексеев нырнул в нее, взлетел на первый этаж, на бегу вырывая из кармана наган, разбил ногой стекло и, не целясь, стал стрелять в быстро приближающихся конников. Рядом на пол упал какой-то парень, рукояткой нагана грохнул по стеклу, сверкнул улыбкой в сторону Алексеева, что-то крикнул и тоже начал стрелять.

Несколько городских, услышав выстрелы, осадили лошадей, закрутили их на месте, высматривая, откуда стреляют. Один из конников вскинулся в седле, выронил шашку и начал валиться на бок. Алексеев увидел, что еще несколько человек из подъездов дома напротив тоже стреляют в городских, что городские что-то кричат друг другу и один за другим поворачивают лошадей, уносятся вскачь, колотя своих коней по толстым задям ножными шашек.

Сколько все это длилось? Минуту, две, пять? Показалось, что целую вечность.

И вот уже выбегают из подъездов люди, снова грудятся, собираются в кучу и опять, ухватившись за фонарный столб, кричат призывные слова оратор.

Алексеев вышел из подъезда вместе с парнем, что лежал на полу рядом. Колотило нервной дрожью.

— Кто таков? Не видывал тебя раньше среди выборжцев, — спросил Алексеева незнакомец.

— С Путиловского я, Алексеев.

Парень наморщил лоб, пытаясь что-то вспомнить, потом хлопнул Алексеева по плечу.

— А, шут с ним... Кажется, что-то слышал о тебе. А я Чугунов. Ну-ка, скажи речь народу от путиловцев. Можешь? — и с любопытством посмотрел на Алексеева.

Алексеев засмеялся, кошкой вспрыгнул на опору фонарного столба, сорвал с головы кепку, закричал с дрожью в голосе:

— Товарищи! Я приветствую вас от имени путиловских пролетарцев! Я говорю вам: «Да здравствует революция!» Думаете, сегодня нас разогнали? Шутите! Это они сбегали от нас! Нас убили? Да, убили, — сто, может, двести человек! А нас несметные тысячи! Мосты отрезали? А нам мосты не нужны! Мы по льду проберемся! Отовсюду! Из-за Нарвской заставы, из-за Невской заставы, из Сестрорецка! Отовсюду! Со всей России придут

к нам на помощь люди! Мы вышли с песнями и знаменами, а нас встретили пулеметами! Каков вывод? Мы должны вооружиться! Не будем больше наивными! Разве не набрались мы злобы под их пулями? Разве нет у нас силы? Мы должны вооружиться! Теперь или никогда!

Толпа кричала «ура!» с упоением и восторгом... «К оружию! К восстанию!» — этот лозунг вызрел уже с полудня, с тех пор как пролилась рабочая кровь и стало ясно, что ни о какой мирной революции не может быть и речи.

День клонился к вечеру, шел уже пятый час. С Самодедом Алексеев разминутся и ходил теперь на пару с Чугуновым по улочкам и переулкам вдоль Невского, иногда взглядывая на проспект, чтоб не прозевать, когда народ двинется к Зимнему дворцу. Но движение не начиналось, — лишь только кто-нибудь появлялся на пустынной полосе проспекта, как со стороны Казанского собора начинал татакать пулемет и пули с жутким визгом рикошетили от мостовой, расколачивали вдребезги витрины, стекла в окнах домов.

Возбуждение последних часов спало. Навалилась усталость. Сосало в желудке, но продовольственные магазины были закрыты. К счастью, на Михайловской площади работала закусочная. Алексеев с Чугуновым под считали свою наличность и устроились за стойкой в ожидании официанта. Посетители громко обсуждали события дня. Раздавались угрозы, клятвы отомстить за убитых и рапелых. Но многие стояли молча, прятали растерянные глаза. Иные, подвыпив, плакали.

— Куда тут попрешь против пулеметов? Вот если б добыть оружие — тогда посмотрели бы, чья возьмет. А так, все ясно — их сила, — уныло рассуждал парень в фуражке с кокардой трамвайщика.

— Это точно. Теперь начнут стрелять, вешать да тюрьмы нашим братом забивать, — вторил ему сосед.

«Падает настроение у людей, и это самое плохое дело, — размышлял Алексеев. — Сегодня испугаются — завтра не пойдут на демонстрацию, а послезавтра потянутся на заводы и фабрики, на поклон к хозяевам. Тут и конец революции». Он ловил себя на мысли, что и сам не знает, что же дальше делать.

Вдруг, будто взрыв, в открытые кем-то двери закусочной ворвался рев множества мужских голосов. Алексеев выглянул на улицу: справа из-за угла серого дома

выкатывалась и неслась вдоль Екатерининского канала по направлению к Невскому огромная толпа солдат. «Бежать!» — было первой мыслью Алексеева. Но в это время навстречу солдатам выскочил на рысях отряд городских. Они что-то кричали солдатам, те отвечали, но что именно, слышно не было. Потом городовые быстро спешились, залегли вдоль решетки канала и дали по солдатам залп. Солдаты открыли ответную стрельбу. Вскинулся и ткнулся лицом оземь один городской, истошно закричал другой. Остальные повскакивали на лошадей и умчались.

Солдаты встали с торжествующими криками, начали строиться. Но тут с винтовками наперевес на них пошел большой отряд пехоты. «Преображенцы, — сказал кто-то за спиной Алексеева. — А те, что без оружия, павловцы». Алексеев только тут заметил, что в толпе солдат, бежавших на Невский, вооружены совсем немногие.

Знакомо заиграл рожок «К бою!». Преображенцы побежали на павловцев.

— Не стреляйте, братцы! — закричали те.

— Неужто своих убить можете?!

— Бог проклянет вас, родные не простят!..

Строй преображенцев смешался: одни остановились, другие продолжали бежать, третьи по ипериции шли шагом. Среди солдат металась офицеры, размахивали револьверами, кричали. Но солдаты уже вскидывали винтовки на плечи и поворачивали обратно.

— Господа, да понимаете ли вы, что мы видели?! — раздался чей-то тихий голос за спиной Алексеева. Он оглянулся. Пожилой, лет сорока пяти мужчина в очках, по виду конторщик или учитель, смотрел на сгрудившихся у окна людей торжественно. — Мы видели восставших солдат! Павловцы восстали! Да знаете ли вы, что значат павловцы для царя! Вернейшие его, гвардейские войска...

— Павловцы восстали!

— Солдаты с народом!

С криками восторга все повыскакивали из закусочной, побежали к солдатам, сшиблись с ними взаимными здравиями.

— Ура, павловцам! Ура, смельчакам и героям! — кричали рабочие.

— Да здравствует революция и рабочий народ! — кричали солдаты.

Обнимались со слезами на глазах.

— Теперь с народом? Не станете больше стрелять? — спрашивали рабочие.

— Неужто мы кровопивцы? Не мы стреляли, учебная рота. Вот идем к ним, чтоб «поучить», сказать: нельзя против народа... Да и нет нам обратной дороги. Разве что к стенке, — отвечали солдаты.

— Сколько ж вас?

— Да, почитай, тыщи полторы. А винтовок-то тридцать штук, не боле, вот беда.

Говорят, что одна ласточка еще не делает весны. Верно, ласточка может ошибиться и прилететь чуть раньше. Но ее прилет означает, что весна близка, весна идет, весна неизбежна.

Выступление павловцев не оказало серьезного влияния на ход событий 26 февраля; весть о нем не успела дойти до других частей гарнизона, до широких рабочих масс, но оно не ускользнуло от внимания большевиков, оно сказалось им, что в сознании солдат наметился и происходит перелом, их переход на сторону революции стал реально возможным. Смелые действия рабочих против расстреливавших их солдат и полицейских свидетельствовали о их боевом духе. Для дальнейшего развития революционного движения сложилась благоприятная ситуация.

Вечером 26 февраля в районе станции Удельная собрался руководящий центр — Бюро ЦК РСДРП плюс Выборгский районный комитет, исполнявший функции Петроградского комитета партии, плюс ряд членов ЦК, избежавших ареста. Выяснилось, что в этот день боевые патроны против восставших применялись в четырех местах города: на углу Невского и Владимирского проспектов, Невского и Садовой улицы, на углу Суворовского проспекта и Первой Рождественской улицы, на Знаменской площади. Всюду — убитые и раненые, но больше всего их на Знаменской — около 40 убитых и приблизительно столько же раненых. Осмыслив общую обстановку, члены Центра приняли решение о переводе всеобщей стачки и демонстрации в вооруженное восстание.

Борьба за войска достигла высшей точки: или солдаты Петроградского гарнизона переходят на сторону восставших рабочих и тогда — победа, или они остаются на стороне властей и тогда — кровь тысяч и смерть революции.

Вечером, когда Алексеев наконец дозвонился до своего райкома партии, чтобы сообщить обо всем виденном за день и получить инструкции на завтра, ему было поручено с утра 27 февраля вместе с Семеном Краузе и

группой солдат, работавших на Путиловском заводе, быть в казармах лейбгвардии Волынского полка, солдаты которого расстреливали восставших на Знаменской площади. Задача — любой ценой добиться, чтобы больше такого не случилось. Это — минимум. Главная цель — пусть следуют примеру павловцев...

Ехать на заставу не имело смысла: через несколько часов надо опять идти сюда же, в центр. Алексеев решил заночевать в своей комнате, которую снимал в доме по Офицерской улице.

А что же власти?

Власти считали, что сегодня они выиграли битву, и готовились дать решающий бой на следующий день. Телеграмма Протопопова в Ставку заканчивалась сообщением: «Поступили сведения, что 27 февраля часть рабочих намедняется приступить к работам. В Москве спокойно».

А что же Дума?

Под впечатлением восстания в Павловском полку Родзянко вечером этого дня послал царю телеграмму: «Правительственная власть находится в полном параличе и совершенно бессильна восстановить нарушенный порядок... Государь, безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся страна, и поручите ему составить правительство».

И что же царь?

Царь рассердился. Сердитый, он сказал министру двора, старой лисе графу Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать».

В понедельник, 27 февраля, ранним утром, еще до того, как сыграли подъем, генерал Хабалов самолучно явился в казармы 4-й роты запасного батальона Павловского гвардейского полка. Не получив поддержки других войсковых частей, не зная, что делать дальше, восставшая рота вечером вернулась в казармы. была разоружена и теперь под вооруженной охраной с тоской и страхом ждала решения своей судьбы. Ночью ходили слухи, что все полторы тысячи человек пойдут под военно-полевой суд и будут расстреляны. Потом из солдатской массы отобрали 19 заводил и отправили их в Петропавловскую крепость, а еще 16 — на батальонную гауптвахту. Хабалов допрашивал взводных и отделенных командиров и солдат, грозил им карами за вчерашний мятеж... Но уже оставались часы до того момента, когда министр внутренних дел Протопопов, боясь расправы восставших, сам

явится в Таврический дворец и попросит упрятать его в тюрьму, а арестованный Хабалов будет с ужасом думать о том, что ждет его в ближайшем будущем: тюрьма? ссылка? расстрел?.. Хабалов отдал распоряжение командиру полка принять меры к локализации возмущений и отбыл.

А в это время Василий Алексеев готовился к походу в Волынский полк: осмотрел свою одежду — подштопал штаны, рубаху, пришил надорванный у плеча рукав, взялся за обувь и загрустил: подметки отлетели, еле держались, кожа на спибах вот-вот лопнет. В который уже раз за последний год он принимался за починку, а все без толку: подошва не держит шпилек, а верх — заплаток: сопрела кожа. В одном месте латаешь, рядом ползет...

Приспособил ботинок на стойке своей железной кровати, вколочил несколько гвоздей в подошву одного ботинка, другого, осмотрел — пока держит. Обулся, навернув на носки высохшие за ночь портянки, прошелся по комнате, попрыгал на месте. Вроде все ладно.

Глянул на часы — уже пять. Сейчас должен зайти Семен Краузе с товарищами.

Краузе Алексеев знал давно, но до недавних дней и не подозревал о том, что он уже десять лет как большевик, работает в подполье. А когда узнал, удивился — вот это конспирация! Был Краузе лет на двенадцать старше Алексеева, казался ему человеком пожилым и не без оснований: лицом Краузе выглядел на все сорок, молчалив, скуп на движения, во взгляде усталость и мука. Отчего? Поговаривали о какой-то страшной истории с его невестой, которую изнасиловал мастер цеха швейной фабрики, где она работала. Не снес позора, она будто бы покончила с собой... С тех пор и стал Краузе молчалив и угрюм.

В дверь громко постучали. Вошел Краузе — небольшого роста, кряжистый, суровый. Тряхнул энергично руку Алексеева, внимательно глянул в глаза.

— Готов? Товарищи ждут внизу.

— Оружие брать? — спросил Алексеев.

— А черт его знает... Я вот взял. — И Краузе похлопал себя по животу: под пиджаком топорищился наган. — Как думаешь, к подъему доберемся?

— Надо...

— Еще как надо. Есть сведения, что на восемь часов утра назначено новое выступление волынцев.

Было темно и холодно. То быстрым шагом, то перебежками группа посланцев Путиловского завода двинулась к казармам Волынского полка.

— Как будем действовать? — спросил Алексеев у Краузе.

— Пустят в казармы — разойдемся по ротам, а там — по обстановке...

— А если не пустят? Ведь не пустят, точно, что тогда?

— У товарищей, — Краузе кивнул на шагавших рядом солдат, — заготовлены письма для солдат-земляков, знакомых. Там все, что надо, сказано. Они должны зачитывать их в ротках. Люди верные.

— А если письма не примут? А если примут, да солдаты струсят и не зачитают их? Что тогда?

— Слушай, Алексеев, ты что заладил: «что тогда, что тогда?» — разозлился Краузе. — Тогда будем стоять и ждать, когда полк выйдет из казарм, а когда выйдет, обратимся к солдатам на улице...

— Офицеры не дадут говорить, перестреляют нас, Семен Иванович...

— Пожалуй, перестреляют, Вася, это верно. А что делать? Если не нас, то других... Такое у нас задание.

— Это верно...

И они ускорили шаг.

Еще издалека было видно, что окна казармы горят ярким электрическим светом. Краузе забеспокоился: до подъема было еще десять минут. Что случилось?

На проходной в казармы унтер, замещавший дежурного по полку офицера, к просьбам солдат-путиловцев «допустить повидаться с родней» отнесся с подозрением и с еще большим — к гражданским картузам Краузе и Алексеева. Выспрашивал фамилии солдат, к которым шли путиловцы, проверял документы, все это делал не спеша, с неохотой, одним словом, волянил. И вдруг отскочил назад с криком: «Руки вверх! Стрелять буду!», выхватил револьвер и было видно, что если ему не подчиниться, то он начнет стрельбу. Подняли руки, попытались заговорить, но унтер заорал: «Отставить разговоры! Стрелять буду!» И левой рукой начал ожесточенно накручивать ручку телефона. Время убегало и надо было найти какой-то выход. Какой?

А там, за матовыми окнами казармы, мелькали тени, слышались возбужденные голоса, раздавались команды. Там что-то происходило. Что? Краузе и Алексеев переглядывались, теряясь в догадках...

...А начиналось, происходило восстание Волынского полка.

Вчера, вернувшись со Знаменской площади в казармы, солдаты учебной команды, видевшие, как под их пулями со стонами и проклятиями падали замертво ни в чем не повинные люди, словно оцепнели. Совесть догнала их. Одни мучились содеянным молча, другие тихо переговаривались, но никто не спал и не мог уснуть, хотя было строго-настрого приказано к завтрашнему утру быть бодрыми и готовыми к новым делам. Что за дела предстояли, было ясно каждому — опять усмирять, опять карать, убивать.

Поздно за полночь к койке фельдфебеля Кирпичникова собрались взводные — «солдатские командиры». До того и горячо шептались, едва удерживаясь от того, чтоб не заговорить в полный голос. Спорили, колебались, но в конце концов решили: первое — в народ больше не стрелять, второе — поднять роту на час раньше.

В шесть утра первая и вторая роты учебной команды были на ногах. Взводные командиры на собраниях взводов рассказали о ночном совещании и своем решении. Солдаты согласились с ним.

Тогда была дана команда «Вружье!». Солдаты быстро разобрали винтовки. Из полкового цейхгауза принесли ящики с патронами и инструктор Иван Дренчук выдал их каждому столько, сколько он мог взять. Патронами набивали сумки, карманы брюк и шинелей, а некоторые солдаты клали их даже за пазуху. Понимали люди: нарушение присяги, отступление от дисциплины карается строго. Случится поражение, есть лишь три варианта: расстрел, каторга или штрафная рота на фронте. Что лучше — не сразу скажешь. Оставалось биться до конца.

В семь утра команда построилась в образной и фельдфебель Кирпичников обратился к солдатам.

— Братцы, — сказал он, — там, на Знаменской, я говорил вам вчера, чтоб вы кумекали, в кого стрелять. Да не все кумекали, а неимоверный грех перед народом унал на всех на нас. Позор свой мы должны искупить сами же. Не будем больше стрелять в наших братьевсв да сестриц! Не будем?

— Не будем! — выдохнули четыреста глоток.

— Мы пойдем теперь с народом и до конца. А другого выхода нет у нас, братцы. Будете ли слушаться моих команд?

— Будем! — гаркнули.

— А тогда стоять как и стояли «вольно», ждать, когда их разные благородии придут на развод, а когда они придут и ежели вы неудовольствие какое испытывать будете, то кричите «ура» и стучите прикладами об пол. Понятно?

И вытер большим платком пот с побледневшего лица.

Вскоре, к назначенному для выхода команды часу, явились офицеры. Во главе группы, в картинно накиннутой на одно плечо николаевской шинели шел начальник команды капитан Лашкевич.

Человек жестокий, язвительный, злой, он не щадил никого. Старые солдаты, служившие с ним на передовой, рассказывали, что там, на позициях, он выставлял в наказание на бруствер провинившихся солдат как мишень для неприятеля, и те, кто не был убит за полчаса, сваливались в окоп седые, полуживые. Но и ему, кажется, вчерашний расстрел восставших дался непросто — лицо у капитана было помятым, опухшим и явно не от сна — он все еще не протрезвел, был взвинчен. Щеку подергивал нервный тик, да так сильно, что даже очки в тонкой золотой оправе подрагивали на его носу.

Подлетев к Кирпичникову, Лашкевич оглядел его пытливым и жестким взглядом, будто подозревая в чем-то.

— Ну, здравствуй, Кирпичников, — сказал, протягивая руку.

Кирпичников руки не принял, смотрел дерзко, с вызовом. Лашкевич подержал руку на весу одно мгновение, все понял. Крутнулся четверть оборота к строю.

— Здорово, молодцы!

Но вместо обычного «Здра-жла-ваш-ство!» грянуло дружное «ура». Лашкевич бешено зыркнул на Кирпичникова:

— Что это значит, фельдфебель?!

Кирпичников открыл было рот, но в это время из строя раздался выкрик:

— А не желаем больше стрелять в народ, вот что это значит!

Лашкевич метнул глазами вдоль строя. Кричал унтер-офицер Марков. Капитан подбежал к нему, схватил за отвороты шинели.

— Что? Ты сказал, мерзавец?

Марков вырвался, выставил винтовку штыком вперед.

— Что слышали, то и сказали!.. Не подходите, уложу одним махом...

Лашкевич подскочил снова к Кирпичникову.

— Что — бунт?!..

— Ушли бы вы от греха, господа офицеры, черовен час... Не будем мы больше в своих стрелять, мы теперь за народ... — спокойно сказал Кирпичников.

Повисла недобрая тишина и стало слышно еле-еле, как где-то далеко, может, у преображенцев, а может, в Литовскому полку музыка играет марш «Прощание славынки». Некоторые из офицеров двинулись было к выходу.

— Отставить! — рявкнул Лашкевич. Офицеры вернулись. — Вы что, как павловцы, под трибунал захотели? — зашипел он на роту. — Мерзавцы! В трудную для Отечества минуту вы отступаете от присяги перед внутренним врагом, предаете Россию. И это к вам, к своим детям, обращается с телеграммой, с просьбой, с напоминанием о долге наш государь!.. Вот... сейчас я зачитаю...

Трясуцимися пальцами Лашкевич рвал на шинели пуговицы, чтобы достать из кармана телеграмму.

— Вот... «Немедленно всеми средствами успокоить волнения. Николай». Вас, своих верных слуг, просит царь!.. Царь просит.

— А нам плевать!.. — раздалось из строя.

Лашкевич замер.

— Что-о? Кто-о? Измена! Застрелю!..

Он искал глазами говорившего и медленно расстегивал кобуру.

— Бей его! — раздался чей-то вскрик.

И будто взрывной волной бросило строй на капитана. Офицеры — врассыпную. Лашкевич отскочил к окнам, еще пытаясь вынуть револьвер, но множество рук ухватили его, легко, как мешок с ватой, подняли и швырнули в окно. С треском разлетелась рама, посыпались стекла, и Лашкевич с криком вылетел со второго этажа. Видно, он удачно упал, потому что тут же встал на ноги, отбежал, прихрамывая, несколько шагов и, не целясь, выстрелил по окнам.

В ответ раздался выстрел.

Лашкевич вздрогнул, закинулся головой назад, на согнутых коленях сделал шаг, другой, остановился и со всею маху ударился лицом о булыжник.

...Это уже видели Алексеев и Краузе, солдаты-путловцы, дежурный унтер, который, забыв о своих обязанностях, кинулся в казарму, но навстречу ему из дверей выбежали, петляя, офицеры, сшибли его с ног, а пока он

поднимался, двор казармы уже наполнился солдатами.

— Ура Кирпичникову! Ура Маркову! — кричали солдаты, подбрасывая вверх своих командиров.

Краузе дождался, когда наконец Кирпичников вырвался из солдатских рук, подошел к нему, представился сам, представил своих спутников, рассказал о целях прихода. Тот быстро понял все, приказал команде строиться, а когда строй замер, сказал:

— Солдаты, братья дорогие! К нам пришла делегация от Путиловского завода, от тех рабочих, в которых мы стреляли вчера и многих из коих убили до смерти... Они пришли к нам, хотя должны считать и называть нас палачами, и это правда: мы убивали ни в чем не повинных, безоружных. Слезы и горе матерей, жен и детей убитых будут мучить нашу совесть всю жизнь, хотя большинство из нас не стреляли в людей и никого не убили. А все же наша вина, что наши товарищи делали это. Над нами народное проклятие, а это хуже ада господнего. Нет нам прощения, но все же простите нас, иначе нет нам жизни!.. Простите!..

С этими словами Кирпичников снял с головы папаху и встал на колени перед Краузе и Алексеевым. А за ним, бряцая котелками и оружием, обнажая головы, повалилась наземь вся команда. В глазах Кирпичникова стояли слезы, губы его дрожали.

Краузе подошел к Кирпичникову, поднял его с колен, обнял, поцеловал.

— Встаньте, братцы, друзья, — сказал он, обращаясь к солдатам. — Сейчас скажет Василий Алексеев, член Нарвского райкома партии большевиков.

Алексеев выдвинулся вперед, смял в кулаке кепку.

— Т-товарищи с-солдаты! — начал он, запкаясь, и заметил, что незнакомое обращение «товарищ» понравилось солдатам, некоторые одобрительно закивали головами, запереглядывались между собой. — Да, я говорю вам «товарищи», как принято обращаться друг к другу у нас, в партии большевиков, как будут называть друг друга граждане того светлого общества, которые мы создадим после революции. Я называю вас товарищами, хотя вы не заслуживаете этого, а тем более имени «друзья», как сказал товарищ Краузе...

Солдаты задвигались, заволновались.

— Обидно слышать такое? Обижайтесь. Вчера на Невском проспекте, на Знаменской площади, на других улицах Петрограда вы вместе с «фараонами» преда-

тельски расстреливали восставший народ. И за это рабочий Питер проклинает вас, правильно говорил тут ваш командир.

Строй угрюмо молчал, многие солдаты насупились, опять опустили головы. Алексеев перевел дух, помолчал, продолжил радостно:

— Вчера — я видел это своими глазами — солдаты четвертой роты Павловского полка в благородном порыве негодования подхватили славное знамя Великой Российской Революции, поднятое рабочими Петрограда. С неслыханной храбростью, почти безоружные, вышли павловцы на улицы с клятвой друг другу — умереть или победить. Потому что лучше умереть, чем убивать своего брата — рабочего. Потому что у нас есть все шансы победить, если вы, солдаты, соедините свою силу с силой сотен тысяч питерских пролетариев. Питерские пролетарии восторженно приветствуют подвиг павловцев! Сегодня русский народ узнает о вашем подвиге и простит вас, скажет вам свое спасибо и пошлет земной поклон за то, что вместе с павловцами вы первыми из русских солдат встали в общие ряды борцов за народную свободу!..

Вчера павловцы стреляли в народ, сегодня они с народом. Вчера волынцы стреляли в народ, сегодня они с народом! Это неслыханная победа! Но еще служат царскому правительству измайловцы, преображенцы, Литовский и другие полки... Пойдем же к нашим братьям и скажем: вставайте в наш строй! Добудем себе волю и хлеб! Добудем себе счастье и прекрасное будущее! Долой царскую монархию!

Опять кричали «ура», опять кидали в воздух папахи, опять палили в воздух, но Кирпичников быстро успокоил команду. Горнисты заиграли тревогу. Часть взводных командиров и солдат направилась поднимать остальные роты полка. Двор быстро наполнялся колючей щетиной штыков. Вышли 4-я рота батальона, затем 1-я и 2-я, подготовительные учебные команды. Открыли батальонный цейхгауз, раздали невооруженным винтовки и патроны. Когда весь Волынский полк был в сборе, решили идти сначала к преображенцам и быть готовыми к любому повороту событий...

Сообщив о восстании Волынского полка на Путиловский и в райком партии, Краузе и Алексеев пошли с ними «снимать» другие части.

Преображенцы готовились к строевым занятиям, только что выстроились на плацу, когда с песнями и

шумом к их казармам приблизились волынцы. Почувствовав что-то неладное, офицеры приказали увести солдат в казармы. Но и солдаты почували необычность происходящего, липли к окнам, возбужденно обсуждали, что бы это значило — красные флажки на штыках волынцев? И где их офицеры? А волынцы, смяв караул, уже вошли во двор казармы, громко крича, рассказывали о восстании, звали идти вместе. Кто-то даже грозил, что в противном случае будет открыт огонь.

Унтер-офицер 4-й роты Преображенского полка Федор Мануйлович Круглов понял суть происходящего быстрее всех.

— Братцы, — закричал он. — Вчера восстали павловцы! Сегодня восстали волынцы! Они идут с народом! Чего же мы — предадим их?! К оружию!..

Рота кинулась во двор, взломала патронный склад, разобрала винтовки и понеслась в объятия волынцев, с ними двинулась к Кирочной улице, где размещалась третья рота преображенцев, а потом уже все вместе — к Литовскому полку.

Уже два полка строем, с музыкой шли к литовцам, шли торжественные, радостные и на штыках у многих солдат — виданное ли дело? — трепыхались красные флажки.

Из подворотен на улицу валом валл народ. Обыватели стояли вдоль тротуаров, судачили, многие рабочие шли рядом и их становилось все больше.

— Братцы! Теперь нам никакой царь не страшен! Вишь, сколько солдат и все с ружьями!

— Не кажи «гоп», пока не перепрыгнешь... Настоящие-то солдаты не тут, а на фронте. Вот замрится наш царь с немецким Вильгельмой, да пошлет армию в Питер...

— А ты не бойсь, там такие же, как мы, люди.

— Наша берет!..

И с Литовским полком сговорились. Разобрав все оружейные склады, что оказались поблизости, теперь уже три полка серой рекой текли по Литейному проспекту в окружении тысяч рабочих, которые вооружались на ходу. Звенели стекла витрин оружейных магазинов, на улицу передавали ружья, револьверы, кортики, кинжалы, сабли. Их тут же расхватывали, и оттого у людей прибавлялось еще больше смелости и отчаянности.

— На Выборгскую! К Московскому полку, к москвцам! — раздавались призывы.

На подходе к Шпалерной улице к Алексееву подбежал солдат.

— Слышь-ка, ищу тебя, потерял совсем. Ты вчера на Знаменской был, али как?

— Был.

— Точно! Я тя сразу узнал... из волынцев я... когда ты речь заговорил! Это ты вчера с парнем нашему взводу агитацию навоевал? Ну, еще унтер на вас орал, а мы в воздух стрельнули? — в голосе солдата была откровенная радость, будто родню за тридевять земель от дома встретил.

— Точно. А ведь я тя, паря, чуть не подстрелил, ну, ей-богу. Как сказали «Огонь!», я возьми да в наипоследний момент и пальни на четверть мушки выше. Жалко стало. Уж больно ты на моего брательника похож...

— А если б не был похож, так и застрелил бы?..

— А чего ж? Другие-то вон убивали, дело солдатское оно какое: велят бежать — бежи, велят колоть — коли, велят стрелять — стреляй... — Солдат сник, как-то потух.

— Ну, а думать умеешь? — спросил зло Алексейев.

— Думать нам не велено. У нас вон Кирпичников да Марков шибко умные. А напреж всего господа офицеры...

— Нет теперь офицеров, тют-тю, — присвистнул Алексейев.

— Как это нет? Совсем? — солдат всполошился, на миг задумался. Такая мысль посетила его впервые. — А и в самом деле нет, едрена матрена! Так что же делать?

Алексеев посмотрел на солдата внимательней. Лет двадцать пять, не более, лицо монголистое, а рыжий, глазки рысьи, смотрит хитро.

— Откуда ты такой? Как зовут-то?

— Да деревенский, с Новониколаевской губернии, с Пономаревки... Потому и фамилия Пономарев, а звать Федором.

— Ну, а меня Василием.

— Будем знакомы, — снова радостно заговорил солдат. — Я гляжу, ты шибко грамотный, так шпаришь, будто поп. Ты вот сказывал про какую-то партию... большевики называется, так ли? И про счастливую долю, про революцию... Ты расскажи про это, паря, очень прошу.

— Да когда рассказывать-то? Видишь, что происходит?.. Разве что на ходу, пока идем?

— А ну, давай!.. Эй, робя! — махнул солдат рукой кому-то в колонне. — А ну, шагай сюда!..

Алексеев загорелся, начал рассказывать про Кампанеллу и его «Город Солнца», про Маркса и про Ленина, про то, как обдирают и мучают людей богатей, и про то, что пора с этим покончить. Вокруг собиралось все больше солдат, они окружали Алексеева слева и справа, требовали, чтоб говорил громче, и скоро получилось так, что Алексеев уже шагал в середине строя, и те, кто шли ближе к нему и слышали все, что он говорил, передавали и растолковывали его слова на свой манер, так, как понимали, тем, кто был дальше от него. Весь этот людской клубок галдел, вскрикивал, ойкали был так увлечен беседой, что сначала, когда они вступили на Литейный мост и когда зазвучали первые выстрелы, люди даже не поняли, что по ним стреляют.

С той стороны моста раздавались дружные залпы, строчил пулемет. Упало несколько солдат. Прозвучали команды: «Ложись!», «Санитары, вперед!», «По противнику — огонь!». Волынцы, шедшие впереди, залегли, преображенцы и литовцы рассредоточились по переулкам и подъездам домов.

Через несколько минут все было кончено. Полицейская засада на мосту, потеряв несколько человек убитыми, в панике бежала.

Гордые быстрой победой, уверенные в себе, колонны двинулись дальше.

А навстречу им по мосту катилась, неслась людская лавина — это вооруженные выборжны, пробившись сквозь полицейский застрел, с криками «ура!» спешили навстречу солдатам.

Строй снова смешался... Объятия, речи, стрельба в воздух и многотысячный рев:

— К Московским казармам! К московцам!

Но Московские казармы встретили восставших огнем. Один за другим падали волынцы, преображенцы, литовцы, рабочие. Перестрелка затягивалась, и Кирпичников, посоветовавшись с Кругловым и другими руководителями полков, собирався уже дать команду отходить, как вдруг из ворот казармы выбежали несколько десятков солдат и с криками «Не стреляйте!» бросились в сторону восставших. Оказалось, что стреляют, отбиваясь от восставших, офицеры и учебная команда. Большинство же солдат готово присоединиться к революции.

Когда штурмом взяли наконец и казармы Московско-

го полка, Алексеев почувствовал, что смертельно устал. Казалось, что позади уже целая вечность, а между тем, стрелка часов приближалась лишь к цифре «одиннадцать». День только начинался...

Весть о том, что Волынский, Преображенский, Литовский и Московский полки, саперный батальон перешли на сторону народа, разнеслась по городу с молниеносной быстротой. Утром их численность была около 10 тысяч человек, к обеду — более 25 тысяч, а вечером почти 67 тысяч.

И все же во многом это был стихийный процесс. Опыание солдат собственной храбростью и свободой быстро проходило. Вставал неизбежный вопрос: что делать дальше? Не только завтра — это, конечно, главное, — но уже сейчас, через час, через два? «Ведите нас! Где вожаки?» — кричали солдаты. Вожakov не хватало, но все же они еще отыскивались в самой солдатской массе. Не было вождей — вот главная беда. Вожди в большинстве находились в тюрьмах, на каторге. Ленин был за границей... Восстанию не хватало единой направляющей воти. Тогда на вопрос «Что делать?» многие стали отвечать по-своему. «Навоевались, наслужились, хватит. Пора по домам!» — говорили одни. Другие и вовсе считали, что сделанное и есть революция. Теперь цар испугается и сам откажется от трона.

Нечто удивительное, непостижимое происходило с солдатами: привыкшие к палочной дисциплине, к зуботычине и презрению со стороны офицерства, они прямо на глазах хмелели от обретенной свободы, своевольничали, распускались. Один за другим и целыми группами солдаты покидали свои подразделения, разбредались по улицам, смешивались с толпой, отдавали или продавали винтовки, гранаты, патроны.

Краузе и Алексеев вместе с Кирпичниковым и Кругловым пытались некоторое время что-то сделать, чтобы помешать быстро растущей на их глазах анархии, но безуспешно. Решили: Краузе остается с Кирпичниковым и частью организованных вокруг него солдат, Алексеев идет с Кругловым и остатками 4-й роты к Таврическому дворцу.

Настроение у Алексева испортилось, радость от востанния солдат, от сознания, что они перешли на сторону революции, сменилась растерянностью. Что толку от всего происшедшего, если в распоряжении восставших

как не было, так и нет ни одной организованной части? Одно утешение: солдаты не будут стрелять в народ...

Шли строем, молча, быстрым шагом. Впереди — Круглов, сзади — солдат с красным флагом.

Вдруг откуда-то сверху ударил пулемет. Пули прочертили строчку в нескольких метрах перед головой колонны. С криком «Разойдись!» Круглов бросился за угол здания.

Алексеев, шедший в хвосте колонны, видел, как он с группой солдат подбежал к подъезду дома, с чердака которого бил пулемет, и нырнул в него. Прижимаясь к стенам зданий, Алексеев добежал до подъезда и помчался по лестнице, догоняя Круглова.

Сзади, на лестничной клетке быстро захлопнулась дверь. Засада?

Осторожно, на цыпочках Алексеев подкрался к двери, приложил ухом. Тихо... Было слышно, как кто-то сопит за ней. Алексеев застучал по двери рукояткой револьвера.

— Откройте!..

Молчание, потом жалобно и испуганно:

— Не могу!

— Почему?

— Не могу...

— Откройте или буду стрелять!..

Дверь тут же отворилась.

Алексеев быстро осмотрел одну за другой обе комнаты, заглянул на кухню, в туалет. Никого.

— Почему не открывали?

Человек лет шестидесяти, седой, в пенсне и желтом халате, смотрел обалдело на пистолет в руке Алексева, дышал с хрипами.

— Разве не слышите? Там внизу, на проспекте революция...

Алексеев рассмеялся. Вверху прозвучали винтовочные выстрелы. Пулемета больше не слышалось.

Громыкая сапогами, Круглов и солдаты бежали вниз.

— Что там? — спросил Алексеев.

— Городовые. В солдатскую форму переоделись и палят, сук-кины дети...

— Сколько?

— Трое.

— Где ж они?

— Внизу.

— Как?..

— Вот так. Сбросили

Марш продолжался, но с большей осторожностью. Все невольно оглядывались вокруг, поглядывая на крыши. И правильно делали. Тогда еще об этом никто не знал, а позже станет известно и о втором по значению после восстания солдат события, которое коренным образом изменило соотношение сил в пользу народа, сделало 27 февраля решающим днем второй русской революции: в этот день была вынуждена окончательно капитулировать перед восставшими петроградская полиция.

В 12 часов дня градоначальник с ведома штаба округа распорядился снять оставшиеся посты, а городских сосредоточить в участках. Но это было запоздалое решение. Народ громил полицейские участки один за другим. Последовал приказ: городовым переодеться в штатское и идти на все четыре стороны. Сопротивление жандармских офицеров и городских-одиночек, свидетелем которого был Алексеев, будет продолжаться еще несколько дней. Но 27 февраля полиция как организованная охрана царского режима перестала существовать...

Алексеев видел: необычайное возбуждение воцарилось в городе. То там, то здесь поднималась шальная стрельба. Это было ясно по тому, как неожиданно она возникала и столь же внезапно прекращалась. Туда-сюда сновало множество автомобилей, распространяя наряду со слухами, сплетнями сообщения одно невероятнее другого.

...Подожжены Окружной суд, Губернское жандармское управление, Тюремное управление, Литовский замок, Александрo-Невская часть...

...Утром группа солдат-волинцев освободила узников Дома предварительного заключения.

...Разгромлены «Кресты», Женская тюрьма на Арсенальской набережной, Исправительное арестантское отделение на Офицерской улице, Пересыльная тюрьма и Арестный дом близ Александрo-Невской лавры.

...Освобождены из тюрем активные работники большевистской партии Иван Емельянов с завода «Феникс», Николай Быстров с завода Розенкранца, Сергей Гессен с Путиловского, Семен Рошаль, Георгий Пылаев, члены ЦК большевиков В. Н. Залежский, Н. П. Комаров, Ф. Д. Лемешев, В. Шмидт...

Кто-то крикнул:

— Круглов, тут же рядом, на Нижегородской, Военная тюрьма! Айда, освободим страдальцев!..

Быстро разработали план захвата тюрьмы. Рассредо-

точились, стали перебежками приближаться к мрачным стенам. Но едва зазвучали первые выстрелы, как ворота отворились и из них стали выбегать узники. Лязг кандалных цепей и наручников смешался с ревом и стоном толпы. Приспособившись на камнях мостовой, на углах зданий, солдаты тут же начали сбивать с заключенных оковы... Обнимались, плакали от счастья...

А теперь — поскорее добраться до райкома, до Путиловского. Ощущение было такое, будто восстание движется не вперед, а куда-то вбок. Вправо, влево? Одному не понять. Скорее, скорее к товарищам...

Алексеев попрощался с Кругловым и двинулся.

Пуржило. Шум и гам... Звуки клаксонов и выстрелов... Речи, речи... Красные флаги... Папахи, кепки... Шинели... Серое... Черное... Золото куполов... И глаза — море глаз. Смелых, отчаянных, радостных, испуганных — что будет?

В мозг, в душу, в сердце, в каждую клеточку тела что-то торкнулось, оставив сладкую боль... Алексеев знал: это пришли и просят наружу стихи. Как давно он не сочинял! Исчезли звуки. В беззвучии проплывали мимо тарантасы и автомобили, целые толпы...

А все потому, что февраль... Великий Февраль!

Жизнь столицы становилась неуправляемой, «беспорядки», как называли власти движение восставших, усиливались, хотя это и был единственно верный порядок — порядок революции.

Власти еще пытались что-то предпринять, но всюду терпели провал.

Около часу дня Хабалов, растерянный и подавленный, с трясущимися руками, дрожащей челюстью, докладывал Совету министров о положении в Петрограде. Не лучше выглядел Протопопов. Со второй половины дня царица и правительство уже верили только в силу частей с фронта. В Ставку полетели панические телеграммы.

К шести часам вечера члены Совета министров переместились с Моховой в Мариинский дворец. С общего согласия князь Голицын послал царю телеграмму, в которой сообщал, что Совет министров не может справиться с народным движением и потому просит о своем увольнении.

Сообщения царицы, военного министра и Голицына привели Николая II в крайнее смятение. Около 9 часов вечера он приказал возглавить подавление беспорядков в

Петрограде состоявшему при нем генерал-адъютанту Н. И. Иванову, выделив в его распоряжение Георгиевский батальон из Могилева и несколько наиболее надежных полков с Северного и Западного фронтов. У генерала символическое отчество — Иудович. Приземист, угловат, хриповат. Борода лопатой, узенькие, в морщинистых веках хитрые глазки, утиный нос с бородавкой... Прямо сказать, вид не генеральский. Но дело знает, жесток. Это его рукой в 1906 году потоплено в крови Кронштадтское восстание моряков. Доверие к нему абсолютное. Кроме всего прочего, Иванов — крестный отец наследника. При вступлении в Петроград в его подчинение должны перейти все министры и другие чины... Полная диктатура.

Там, в Петрограде, бунт, там льется кровь и царь уже фактически не царь. А он заносит в свой дневник: «Написал Аликс и поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где погулял... После чаю читал и принял сенатора Трегубова до обеда. Потом поиграл в домино».

Еще жила в душе самодержца российского надежда и вера в лучший исход. А как же иначе? Царскому трону Романовых — триста лет, и все уже было — Болотниковы, Разины, Пугачевы, декабристы, 1905 год... Все кануло в Лету, а трон стоит. И как же иначе? Миллионы в серых шинелях умирают там, на фронтах, с последним криком «За веру, царя и Отечество!», за него умирают... Он повелит им во главе с его любимыми генералами повернуть штыки в другую сторону, на «внутреннего» врага, и послушные миллионы в серых шинелях умрут на этом новом фронте, потопят крамолу в крови и защитят его, Николая II... Как же иначе? Он им отец и повелитель... Еще жила надежда и вера, но все ж судьба самодержавия во всех возможных вариантах клонилась к закату...

IV

До завода Алексеев добрался далеко за полдень. Почти всю дорогу пришлось преодолевать пешком — транспорт не действовал, улицы были запружены народом. Тело гудело от усталости и голод — вот проклятье! — сссал внутренности так, что звенело в голове и малость покачивало.

У ворот на Алексеева налетел Иван Тютиков:

— Ты где пропадаешь? С ног сбились, разыскивая! Давай немедленно в кооператив «Трудовой путь»!

— В чем дело? Случилось что?

— Вот именно... Из Таврического звонили: Совет рабочих депутатов в Питере образуется. Велено выделить представителей от Нарвской заставы.

— Ну и выделяйте на здоровье... Сил моих нет — устал как. У тебя пошамать чего не найдется?

Тютиков покраснел, поправил свои круглые очки, некоторое время растерянно молчал, глядя на Алексеева, заговорил с возмущением и досадой:

— Как тебе не стыдно, Алексеев? При чем тут шамовка, твои силы? Тут такое происходит, а ты где-то шляешься... Ты пойми — революция!..

Алексеев так и присел от смеха.

— Вот дает Ванечка!.. Это кто меня учит? Всякая кесовошеннолетняя малышня?

Тютиков опять залился краской, запетушился, изговариваясь к спору — он очень не любил, когда намекали на его возраст, хотя возраст уже давно был ни при чем — Тютикову шел восемнадцатый год, но он все еще выглядел подростком... Алексеев остановил его обиду примиряющим тоном.

— Ты друг мне, Ваня?

— Я — друг, если не будешь всякие оскорбительные намеки строить.

— Так вот, Ваня, если ты не хочешь, чтобы твой друг помёр, давай раздобудем ему кусок хлеба и он помчится в «Трудовой путь» быстрее авто.

До рабочего кооператива Путиловского завода «Трудовой путь» Алексеев добрался, когда митинг уже начинался. Верховодили меньшевики: они были в большинстве и на трибуне, и в массе собравшихся людей. Чувствовалось, что «меки» подготовились к выборам — их кандидатов поддерживали криками со всех сторон, и было видно, что за этим стоит чья-то организующая воля.

Из большевиков в Петросовет прошли бесспорно авторитетные, известные заводчанам Степан Афанасьев, Василий Алексеев, Иван Генслер, Иван Александров. Тут же им выписали бумагу, в которой значилось, что предъявители сего имеют необходимые полномочия представлять рабочих кооператива в Совете, дали грузовик и к нему невероятное множество всевозможных просьб и советов о том, как вести себя и что делать на заседаниях, и велели кратчайшим путем ехать в Таврический дворец — оттуда уже звонили: на 9 часов вечера было назначено первое заседание Совета рабочих депутатов.

Но все прямые пути к центру были забиты народом: сверкало оружие, щелкали затворы, воздух резали винтовочные удары, горели полицейские участки, магазины, тюрьмы, окрашивая небо над городом в зловеще-багряный цвет. Никакие просьбы и угрозы, мандаты и гудки клаксона не действовали — сбившийся в толпы народ не хотел пропускать автомобиль с депутатами, хотя его появление горячо приветствовали всюду — кузов грузовика был прекрасной трибуной для ораторов. Машина еще двигалась, а на нее уже со всех сторон вскарабкивались люди и бросали в толпу свой восторг и энтузиазм, не особо заботясь об их словесном оформлении. Узнав, что перед ними депутаты, требовали речей, ответов на вопросы до бесконечности.

В конце концов стало ясно, что прямая не всегда является кратчайшим расстоянием между двумя точками. Решили ехать кружным путем. К Таврическому добрались уже ночью и еще в начале Шпалерной поняли, что остаток пути лучше пройти пешком — улица была заполнена рабочими, студентами, курсистками, гимназистами и особенно солдатами, которые явились к дворцу с пушками, пулеметами, походными кухнями.

К этому моменту в руках властей оставался лишь маленький островок: Зимний дворец и Адмиралтейство. Практически весь город — мосты, железнодорожные вокзалы, арсеналы, телеграф, Главный почтамт, Петропавловская крепость — были во власти восставших, среди которых уже сполудня все шире распространялся клич: «В Таврический дворец! К Думе!» Почему — в Таврический? Зачем — к Думе? Едва ли кто мог вразумительно ответить на эти вопросы. Но людской поток все множился и тек с окраин к центру города, к Таврическому дворцу.

— Слышь-ка, царь-то Думу распустил, а она ему не подчинилась. С народом Дума, вот как!..

— Дурной ты, что ль? Там буржуи сидят, слуги царевы. Ворон ворону глаз не выклюет...

— А и что, что буржуи? Они народом выбраны... Должен кто-то власть держать? На то и есть Дума.

— А плевать я хотел на твою Думу, на власть. Жрать охота — вот это беда. А там, у Таврического, солдатские кухни, говорят, поставили, обедом кормят. Айда к Думе!

— Вот темнота, вот недотепы! «Жрать охота», «Дума власть держит»... Свою власть, нашенскую власть, на-

родную устанавливать надо — вот какое дело. Говорят, в Таврическом Петроградский Совет рабочих депутатов собрался...

— А наш, солдатский Совет иде ж?..

— Вот это вопрос! К Таврическому!..

Таврический дворец также был забит солдатами, в основном преображенцами. Комнату № 12, где проходило заседание Совета, Алексеев с друзьями нашли не сразу. У входа в нее стояли караульные, которым они вручили общее на всех удостоверение. Пока один солдат читал его, другой повязал на рукава всем путиловцам широкие красные ленты.

Вошли в небольшой зал, сели на свободные места, которых было немного.

Алексеев огляделся. На заседание собралось человек сто двадцать — сто пятьдесят, не более. Белели манишки, манжеты, выделяясь на фоне черных отутюженных костюмов. Рабочие блузы и куртки терялись среди них.

— Слышь, Иван, — обратился Алексеев к Александрову. — Куда это мы попали? Рабочих-то в этом Совете, рабочих депутатов кот наплакал.

Александров пожал плечами, приложил палец к губам — молчи, мол, и слушай.

В этот момент председательствующий объявил, что слово предоставляется господину Чхеидзе.

— Кто такой? — спросил Алексеев у соседа справа. Тот недоуменно глянул на него.

— Николай Семенович Чхеидзе. Председатель Временного исполкома Совета рабочих депутатов.

— С ним мы знакомы, — зачем-то соврал Алексеев. О Чхеидзе он немало знал из газет, которые частенько публиковали фото этого думского деятеля и одного из лидеров меньшевиков, хотя «живьем» видел его впервые. — Я о том, который объявляет, о председателе.

— О ведущем, — поправил снисходительно сосед. — А это господин Соколов, Николай Дмитриевич, кажется, ваш, большевик... — И замолчал, всем своим видом показывая, что больше никаких пояснений давать не намерен.

Чхеидзе говорил о значении русской революции, призывал бороться до конца, до полной ее победы, хотя из красивой и гладкой речи его Алексеев так и не понял, что же это такое — «полная победа», за что же конкретно должен бороться Совет рабочих депутатов.

Чхеидзе устроили овацию.

— Слово господину Керенскому, товарищу председателя Временного исполкома нашего Совета! — объявил ведущий.

Керенский встал, бросил несколько возвышенных фраз и — весь озабоченный и деловитый, не дожидаясь, когда кончат ему аплодировать — картинно удалился в правое крыло дворца. Вскоре туда же последовал и Чхеидзе. Председательствовать остался М. Скобелев, второй товарищ председателя, и заседание, которое и до этого производило на Алексеева довольно странное впечатление, стало совсем странным, сумбурным. Было ясно, что заранее намеченной повестки дня нет. Депутаты вставали каждый со своими вопросами, перебивали друг друга, спорили. Скобелев лишь подливал масла в огонь всеобщего возбуждения своими репликами и замечаниями, но не управлял им.

Путиловцы никак не могли включиться в ход заседания, переглядывались между собой в недоумении.

— Послушай, Степан, — тронул Алексеев за плечо сидевшего впереди Афанасьева. — Какого черта мы тут сидим? Балаган, да и только. Может, махнем на улицу? Ведь там сейчас такое творится!.. Там — главное.

— Не скажи, Вася, не скажи... — задумчиво прошептал Афанасьев и обратился к своему соседу: — Товарищ, какие вопросы до нас тут обсуждали?

— Пока немного... никаких, собственно...

— Кто главенствует в исполкоме Совета?..

— Большевики и эсеры, товарищ. Наших, точно знаю, трое. Одна пятая часть... Вы большевик?

— Да. Кто же из нашего руководства тут присутствует?

— Во-он того, бровястого, ну, который с тем, что в пенсне, разговаривает, видите?

— Так...

— Это Александр Беленин. Это — кличка. Настоящая фамилия Шляпников — председатель Русского бюро ЦК.

Алексеев вслушивался в разговор. Стал выискивать среди затылков впереди сидевших людей того, о ком говорил словоохотливый депутат. Взгляд выхватил две склонившиеся одна к другой головы, блеснувшие на мгновение стекла очков. Высокие лбы. Щетинки усов. Напряженные, серьезные лица. «Который справа от «очкарика», значит, и есть Шляпников, — отметил про себя Алексеев.

— ...А тот, что в пенсне, Молотов. Тоже кличка. Настоящая фамилия — Скрябин. Член Бюро ЦК, — продолжал шептать впереди сидящий на ухо Афанасьеву. — А тот, что справа от Шляпникова, Петр Залуцкий. Тоже член Бюро ЦК. Думаю, есть на заседании еще большевики, только я не всех знаю.

— Жаль. А то бы вы и про них все секреты рассказали, — сумрачно и громко сказал Алексеев.

Впереди сидевший депутат оглянулся, пытливо посмотрел на него.

— Из меня, товарищ, всякие секреты в «Крестах» очень вытягивали, да не вытянули. Теперь говорю громко, потому что можно. А впрочем... — он замаялся. — Впрочем, вы, наверное, правы, товарищ. Все еще только начинается... Учту.

Постепенно ход заседания налаживался, становился деловым.

Заслушали краткую информацию о снабжении города продовольствием и создали продовольственную комиссию.

«Для дальнейшей организации революционных выступлений армии» утвердили состав военной комиссии.

Создали литературную комиссию, на которую была возложена задача наладить выпуск газет, листовок, воззваний, издание «Известий Петроградского Совета рабочих депутатов». Выпуск контрреволюционных газет и листовок запрещался.

По предложению А. Г. Шляпникова постановили организовать «районные отделения Советов», избрали десять руководителей этих отделений и решили назвать их комиссарами — словом, которому суждено было стать одним из самых знаменитых в словаре революции, словом, которое скоро стало должностью на фронте и в государстве, словом, за которым вскоре встали образы тысяч и тысяч самых преданных делу революции людей с душами родниковой чистоты и сердцами, полными боли и страданий за народ; словом, которое ненавидели враги и которым мы поныне называем самых лучших наших партийцев...

В конце заседания состоялось официальное избрание состава Исполкома Петросовета, в который вошли 15 человек. Большевики составляли в нем одну пятую часть: Шляпников, Залуцкий, Красиков.

Расходились спешно и быстро.

— Ну, что, Василий, теперь скажешь, а? — спросил Алексеева Афанасьев.

— Это ты о чем, Степан?

— Насчет того, где сейчас главное — на улицах или в кабинетах... Теперь, брат, в комнате номер одиннадцать, да в комнате номер двенадцать, где исполком заседает, вся политическая каша варится. Кумекаешь? Чует мое сердце, хлебом мы горького до слез с таким исполкомом. Что нам ждать от Чхеидзе да Керенского?

Он был прав, умница Степан Афанасьев, хотя вряд ли знал, почему он прав наверняка. Но чутье рабочего человека, классовое чутье, его не подводило и на этот раз. Неспроста, совсем неспроста покинули первое заседание Петросвета Чхеидзе и Керенский...

Здесь же, в Таврическом дворце, в его правом крыле, в течение всего дня 27 февраля формировалась и буржуазная власть. Законопослушная государю Дума, Дума, которая всеми силами хотела спасти монархию и меньше всего желала революции и установления народной власти, эта нелюбимая больше от эмоций, чем от разума, царем Дума, была к тому времени закрыта.

В ночь на 27 февраля Родзянко получил высочайший указ: «На основании ст. 99 основных государственных законов повелеваем: занятия Государственной Думы прервать с 26 февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее апреля 1917 года в зависимости от чрезвычайных обстоятельств».

Выслушав указ царя, депутаты в смятении и растерянности тотчас же покинули зал заседаний и собрались в полуциркульном зале Таврического дворца. Начались споры, ссоры, истерики...

Одни предлагали, несмотря ни на что, взять власть в свои руки. Другие требовали передать власть в руки наиболее авторитетного царского генерала. Третьи настаивали на создании комитета, который встал бы и над Думой. Керенский просил полномочий на встречу с войсками и союз с ними. Милюков умолял не спешить с выводами и решениями.

Но в разгар дебатов в зал, бряцая оружием, вошел пристав и сообщил, что охраняющая Таврический дворец воинская часть присоединилась к восставшим...

Родзянко шлет царю отчаянную телеграмму: «Занятия Государственной Думы указом Вашего Величества прерваны до апреля. Последний оплот порядка устранен. Правительство совершенно бессильно восстановить поря-

док. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Убивают офицеров. Примкнув к толпе и народному движению, они направляются к дому Министерства внутренних дел и к Государственной Думе. Гражданская война началась и разгорается. Повелите немедленно призвать новую власть на началах, долженных мною Вашему Величеству во вчерашней телеграмме. Повелите в отмену вашего высочайшего указа вновь созвать законодательные палаты. Возвестите безотлагательно эти меры высочайшим манифестом. Государь, не медлите. Если движение перекинется в армию, восторжествует немец, и крушение России, а с нею и династии, неминуемо. От имени всей России прошу Ваше Величество об исполнении изложенного. Час, решающий судьбу Вашу и родины, настал. Завтра может быть уже поздно».

В 15 часов дня из левого крыла Таврического дворца до думского совещания дошло сообщение о создании Петроградского Совета. Совет старейшин решается создать Временный комитет Государственной думы во главе с Родзянко, который, однако, не взял на себя функции государственной власти. Задача была не из простых: овладеть народным движением, создать буржуазную власть, чтобы подавить это движение и сохранить монархию.

В те самые часы, когда депутаты Петроградского Совета собирались в Таврический дворец на первое заседание, в здании Мариинского дворца делегация Думы во главе с Родзянко вела беседу с великим князем Михаилом Александровичем и председателем Совета министров Голицыным. Делегаты Думы доказывали им, что единственным спасением страны является передача власти Думе, которая сможет образовать авторитетное и действенное правительство. Сообщение о переговорах довели до царя. В двенадцатом часу ночи из Ставки Голицыну поступила телеграмма: царь сообщал, что какие-либо перемены считает недопустимыми.

Упорство царя, а самое главное, стремительное развитие событий поставили Временный комитет Думы перед выбором: либо признать революцию и попытаться возглавить народное движение, либо бесславно погибнуть вместе с царизмом. Надо было решаться.

В эти минуты в Таврический дворец явилась делегация офицеров Петроградского гарнизона с заявлением, что офицеры смогут образумить солдат, если Дума возглавит движение народа, даст ему мирное направление.

И тут же пришло сообщение, что преображенцы — «первый полк империи» — отдают себя в распоряжение Думы. Это был не полк, а только часть четвертой роты и других его подразделений во главе с фельдфебелем Кругловым, но это было кое-что...

Дебаты продолжались... В них приняли участие председатель Петросовета Чхеидзе и его коллега Керенский, которые согласились войти в состав Думского комитета, косвенно признав тем самым право Временного комитета на руководство революцией.

С сомнениями и колебаниями покончено. В ночь на 28 февраля Временный комитет Думы обратился к народам России с воззванием, в котором говорилось, что он берет на себя инициативу «восстановления государственного и общественного порядка».

Всю ночь на 28 февраля в Таврическом дворце при огромном стечении рабочих и солдат работал Исполком Петросовета. К 4 часам утра было принято решение об установлении сборных пунктов для вооруженных рабочих и войск в шести окранных рабочих и одном центральном районах. Постановили организовать на заводах и фабриках рабочую милицию по сто человек на каждую тысячу пролетариев. Создавались вооруженные силы народной революции...

Не спал Таврический, и город, кажется, тоже не спал. На десятках заводов и фабрик рабочие выбирали завкомы, делегатов в Петросовет, готовили вооруженные отряды...

Кому-то могло показаться, что все, наконец-то, образовывается, одна власть заменяется другой, непреодолимой стеной вставая на пути стихии и беспорядка. Но то была лишь видимость.

Воцарялось двоевластие... Засадавший в кабинете бюджетной комиссии Совет рабочих депутатов еще не управлял высшими государственными учреждениями, покинутыми старым чиновничеством, но он владел умами масс и выражал их волю. А в тот момент, когда шло и завершилось первое заседание Петросовета и до полуночи, покуда Временный комитет Думы еще терзался сомнениями, Петросовет был единственным органом власти в России.

Петросовет и Временный комитет делили между собой членами «портфели», готовили воззвания и декреты, продумывали стратегию и тактику своей деятельности...

Алексееву на эту ночь досталась скромная, но смер-

тельно опасная должность: он был назначен связным Исполкома Петросовета с Нарвским районом.

Алексееву выделили автомобиль «фиат» с шофером, двух егерей запасного Егерского полка. Борта грузовика изнутри были обложены мешками, из которых потек, когда по ним ударили первые пули, посыпалась мука и пшенная крупа. Два «максима» были расположены в кузове так, что при надобности можно было стрелять сразу вперед, по ходу движения, и назад.

Осмотрев машину, Алексеев обратился к своей команде с речью.

— Здесь, в Таврическом, — кивнул он на дворец, — штаб народного восстания, наш Совет. Он — всему делу мозг и голова. А там, — он обвел рукой вокруг, — там руки и ноги, все тело революции. Мы — я и вы трое, а также десятки и сотни таких, как мы, вместе с телефоном и телеграфом — нервы революции. Мы все сигналы и указания от головы к другим членам ее тела должны немедленно передавать, чтобы они жили и двигались. А также обратно, к мозгу, чтобы он правильно соображал. Вот у меня пакет с разными инструкциями и указаниями. Какими? Я и сам не знаю: не положено. Случись что — городовые, жандармы или офицеры налетят — не меня, а пакет спасайте. Ясно?

Команда согласно загалдела.

— Тогда по местам и в путь.

Егеря улеглись вдоль бортов. Алексеев сел рядом с шофером.

И начались гонки...

С сообщениями с заводов и фабрик — в Таврический, с поручениями из дворца — на Нарвскую заставу. Туда-сюда, туда-сюда челноком носился автомобиль Алексеева, напарываясь на заставы и патрули, расставленные восставшими и еще бог знает кем. Сколько раз неожиданно поперек дороги вырастали фигуры с фонарями и винтовками в руках.

— Стой! Предъяви документы!

И всякий раз левой рукой Алексеев лез за отворот куртки, во внутренний карман, где лежало удостоверение Исполкома Петросовета, напечатанное на бумаге с подписью Чхеидзе и без всякой печати, а правую руку держал в кармане, наводя незаметно пистолет на проверяющих. Из кузова целились в них егеря. Так — винтовки в упор друг на друга, пальцы на спусковых крючках — подозрительно обшаривали проверяющие фонаря-

ми и взглядами сидящих в автомобиле, а те — проверяющих, и каждый знал, что между его жизнью и смертью лежит мгновение, которое необходимо пуле, чтоб преодолеть длину ствола нагана или винтовки, даже звука выстрела уже не услышишь... Солдаты, в большинстве безграмотные, подолгу вертели в руках удостоверение, которое вручал им Алексеев, потом передавали его рабочим, если они были в составе патруля, те, еще ничего не ведавшие о Петроградском Совете, выпрашивали Алексеева «что да кто», «где да когда», тот объяснял, ему не сразу верили, он первоначально тихо закипал злостью от пустой траты времени, но в третий-четвертый раз понял, что люди не виноваты в своем незнании, что объяснять им ситуацией — значит делать часть порученного ему Петросоветом дела. Ту же революционную работу стал выполнять с настроением, и патрули перестали пугать.

В тот раз, когда у Аничкова моста на пути автомобиля выросли три фигуры, Алексеев привычно бросил шоферу «Стой!», открыл дверцу, чтоб поприветствовать идущих к машине людей. Вдруг в свете фар мелькнуло знакомое лицо под нахлобученной на глаза кепкой. Что-то недоброе было связано с этим лицом. «Кто это? Кто? Кто? Кто?» — билась мысль, но ответ не приходил. Тут один из троих поскользнулся, вскинул руки, сохраняя равновесие, и под рабочей тужуркой блеснуло золото погон. «Ванаг! А тот, в кепке — ротмистр Иванов!» — выскочило из памяти.

— Гони! — крикнул Алексеев шоферу.

«Фиат» зарыкал, дернулся так резко, что Алексеев откинулся назад и больно ударился затылком, но это спасло: там, где только что была его голова, пискнула пуля, ударив в деревянную крышу кабины.

Гремели вслед револьверные выстрелы, в кузове раздался вскрик, потом заработал егерский пулемет. Алексеев несколько раз пальнул в темноту наугад и, когда понял, что место стычки уже далеко, остановил машину — сверху по крыше стучали.

— Что случилось? — заглянул Алексеев в кузов, встав на подножку.

— Власика, братишку моего убили, — спокойно, еще, видимо, не отдавая себе отчета в случившемся, ответил второй егерь.

Брат его лежал поперек кузова лицом в темное ночное небо. Алексеев вспомнил, что еще тогда, у Таврического, когда его знакомили с егерями, он обратил внима-

ние на то, что они похожи друг на друга как две капли воды, но было не до разговоров.

— Двойняши? — спросил Алексеев.

Егерь качнул головой и заплакал.

— Где мы? — спросил Алексеев шофера.

Тот спал, положив голову на руль.

Алексеев огляделся...

Обезлюдившая улица лежала тихая, мрачная... Ни одного огонька в окнах. Спят люди. Неужели спят, в такую ночь — и спят? Нет, бояться зажечь огонь. Впрочем, почему не спать, сколько времени? Вытащил «луковиду»: четвертый час ночи.

Качался и поскрипывал под ветром уличный фонарь, чахоточно освещая округу. Алексеев достал пистолет и выстрелил в него. Фонарь со звоном разлетелся, стало совсем темно.

— Правильно, — буркнул шофер, очнувшись от выстрела. — А то стоим навроде мишени...

Неужели и суток не прошло с того часа, когда по этой широкой улице его несла в тисках солдатская масса, а он вещал про светлое будущее, про Кампанеллу и Маркса? Неужели всего несколько часов прошло? Фантастично, невероятно...

«Черт возьми, а ты удачливый парень, Вася, — подумал Алексеев. — Сколько раз за эти дни тебя могли уколоть, а поди ж ты — жив и здоров. А ведь страшно это — умереть... Вет лежит в кузове молодой парень, ему уже не больно и не страшно. Но плачет брат. Заплачут мать и отец, жена и дети, если таковые имеются, друзья-товарищи... Это ведь тоже страшно — боль родных и близких, чужая боль из-за тебя, даже если тебе уже все равно и безразлично...»

— Давай к Таврическому, — сказал Алексеев шоферу. — Я в кузов полезу. Слышишь, все плачет?..

В Петрограде занималось раннее утро нового дня, но до рассвета еще надо было дожить...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Зима еще напоминала о себе кучами затерявшегося во дворах грязного снега, порывами пронзительного холодного ветра и утренними морозами, но уже прилетели грачи и поселились черными тучами, оглашая город голодным ором; уже набрякли влагой небеса, стоял снег с

Невы, лед посинел и трескался с пушечным грохотом, и было ясно, что скоро весна — вот-вот грянет солнце, загудит ледоход...

Петроградские улицы, недавно, казалось, готовые лопнуть от переполнявших их людских запруд, поутихли, по вечерам мерцали редкими огнями в окнах домов, в них поселилось странное уныние.

Город замер, как тяжелобольной, еще не знающий наверняка диагноза своей болезни, но настороженно прислушивающийся к каждому движению внутри своего организма, которое может дать страшный сигнал...

Обыватель в тревоге прятался за шторы, за ставни, за дверные засовы, испуганно ждал темноты и с надеждой рассвета: может, перестанут, наконец, маршировать по улицам эти осмелевшие солдаты, эта отчаянная матросня, может, хоть с этого дня прекратятся демонстрации и неведомые песни, зачем-то зовущие отречься от старого мира, куда-то в бой... И — боже мой! — поскорей бы перестали стрелять!

Но революция уже пришла в каждый дом, к каждому жителю Петрограда во всей своей неотвратимости, в невероятном хаосе событий.

Март пролетел для Алексеева в сплошном угаре митингов, заседаний и речей. К обязанностям депутата Петросовета, члена райкома партии, завкома Путиловского завода нежданно-негаданно прибавилась должность председателя завкома завода «Анчар», где Алексей последнее время работал токарем. Предприятие небольшое, но продукция важная — бронебойные пули. Здесь пока верховодили меньшевики и эсеры, большевистская организация была небольшой. Должность же председателя завкома была ключевой на заводе: фабрично-заводские комитеты создавались по решению Петросовета как его опорные пункты на предприятиях. Это они вводили на заводах и фабриках революционный порядок, устанавливали народный контроль над производством; они же проводили перевыборы депутатов Совета, оказывали им материальную и политическую поддержку. Упустить такой пост из своих рук было бы ошибкой. Райком партии решил выставить кандидатуру Алексева: член райкома — раз, депутат Петросовета — два, у рабочих авторитетен — три. Последнее должны были показать выборы...

Показали: авторитетен, в завком избрали, хотя схватка была горячей, меньшевики шли даже на провокации и подтасовку фактов. Выискали, например, что в пас-

порте Алексева не было заводского штампа, а потому, дескать, юридически он работником завода не является и быть избранным в состав завкома не может. Это была правда — штампа в паспорте не было. Так сделали в конце 1916 года его друзья-большевики при устройстве на завод, чтобы сбить со следа охранку... Но рабочие эту формальность осмеяли: вот станок, за которым горбатился несколько месяцев с виду неприметный паренек, а вот и он сам — токарь отличный, друг надежный, товарищ верный, агитатора за революцию на заводе лучше нет.

Так стал Алексей председателем завкома. За новое дело ухватился горячо, да все оказалось совсем не просто.

Если верить инструкциям Петросовета, то предзавкома на заводе самый главный человек. А на деле — сам черт не разберет. Директор как был, так и остался. Инженеры и мастера, хоть самых оголтелых и повыгоняли, тоже на месте. Оно вроде и правильно: предприятие должно работать, давать продукцию. Начальство требует одно, а директор гнет свое: «По какому праву? Где закон? Где постановление правительства, хотя бы Временного?» Старые законы не действуют, новых законов и постановлений нет. Но если с ними еще можно потерпеть, то как быть, если в заводской кассе нет денег, чтобы платить зарплату рабочим?..

Рабочие к директору, а тот руками разводит, ухмыляется: «Революция...» Рабочие к Алексеву: «Революция революцией, а семью кормить надо или нет?» Алексей к директору, тот таращит глаза: «Ты кто таков? Знать не знаю и знать не хочу!» Алексей за наган, директор за телефонную трубку: «Милиция!..» Приезжает милиция: «По какому праву угрожаете?» Алексей им один мандат — хлоп, второй — хлоп, третий — хлоп... «Довольно?» Сдаются: «Имеете право требовать для народа». И что же? Директор, сук-кин сын, тот самый, что пять минут назад отказывался разговаривать, вынимает из сейфа чековую книжку и выписывает чек на сумму, которую и назвать страшно. Саботаж... А ехать в банк за деньгами отказывается наотрез, хоть его и в самом деле стреляй. «В такое время по Питеру с тысячами? Да лучше вы меня тут убейте». Тогда Алексей берет красногвардейцев и едет в банк, а потом от центра города до Лифляндской улицы, где разместился «Анчар», не спуская глаз с мешков с деньгами: не дай бог что случится, сотни рабочих без зарплаты останутся.

Сколько их было, подобных «картинок» в мартовские дни у Алексеева, и что ни день, то новые.

Уйму времени занимал политический клуб Нарвского района, открытый большевиками в середине марта в бывшей чайной, в доме № 12 на Нарвском проспекте.

Алексеев записался в клуб из благих намерений — поднабраться знаний, получить уяснить сложившуюся обстановку. Ведь здесь выступали знаменитые большевистские пропагандисты: Володарский, Урицкий, Орджоникидзе, Косиор, Крупская... Но из этой затеи ничего не вышло. Из слушателя Алексеев быстро превратился в беседчика и агитатора среди молодых пролетариев Нарвской заставы. Может, потому, что он был их ровней по возрасту, таким же, как они, рабочим в латаной-перелатаной одежде, с тем же голодным блеском в глазах, эти желающие все знать юнцы засыпали Алексеева вопросами, с которыми не решались обратиться к другим. Алексеев, ко всему привычный, с горечью смотрел на своих наивных, по преимуществу безграмотных сверстников, дивился каше из большевистских, меньшевистских, эсеровских, кадетских и, черт еще знает, чьих идей и лозунгов, которой были забыты их головы, и в то же время радовался, глядя на этих мальчишек и девчонок, их распахнутым навстречу свету глазам, неистовой тяге к знаниям. Можно было подумать, что они хотят услышать и узнать враз обо всем и за все времена, в которые жили их отцы и матери, деды и прадеды. Беседы и споры нередко затягивались до глубокой ночи, до той поры, пока кто-нибудь не вскрикивал удивленно: «Ой, братва, до гудка-то осталось с гулькин нос!» Идти по домам не имело смысла, и тогда каждый притулялся, где мог, до рассвета...

Беседовать с юнцами было забавно и легко: они спрашивали о том, что когда-то волновало самого Алексеева, и теперь он знал, что им ответить. Но кто ответит на твои вопросы? А их возникало все больше, они тревожили.

Неясным и странным казался Алексееву вопрос об отношении Петросовета и Временного правительства. Ведь если революция народная (а это так), если Петросовет — орган народа, то почему этот орган вместо того, чтобы взять власть в свои руки, поддерживает Временное правительство, сплошь состоящее из буржуев? Что это за штука — «контактная комиссия» для связей с правительством, которое эту комиссию хочет — выслушивает, а хочет — нет? Вот как недавно, 24 марта, когда в Исполкоме Совета обсуждался вопрос о войне и мире и вся

комиссия в полном составе — Чхеидзе, Церетели, Скобелев, Стеклов, Филипповский и Суханов — от имени Исполкома обратилась в правительство с требованием отказаться от империалистической программы во внешней политике. Обратились — и получили щелчок по носу. Долго ли может продолжаться двоевластие и какой тут выход?

Алексеев уже хорошо понял, что такое Петросовет, что именно здесь сегодня решаются многие вопросы, от которых зависит судьба революции, и уже не рвался так бездумно, как прежде, на улицу, «в массы», внимательно слушал ораторов, особенно большевистских, вникал в суть обсуждавшихся проблем и даже трижды — не выдержал! — брал слово сам. И уже не удивлялся, если из-за одного или нескольких слов в какой-нибудь резолюции вдруг разгорался спор, который доходил порой до истерик очень взрослых и очень образованных людей. Он понял высокую цену слова в политическом документе. Он многое понял за эти тридцать с небольшим дней своей жизни, но многое, и порой ему казалось — главное, было неясным. Это чувство укреплялось, когда он читал газеты.

Вот на днях в «Правде» выступил Каменев, член Исполкома Петросовета от большевиков, фигура немалая. И о чем же он пишет? Он призывает к организационному объединению с меньшевиками!..

Да если б только Каменев... Как-то был в ПК, прочитал принятое им решение, а в нем черным по белому: «ПК считает возможным и желательным объединение с организациями меньшевиков, которые признают решения Циммервальда и Кинтала и необходимость, как и неизбежность, революционной борьбы пролетариата в настоящий момент не только за политическую, но и за экономическую часть программы-минимум РСДРП». Он задолбил эту часть решения наизусть, пересказал товарищам. Большинство возмущены, а некоторые говорят: «Правильно, давно пора».

Но и это не все. ПК фактически потворствует Временному правительству!.. В его решении от 3 марта — он своими глазами видел — говорится, что не следует противодействовать «власти Временного правительства постольку, поскольку действия его соответствуют интересам пролетариата и широких демократических масс народа...» Вот так позиция! Известно и то, что в ПК есть группа во главе с Багдатьяевым, которая считает, что Времен-

ное правительство нужно немедленно свергнуть и в то же время утверждает, что буржуазно-демократическая революция не может перерасти в социалистическую. Как разобраться во всем этом? А ведь с сомнением в душе великие дела не делаются...

Не один Василий мучительно искал ответы на сотни теснящихся в голове вопросов.

Это уже потом, ретроспективно, с расстояния во много лет историки сделают вывод о том, что деятели большевистской партии в тот момент не смогли четко сориентироваться в новой, необычайно сложной обстановке, не сумели сразу воспринять все выводы и оценки Ленина в его «Письмах из далека», определить правильные пути выхода из войны, так как не ставили в повестку дня вопрос о переходе от первого ко второму, социалистическому этапу революции, не связывали вопрос о войне с вопросом о власти. Это потом будет сказано, что большевики — члены Исполкома Петросовета во время обсуждения 21—22 марта вопроса о войне и мире не смогли противопоставить мелкобуржуазной оборонческой позиции четкую, пролетарски революционную линию. Многие прояснятся потом.

А в ту пору шла борьба, кипели страсти, заслонявшие порой и то, что могло быть понято. Где тот ум, что охватит единым разом эту неохватность событий и явлений, взглядов и позиций?

Большевики ждали Ленина.

I

3 апреля в пустующем помещении старой путиловской церкви шло партийное собрание большевиков Нарвской заставы. Председательствовал Э. П. Петерсон, избранный недавно ответственным партийным организатором (по-нынешнему — секретарем райкома) Нарвского района. Заслушали отчеты Петроградского и районного комитетов партии, перешли к обсуждению вопроса о текущих задачах партии.

Алексеев выступил одним из первых, сказал о том, что его беспокоило, в частности, о позиции ПК по объединению с меньшевиками. Пожалуй, слишком резко сказал, чересчур горячо и оттого, кажется, не столь убедительно, как хотел. Вот и Станислав Косиор глянул как-то не так, как обычно, по-доброму. А он как раз представлял ПК. Впрочем, поменьше мнительности: как выступил,

так и выступил. Здесь не Петросовет, где и освищут, и с трибуны сдернуть могут; здесь свои — поймут, а что не так — простят.

И все же настроение упало, Алексеев скис, вытирал рукавом катившийся с лица пот.

Позади президиума открылась дверь, появился Иван Генслер. Наклонился к Косиору и Петерсону, стал что-то нашептывать им. Было видно, что Генслер взволнован. Многие насторожились.

Прервав оратора, слово взял Косиор.

— Товарищи! Петроградский комитет получил радостное известие. Сегодня в Петроград приезжает вождь нашей партии товарищ Ленин!

Рукоплескания заглушили слова Косиора, но он прокричал поверх аплодисментов, что Петроградский комитет предложил выделить от завода делегацию в 40—50 старых большевиков и членов райкома.

Рукоплескания прекратились.

— Почему пятьдесят? — крикнул кто-то. — А мы? Мы все пойдем! И другие пойдут, а как же?!..

И снова раздался аплодисменты.

Алексеев колотил в ладоши и кричал стоявшему рядом Ивану Гилью:

— Ты понял, нет, ты понял, что случилось?

Гиль хохотал радостно:

— Да понял, понял!..

— Нет, ты ничего не понял!.. — кричал Алексеев.

И тоже хохотал во все горло.

Прения прекратили. Избрали райком, в состав которого снова вошел Алексеев. Решили организовать колонну путиловских рабочих для встречи Ленина. Командиру боевого отряда путиловцев М. Войцеховскому и И. Генслеру поручили выставить в голове колонны вооруженных рабочих: пусть Ленин видит, что его призыв к вооружению пролетариата уже выполняется.

Но как известить рабочих? Завод не работает — пасха. Трамваи не ходят. А до приезда Ильича осталось всего несколько часов. Тогда написали и быстро размножили на ротаторе извещение о приезде Ленина с приглашением всех рабочих встречать вождя на Финляндском вокзале. Большевики должны были разнести эти извещения по квартирам активистов заводов и фабрик Нарвской заставы, расклеить на зданиях.

И еще хорошую штуку придумали — сделать на транспарантах и кумачовых полотнищах надписи: «Сегодня

к нам приезжает Ленин!», «Встречайте Ленина!», «Привет товарищу Ленину!» — и пусть молодые путиловцы ходят с ними по улицам. Эту работу поручили Алексееву, и он тут же помчался в политический клуб.

На углу Нарвской, у кинематографа, толпился народ. Алексей крикнул:

— Товарищи! Прошу внимания! Сегодня в одиннадцать часов на Финляндский вокзал приезжает Владимир Ильич Ленин! Призываю всех пойти встречать его!

— А кто такой этот твой Ленин, чтоб я его встречал? — раздалось вдруг из толпы.

Алексеев опешил.

— То есть как?..

Но уже звучали другие голоса:

— Разъясним темноте...

— Встретим!

— Где собираемся?

— Айда по домам, погодит синематограф...

Толпа быстро таяла.

Недалеко от Нарвской навстречу попались две девушки с плакатом: «Товарищи! Едет Ленин! Встречайте!»

Алексеев подлетел к ним:

— Где плакат взяли?

— В клубе дали. Иди и тебе нарисуют, товарищ Алексей!

И прыснули в варежки...

Вот тебе и на — как же это? Когда успели?

Вечером, когда к девяти часам огромная колонна путиловцев с горящими факелами подошла к Финляндскому вокзалу, вся привокзальная площадь и прилегающие к ней улицы уже были заполнены народом. Двухтысячному отряду удалось встать на отведенное для него место в левой части площади.

Гремели военные оркестры. Неслись мелодии «Марсельезы» и «Варшавянки». Воздух был упруг от приветственных возгласов. В пламени тысяч факелов колюще сверкали штыки солдат и красногвардейцев, пламенели красные знамена, полотнища, транспаранты, лозунги, ветер колыхал их и казалось, что рокошущая, ревущая, как водопад, площадь залита огнем.

Вдруг раздалась резкая звуковая сирена. Народ настоятельно замер. Показались два броневика — самое грозное оружие тех лет. Пронизывая людскую гущу длинными лучами фар, они прокладывали себе путь, направ-

ляясь в сторону бывшего царского павильона. Развернулись, заняли место по обе стороны входа в павильон, через который пойдет Ленин. Площадь восторженно приветствовала появление боевых машин.

Подошли грузовики с прожекторами, и вскоре площадь засверкала их ослепительным светом.

Алексеев расстраивался от того, что малый рост не позволил ему увидеть всю величественную картину торжественной встречи вождя. Куда ни глянь — спины, затылки, море кепок и картузов, а вдалеке просто смесь белого и черного.

И все же они приспособились с товарищами, что оказались рядом: двое по очереди усаживали третьего себе на плечи и так, возвышаясь над толпой, любовались удивительных зрелищем.

Так прошел час, второй, начался третий... Морозило.

И вот от вокзала понеслось: «Приехал! Приехал!» Огромная толпа качнулась в сторону железнодорожных путей, понесла вперед и, утрамбовавшись до предела, так сдавила Алексеева, что стало трудно дышать.

Все вдруг утихло, переспрашивали у впереди стоявших:

— Ну, что там?

«Что — там, что там, что там?» — летело вперед, к вокзалу, и возвращалось назад:

— Почетный караул выстроился... моряки и красногвардейцы... Офицер рапортует... Оркестр играет «Марсельезу»...

— Это слышим. А Ленин, что Ленин?

— Взял под козырек, принимает рапорт... Здороваётся с караулом... Говорит...

— Что говорит, что? Ну?!

— А ты не «нукай», кто ж успеет все пересказать?

Донеслось: «Да здравствует социалистическая революция!»

И вот он на броневике, в свете прожекторов, над головами стоящих.

Алексеев впился взглядом: невысок, коренаст, темное демисезонное пальто, темный костюм, белый воротничок, галстук...

Ленин начал говорить:

— Товарищи!..

Ах, как хорошо он сказал это слово «товарищи» — радостно, с любовью, честно. Какие простые и какие вер-

ные мысли!.. И этот резкий выброс правой руки вперед, словно он раскидывает ею свои искрометные мысли.

Алексеев смотрел и слушал зачарованно, и когда раздался уже знакомый призыв «Да здравствует социалистическая революция!», закричал восторженно:

— Да здравствует Ленин!

Тысячеголосый возглас этот, крики «ура» неслись со всех сторон, перекатывались из конца в конец площади. Народ ликова.

Броневи.

И там, у особняка Кшесинской, уже глубокой ночью он снова и снова слушал Ленина, запоминал его слова и образ, и чувство просветленности, какое бывало у него только в Новый год, не покидало.

Возвращались домой на рассвете, усталые, оглушенные и счастливые.

— Что ты видел там, у Финляндского, Василь? — спросил Иван Тютиков.

— Я видел море голов...

— А Ленина?

— И Ленина. Но это море мне сказала больше, чем вся моя жизнь до сего дня. Вот так надо жить, Ваня, вот так надо думать, чтобы люди океаном тебя окружали... Понимаешь, он, Ленин — один, как капля, но океан тянется к нему, потому что без этой «капли» нет океана...

— Мудрено, Василек, что-то... А что ты слышал?

— То же, что и ты. А еще я слышал гул, как ледоход... Как весной на Неве — грохот, как из пушек палят, и ожидание весны. Грозно и торжественно... Приехал Ленин — и словно солнце из-за туч. Речь правдой дышит, как и сам он. Хочешь, стихи прочитаю?

— Уже написал? Вот даешь!..

— Еще не написал, сейчас сочиню...

Алексеев остановился, закрыл глаза и сказал, обращаясь к Тютикову, экспромтом, залпом то, что завтра отдаст в газету и что вскоре будет напечатано.

Утри слезу, мой лучший друг,
И верь, мучительный недуг
К нам не вернется никогда —
Мы — дети вольного труда...
Рабов последний тяжкий стон

В свободной песне потонул...
Ты слышишь гул? Весенний гул...
Он нас с тобой к борьбе зовет,
Он нас в храм света поведет,
Он стонит ночи злую тень...
Ликуй, мой друг, восходит день!

Помолчали.

— Знаешь, Иван, что случилось сегодня со мной? — спросил задумчиво Алексеев. — Я сегодня стержень своей души закалил. А знаешь, что такое стальной стержень для человека? Это все. Нет стержня твердого, негибкого — и человека нет. Так... размагниченный интеллигент. Я сегодня как бы еще раз на свет родился. И засмеялся, счастливый.

II

Крупное мясистое лицо Косиора выглядело усталым, он смотрел на Алексеева исподлобья своим пронзительным взглядом, тихо улыбался и гладил голый череп. «Ну и лбище! — думал про себя Алексеев. — В такой огромной башке вся Государственная дума уместилась бы... Чего позвал? Чего улыбается?»

— Ты чего разулыбался? — спросил Алексеев. — Будешь драить за речь на партсобрании? Так я и сейчас скажу, что Каменев и Багдатов...

— Не петушись, — прервал его Косиор. — Все ты правильно сказал. Не об этом разговор... Где же Петерсон? — спросил самого себя, глянул на часы.

Но Петерсон уже входил — франтоватый, черноголовый, резкий. Присел на краешек стула, опершись рукой о колено. Бросил взгляд на Алексеева, на Косиора. Начал официально:

— Не говорили еще? Тогда к делу. А дело важное. Хотим поручить тебе как члену райкома партии, товарищ Алексеев, создание молодежной организации в Нарвском районе. Что скажешь?

Алексеев пожал плечами: он не знал, что сказать.

— Ты на Финляндском товарища Ленина слышал? О его выступлении в Таврическом на собрании большевиков — делегатов Всероссийского совещания Советов тебе рассказывали? Итак, курс на социалистическую революцию. Куда идти, с кем идти и в кого целить — ясно. А какими силами делать социалистическую революцию? Ответь.

Алексеев обиделся:

— Ты что — политграмоту мою проверяешь?

— А все-таки? — в голосе Петерсона была настойчивость.

— Да пошел ты!..

— Ну, ладно, ладно, — примиряюще встрял Косиор. — Горяч, как кипяток, ты, Алексеев. Организатор района или не организатор товарищ Петерсон? Вот он и хочет проверить, как глубоко проник ты в речь товарища Ленина. — В голосе Косиора была скрыта ирония.

— Суть дела вот в чем... Месяц назад, 6 марта, ПК рассмотрел вопрос об организации молодежи. Но руки не доходили, не до того было. Теперь пора, нельзя терять ни дня. Теперь победит тот, кто завоеует массы. Это несомненно. Что сказал товарищ Ленин? Революцию двинет союз рабочих и крестьян. Но что это такое — рабочие и крестьяне? Они же солдаты и матросы, они же, брат, женщины и молодежь. Мы должны всех привести в движение, всех завоевать. А для этого надо сорганизоваться. Большевики и эсеры, кстати, уже всю стараются. ПК ставит задачу объединения пролетарского молодняка. Пока — по заводам, фабрикам и районам. Дальше — во всегородском размахе. Что об этом скажешь?

Алексеев загорелся.

— Очень верная мысль. У буржуев вон бойскауты и всяческие другие союзы. А у нашего молодняка никаких организаций. А зря. Это же огонь, а не люди. Я вот с ними в политклубе чуть не каждый день возёхаюсь — не нарадуюсь. Порох! Ты только им цель дай, скажи, что взорвать — разнесут в клочья! Между прочим, мы с Тютиковым, Скоринко и Кирюшиным уже не раз говорили о союзе молодежи, собирались зайти как-нибудь, да вот вы опередили.

— Ну, вот и отлично. Договорились, — перехватил разговор Петерсон. Его длинные усы топорщились.

— О чем договорились? — опять взорвался Алексеев.

— О том, что ты возглавишь эту работу, — спокойно, как о решенном сказал Петерсон.

Это было ясно уже и Алексею, но его раздражал холодный и слишком уверенный тон Петерсона.

— А Петросовет? А завком? А политклуб? А... Я ведь еще токарить должен, на хлеб зарабатывать. — Алексеев нашел бы еще о чем сказать, но, заметив, как помрач-

нел Косиор, перевел разговор в другую плоскость. — Конкретно — о чем речь?

— Вот это уже дело. Ты ведь знаешь, есть у нас в районе такая организация «Культурно-просветительный клуб рабочей молодежи»? — Петерсон пощипывал бородку «а-ля Людовик».

— Кто не знает, когда там анархист Зернов заправляет? Один шум и треск... В доме 28 на Старо-Петергофском проспекте? Об этом клубе речь?

— Именно. Молодежи в нем много, в основном хорошие парни и девчата. А этот анархист дурит им головы. Так вот, надо войти в эту организацию группе наших партийцев и переродить ее, тем более что принимаются в клуб люди без различия убеждений. На ее базе и надо строить районный союз.

— Согласен. Вместо Зернова в руководство клубом рекомендую Ивана Тютикова... А как назовем организацию?

— Это вы уж сами обмозгуйте, — бросил Косиор.

— Э-э, нет, — отрезал Алексеев. — От названия все зависит. Да и мозговать некогда. Я работу сегодня же начну. Спросят: «Что райком думает?» Я что отвечу?

— Зависит, может, и не все, но он прав, — заметил Петерсон, обращаясь к Косиору.

— А ты что предлагаешь? — спросил Косиор Алексеева.

— «Социалистический союз рабочей молодежи Нарвско-Петергофского района» подходит?

Петерсон с Косиором задумались.

— А что, вроде все верно, — проговорил, раздумывая, Петерсон. — Союз чей? Молодежи. Какой молодежи? Рабочей. Что за союз рабочей молодежи, цель какая у него? Социалистическая, социализм — вот цель. А создан в нашем районе. А что — подходит названьице-то. Как? — спросил он Косиора.

Косиор мотнул головой, соглашаясь. Улыбнулся.

— Тебе сколько лет, Алексеев?

— Двадцать. А что?

— Да так... В общем-то немолод.

— А ты-то сам — молод? — подковырнул Алексеев.

— Да я и подавно старик, мне уж двадцать восемь...

— Ну, что — разошлись? — нетерпеливо хлопнул по коленям Петерсон.

— Да ты что? — охладил его Алексеев. — Есть еще вопросы. Например: организация наша будет самостоятельной или как бы крыло в партии, а?

— Вопрос серьезный, — сказал Косиор. — Это надо обмозговать. У товарищей в ПК по этому поводу разные точки зрения. Большинство, пожалуй, за самостоятельность при идейном влиянии партии. Но есть и такие, кто считает, что это приведет к дроблению, распылению революционных сил.

— Ну и...? — поторопил Алексеев неспешную речь Косиора.

— Ну, и считают, что они должны быть, как ты выразился, крылом партии.

— Но ведь тогда они не будут массовыми! — воскликнул Алексеев. — Какое же это «завоевание масс»?

— Пусть, говорят, будут секции в Советах, фабзавкомах, милиции, женском движении.

— Разве одно другому мешает? — спросил Алексеев.

Петерсон удивленно рассмеялся.

— Да у тебя, товарищ Алексеев, на все твои вопросы заготовлены и ответы. Что ж ты нас мучаешь?

— Верно, готовы ответы. Я же сказал, мы собирались в райком партии и уже до хрипоты наспорились по этому поводу. К тому же я руководил подпольным кружком молодежи в пятнадцатом году, много думал и кое-что читал об организациях молодежи в зарубежных странах. У товарища Ленина есть об этом.

— Ну, и что же говорит Владимир Ильич? — с любопытством спросил Петерсон.

— Товарищ Ленин высказывается за то, чтобы юношеские организации были самостоятельными, и еще говорит, что без этого молодые люди не смогут выковать из себя подлинных социалистов.

— Думаю, можно считать, что и этот вопрос закрыт, — сказал Косиор и одобрительно подмигнул Алексееву.

— Теперь вопрос у меня, — сказал Петерсон.

Алексеев хмыкнул удовлетворенно.

— Не подкалывай, — добродушно парировал Петерсон. — Я молодежными кружками не руководил и статей о них, каюсь, не читал. А вопрос у меня возник вот прямо сейчас.

Он встал, прошелся по узкой комнатке.

— А не начнет молодежь играть в «свою» революцию? Не выйдет из-под влияния партии? И не придется ли нам потом бороться не только с меньшевиками, эсерами, анархистами и прочими очень левыми и крайне правыми, но еще и с юношеской организацией, нами же порожден-

ной? Не вообразят ли себя юноши такой молодежной партией? А? Ничего вопросик?

— Кому вопрос-то? — спросил Алексеев.

— Ответь уж ты, коль думал по этому поводу, — сказал Косиор.

— И об этом я читал у товарища Ленина. Тут все зависит от того, как партия будет строить отношения с союзом. Если так, как в Западной Европе, например, как немецкие социал-демократы — опекать молодежь, не пускать ее в политику и тэ пэ, то все может быть... Тут, говорит товарищ Ленин, нужен такт и не пужна мелочная опека. Молодежи не надо лстить, с ней не надо заигрывать, ее можно и нужно критиковать, оберегать от опшибок, но делать это надо умеючи... А что до нашего районного союза, то ведь можно избрать в него молодых большевиков, которых у нас немало, и пусть обеспечат в нем большевистскую линию...

— Сколько тебе лет, Алексеев? — спросил Косиор.

— А же сказал — двадцать, — выпалил Алексеев. — А что?

— А ничего, — ответил Косиор.

Мгновение все помолчали, переглянулись, потом дружно расхохотались.

III

Это сказать легко: «Создай организацию молодежи», а сделать — задача трудная. Не склещешь ведь молодняк с улицы и не объявишь: «Вы — социалистический союз рабочей молодежи». А если и соберешь, и объявишь — кто признает такую организацию? Тем более, если хочешь, чтобы союз был массовым, то есть представлял массу и по численности был немалым. Для этого надо, чтобы цели этого союза отвечали интересам многих, массы то бишь. И другое тут надо учесть — психологию молодежи: «Никто не вступает в эту организацию, а я с чего вдруг?» и наоборот: «Все вступает, а я что — хуже?» Значит, надо чтоб было ядро, чтоб был пример. Кто-то должен быть первым. Кто? Конечно, путиловцы. Первую организацию надо создавать здесь, она должна стать опорой для районного союза.

Вернувшись из райкома партии, Алексеев тут же собрал Скоринко, Тютикова, Урюпина, Андреева, Кирюшина и других членов бывшего своего подпольного молодежного кружка, всего около тридцати человек, рассказал им

о партийном задании. Сообщение встретили с восторгом — аплодировали, кричали «ура».

И тут же отправились в клуб к Зернову. Тот встретил их полуживым в старом задрипанном кресле. Черный до пят плащ, распахиваясь на груди, рождает основания думать, что под ним больше ничего не было. Черная, с огромными полями шляпа небрежно напялена на черные волосы, скатавшиеся как войлок. Через плечо висел кольт. Зернов остервенело чесался, запуская руку то за пазуху, то под шляпу.

Вступление большевиков в клуб энтузиазма у Зернова не вызвало.

— Знаю вас! Начнете свои социал-демократические идеи толкать! Больно они нужны!..

Но делать было нечего: в уставе клуба по поводу большевиков ничего не говорилось. Тут же согласились, что от большевистской фракции в руководство клубом войдут Тютиков и Алексеев.

Из клуба, распределившись по цехам и мастерским Путиловского завода, пошли вести агитацию в будущий социалистический союз молодежи. Надо было знать, как молодежь встретит эту идею.

На следующий день собрались снова, но уже не только путиловцы, а и представители заводов «Треугольник», «Анчар», Тильманса, других предприятий Нарвского района. Подвели итоги работы за прошедшее время. Прошли всего сутки, а в члены союза уже записалось немало молодежи в пушечной, башенной, турбинной и лафетно-снарядной мастерских, на судостроительной верфи. Обсудили задачи по организации союза молодежи в районе, выбрали оргбюро по подготовке заводского митинга на Путиловском во главе с Алексеевым, который назначили на 16 апреля. Снова разошлись — по заводам, цехам и мастерским.

И тут же столкнулись с меньшевиками и эсерами, которые еще вчера, в первые же часы начавшейся работы, мгновенно ухватили суть происходящего. Сначала пытались мешать словами — затеяли дискуссию на тему, а нужно ли молодежи объединяться.

— Ты посмотри, что они творят, гады! — чуть не плача кричали Зиновьев и Скоринко, показывая картинку, нарисованную карандашом.

Это была карикатура. Перед группой детей, сидящих на почных горшках, держит речь Скоринко, а Зиновьев стоит сзади и звонит в колокольчик. На другой картинке

шла демонстрация малышей с плакатами и лозунгами: «Долой пикеты и розги!», «Мы требуем вычеркнуть из Библии факт избития младенцев как развращающий умы отцов и матерей!».

— Поразвесили в башенной мастерской, хохот стоит, пройти не дают, — жаловались друзья.

— Не тушуйтесь, терпите, — советовал Алексеев.

Потом меньшевики стали действовать организационно. Когда Скоринко и Зиновьев попытались освободиться от работы для общественного дела, то председатель цехкома, меньшевик, откровенно высмеяв их, от станков уходит запертил. Пришлось решаться на прогул...

Тут меньшевики и эсеры быстро перестроились, стали подлаживаться к общей работе, пытались, где можно, перехватить инициативу. И это было опаснее всего.

Алексеев разрывался на части: утром — на «Анчар», к обеду — на Путиловский, после обеда — в Петросовет или в райком, вечером — в политклуб.

9 апреля в «Правде» появилось обращение Выборгского Совета рабочих и солдатских депутатов к рабочей молодежи района с призывом избрать делегатов на общерайонное собрание заводских учеников в связи с подготовкой к Первомайской демонстрации. Алексеев обратил на него внимание, подумал, что эту работу надо начинать и в Нарвском районе, но сделать это лучше на собрании молодежи Путиловского завода.

Через два дня Алексеев снова натолкнулся на такое же объявление в «Правде», только теперь оно подписано от имени Оргкомиссии Выборгского райкома партии большевиков. «Мальчики завода «Русский Рено», — говорилось в объявлении, — обратились к Выборгскому районному комитету с просьбой предоставить мальчикам 18 апреля право особо демонстрировать при группе одних малолетних всего Выборгского района впереди всех рабочих со своим оркестром и со своими флагами... Районный комитет постановил удовлетворить их просьбу...» Организационная комиссия обращалась ко всем районам с предложением организовать первомайские колонны молодежи.

«Началось, — подумал с радостью Алексеев. — Это только первая ласточка. Теперь держитесь, «меки»!» В Петроградском комитете большевиков ему сказали, что работу по созданию юношеских организаций большевики начали во всех районах столицы.

13 апреля вечером в политклуб пришли Скоринко и Зиновьев, принесли приятную новость: только что в Вы-

боргском районе в столовой завода «Русский Рено» с успехом закончилось общегородское собрание молодежи, о котором Алексеев узнал сегодня утром из «Правды». В это же время «Анчар» проводил общее собрание работников завода по снижению расценок; предстоял бой с дирекцией, и Алексеев не мог, просто права не имел уйти с этого собрания. А жаль.

Судя по рассказу товарищей, свершилось не рядовое, по-своему историческое событие: триста делегатов от многих районов Петрограда единодушно высказались за создание в городе союза рабочей молодежи, решили образовывать Петроградский Всерайонный Совет из представителей районных организаций молодежи по пять делегатов от каждой. Правда, Совет не собрался и руководство его не определили, потому что только от выборщиков и было положенных пять представителей, а от остальных районов по одному-два человека. Но это уже мелочь! Соберутся на несколько дней позже, не беда. Главное сделано: в городе есть единый руководящий орган молодежного союза, который закрутит всю работу в районах, на заводах и фабриках. А потом можно собирать и городскую конференцию.

Алексеев был доволен ходом событий... Собрание молодежи от имени ЦК большевиков приветствовала Крупская — боевой друг и жена товарища Ленина. Значит, Ленин знал о собрании, значит, Крупская советовалась с ним о том, что сказать молодежи, не могла не советоваться, значит, он будет знать о результатах собрания. Это же здорово!

Дотошно выпросив у друзей о том, что говорила Крупская, Алексеев остался в твердом убеждении, что все так и есть. Да разве могло быть иначе? Чтобы Ленин упустил такой случай, такую возможность провести свои идеи в молодежные массы? Никогда! Он бы и сам наверняка пришел на это собрание, но его рвут на части заводы, фабрики и солдатские полки, ему надо налаживать работу ЦК РСДРП(б), выправлять линию ЦК большевиков, завоевывать большинство в Петросовете...

Скорей, скорей надо создавать районную организацию. Видно, время совсем не ждет, видно, ситуация острее, чем кажется, коль организовали это собрание так неожиданно, спешно. Надо непременно успеть до Первая! Шестнадцатого — собрание на Путилове... Значит, остается только семнадцатое. Восемнадцатого — первая майская демонстрация...

Алексеев слушал в полслуха, ушел в себя, думал, как успеть провернуть на неделе три этих суматошных, но таких важных дела, и потому не придавал особого значения той части сообщения Скоринко, в которой он рассказывал о том, что там, на собрании, выступил и имел большой успех у молодежи некто Петр Шевцов, очень речистый парень...

Но то, что сказал Скоринко потом, мгновенно вернуло Алексеева на землю: попытка создать в Выборгском районе юношескую организацию, которая бы шла за большевиками, не удалась... 11 апреля на собрании учеников всех заводов района 100 делегатов от 26 предприятий приняли решение о создании в районе юношеской организации. Постановили также выделить по одному представителю в общий районный комитет. Райком партии большевиков с этим планом согласился. И 13 апреля этот комитет утром заседал. И что же? Утвердили название организации: «Исполнительный комитет юношества Выборгского района». Какого юношества — рабочего, буржуйского? Чей исполнительный комитет? Странное название, но это полбеды. Прав Петерсон — дело, в конце концов, не в названии. А вот что совсем плохо, так это то, что председателем этого «исполкома» избран «левый» анархист — левее просто некуда — Мишка Кузнецов, а его заместителем — меньшевик Григорий Дрязгов. Вот так: готовили собрание большевики, а руководят теперь организацией анархисты да меньшевики. Урок.... Его надо учесть.

...На собрании рабочей молодежи Путиловского завода 16 апреля народу собралось видимо-невидимо. Было еще полчаса до начала, а заводская проходная, в которой помещалось до пяти тысяч человек, уже трещала от распиравшей ее толпы.

— Тыщ шесть уже, а может, и семь. — тараща свои синие глаза под рыми бровями, докладывал Алексею Андрей Афанасьев. — Почти половина взрослых, вот беда. Они-то зачем прут? Молодежи встать негде. Может, начнем?

Стоя рядом с трибуной, Алексеев разглядывал колышущуюся и гудящую толпу и неожиданно почувствовал, что робеет. Он до конца вдруг осознал важность события, которое сейчас должно произойти, его поворотное значение в судьбах тысяч «заводских мальчиков», как называ-

ют на заводе всех рабочих, которым не исполнилось восемнадцати лет. С созданием собственной организации они обретаю большую силу в борьбе за свои права. Но понимают ли они это? Сумеет ли он, Алексеев, убедить их в том, что организация необходима не для того, чтобы, как твердят меньшевики и эсеры, большевики «начинали» их политикой, а нужна им самим, это будет их организация? А если не сумеет, провалится со своей речью? Это будет большой политический проигрыш и его используют противники. Уж они постараюся растрезвонить всюду, что молодежь не поддержала большевиков... И где? На Путиловском, который большевики считают своим оплотом. Тут уж они такое запоют...

Алексеев нервно пощупал в кармане листки с тезисами своего доклада, которые они два вечера подряд до глубокой ночи сочиняли вместе со Скоринко. Вновь и вновь выщипывал у него Алексеев подробности речи Крупской, которую та произнесла на собрании выборгской молодежи...

А сегодня утром, узнав телефон Крупской у Чугурина, Алексеев позвонил ей и попросил о встрече. Крупская не стала отнекиваться, чего он опасался, ответила просто: «Приезжайте».

И Алексеев поехал в Выборгский райком партии.

Крупская встретила его запросто, усадила на певучий стул, села напротив, утопив ладони в подолу меж колен, изучающе заглянула в лицо Алексеева своими спокойными глазами, бросила чуть заметный взгляд на его одежду, обувь. Все это — в несколько секунд. Потом ласково, так уютно улыбнулась.

— Есть хотите?

У Алексеева внезапно вырвалось: «Хочу». Он сам не ожидал этого и покраснел. Крупской это, видно, понравилось. Она достала из стола сверток, в нем оказались французская булка с колбасой и две большие вареные картофелины. Объяснила:

— Вчера допоздна заработалась, пришлось заночевать неподалеку у товарищей. Утром мне на всякий случай закуску снарядили. А время как раз к обеду. Ешьте.

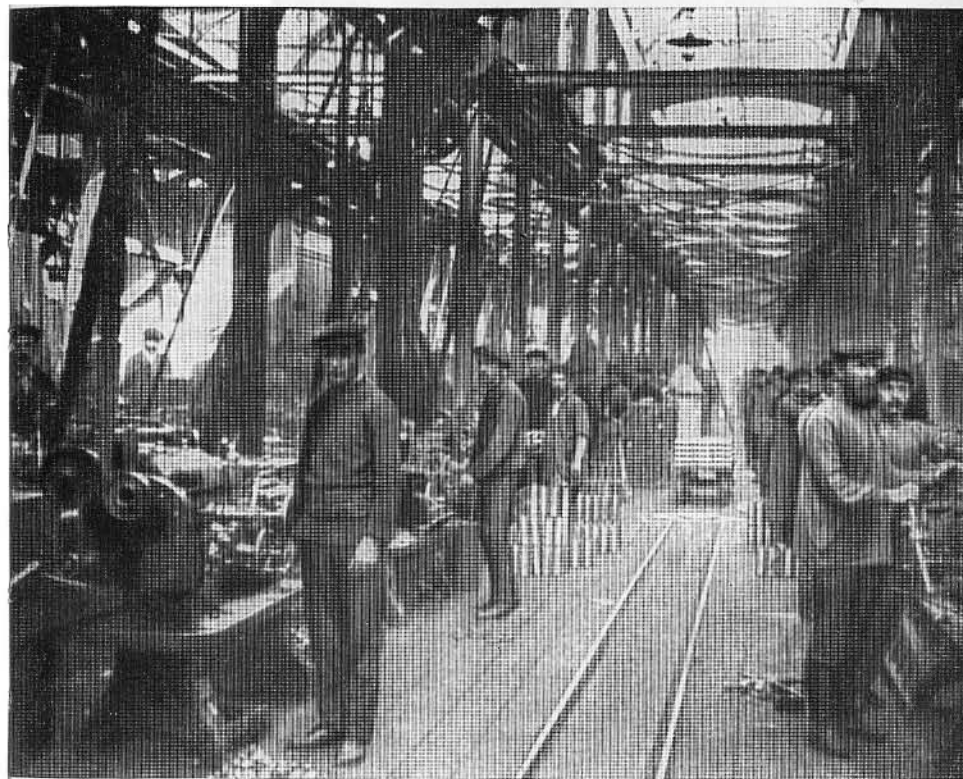
И хоть до обеда еще было далеко и маленькую хитрость Крупской Алексеев без труда разгадал, аромат от колбасы не убавился, и вся забота была в том, чтоб не показать Крупской, что он не просто хочет есть, а голоден как зверь, потому что ночевали они сегодня со Скоринко в политклубе, на столах, с вечера было не до еды,



Выступление В. И. Ленина на Путиловском заводе
в мае 1917 г.



«Новые листовки!»



Путиловский завод. Внутренний вид снарядного цеха.

В. Алексеев среди членов подпольного кружка
рабочей молодежи Путиловского завода
(второй слева). 1916 г.



Сожженное здание тюрьмы. «Литовский замок» в дни
Февральской революции.

Сгоревший полицейский архив.



Баррикады на Литейном проспекте у здания окружного суда.
27 февраля 1917 г.

Группа рабочих-красногвардейцев.



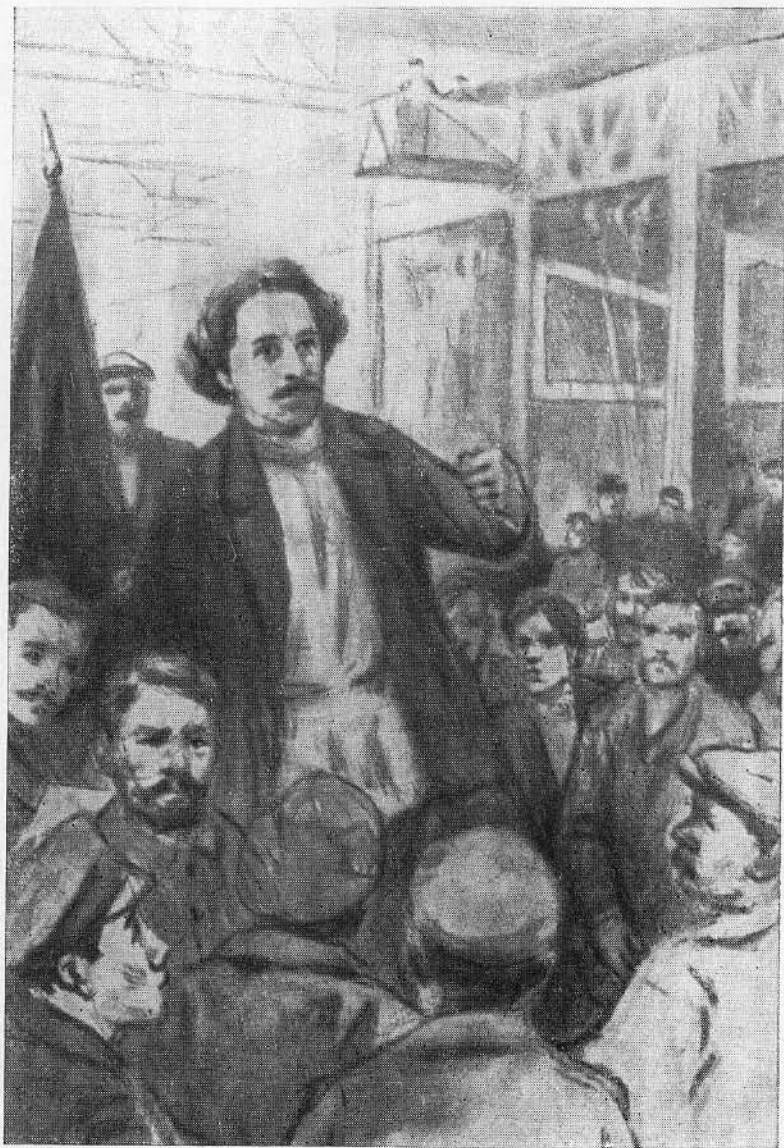


Так родился знаменитый «Приказ № 1».

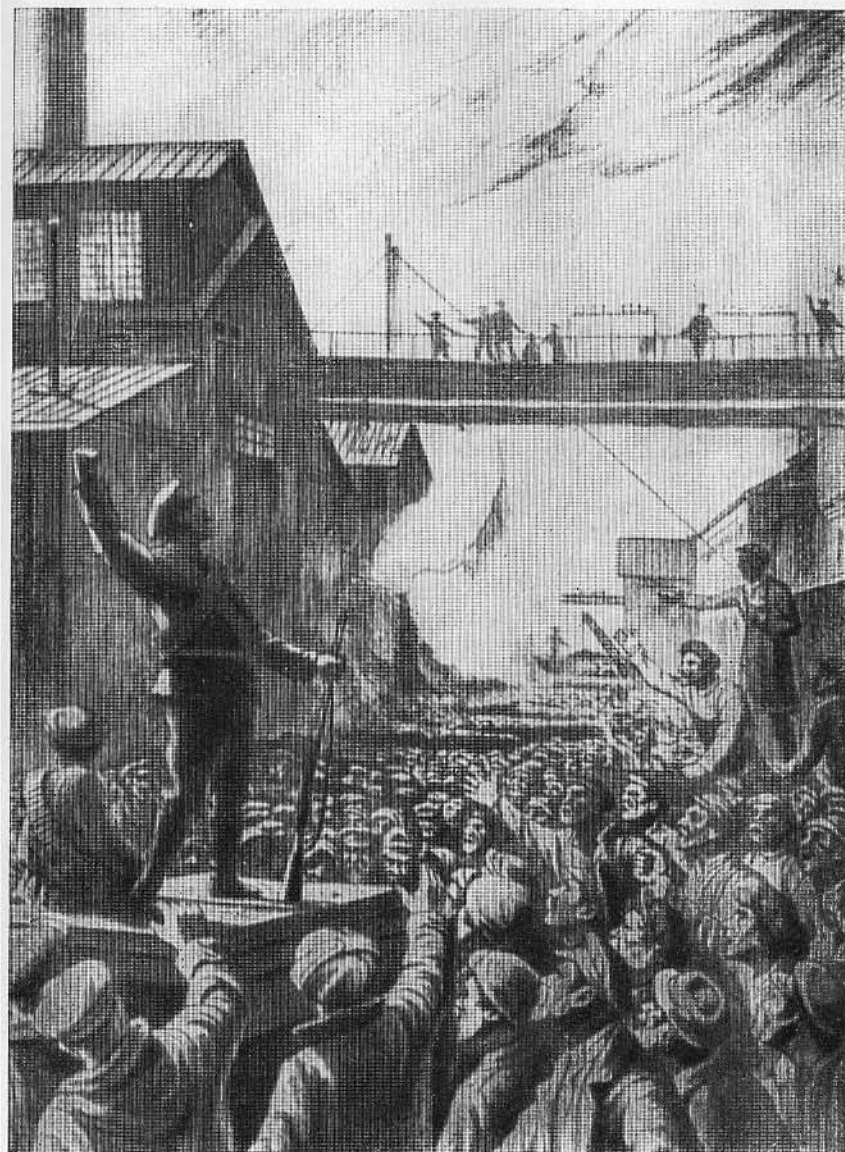


Группа молодых рабочих.

◀ Пикет путиловских красногвардейцев.



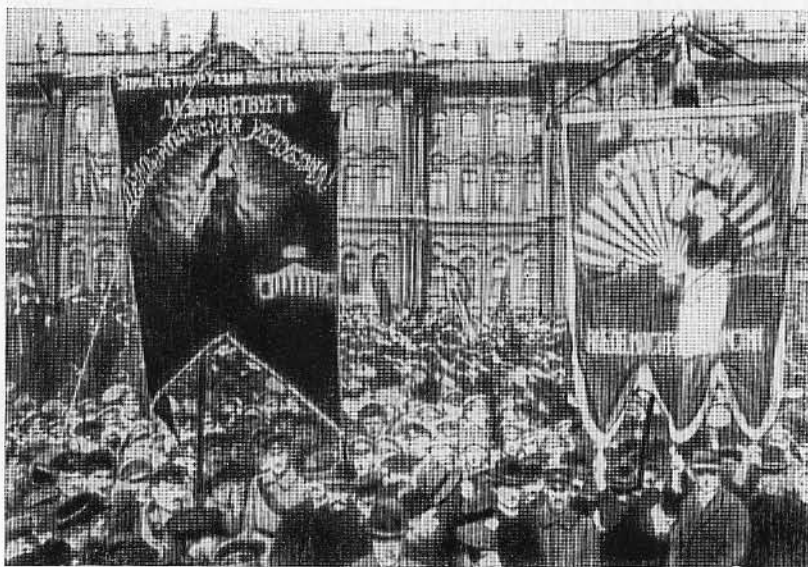
Выступление Г. К. Орджоникидзе на Путиловском заводе
по итогам VI съезда партии.



Пулеметчики призывают путиловцев к выступлению.



Рабочая молодежь Путиловского завода перед выходом на демонстрацию 18 апреля (1 мая) 1917 г.



1 Мая на Дворцовой площади.



Демонстрация солдаток. Апрель 1917 г.

Отъ Военно-Револүціоннаго Комитета при Петроградскомъ Совѣтѣ
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

Къ Гражданамъ Россіи.

Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла въ руки органа Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ Военно-Револүціоннаго Комитета, стоящаго во главѣ Петроградскаго пролетаріата и гарнизона.

Дѣло, за которое боролся народъ: немедленное предложеніе демократическаго мира, отмѣна помѣщичьей собственности на землю, рабочій контроль надъ производствомъ, созданіе Совѣтскаго Правительства — это дѣло обезпечено.

**ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ РЕВОЛЮЦІЯ РАБОЧИХЪ, СОЛДАТЪ
И КРЕСТЬЯНЫ!**

Военно-Револүціонный Комитетъ
при Петроградскомъ Совѣтѣ
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

25 октября 1917 г. 10 ч. утра.

Воззвание Военно-революціоннаго комитета
25 октября 1917 г.



В. И. Ленин в завкоме Путиловскаго завода в ночь
с 28 на 29 октября 1917 г.



Дом по проспекту
Карла Маркса,
в котором начал
свою работу
VI съезд партии.



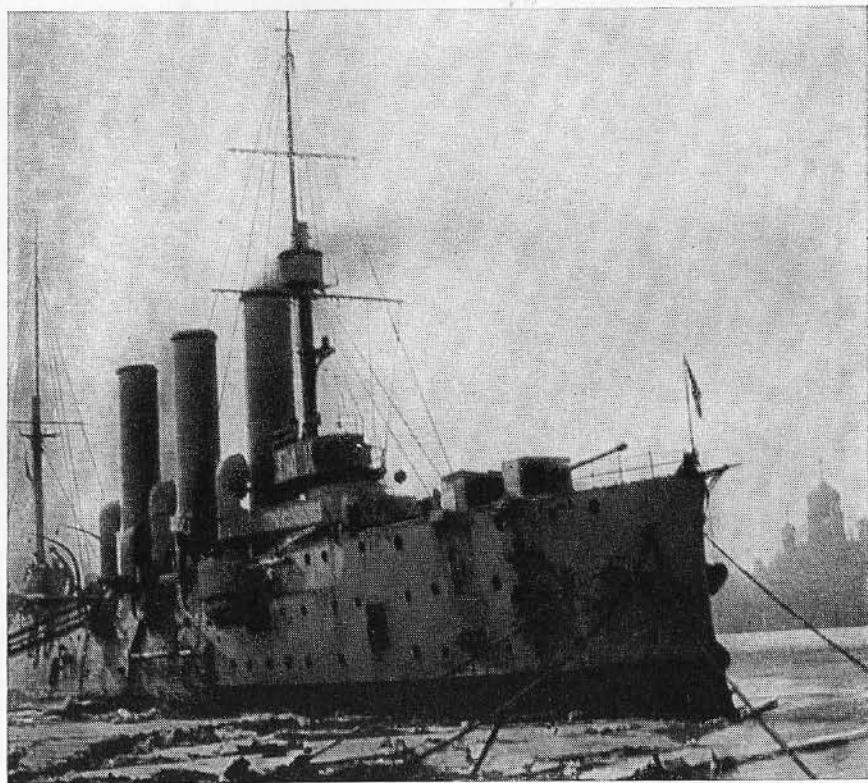
Унтер-офицер
Кирпичников.



Солдаты-волинцы.



Заседание
солдатского
комитета.



Крейсер «Аврора» на Неве.

над докладом страдали, а утром с завтраком тоже не вышло: денег у Алексеева не было ни копейки.

Он рассказал Крупской о подготовке собрания на Путиловском, которое через несколько часов уже должно открыться, о завтрашнем районном собрании. Она сосредоточенно слушала все, что говорил Алексей, и особенно внимательно, когда он стал зачитывать свои тезисы.

— Так, — медленно кивала она головой, когда Алексей выдвигал очередной тезис. — Так... Вот эту мысль подчеркните, приведите пример из жизни... Добавьте вот о чем...

И не торопясь растолковывала, что же надо добавить.

Алексеев помечал карандашом на листке: 1) за кем рабочая молодежь, за тем и будущее (мысль Маркса); 2) чтобы помогать старшим в революции, бороться за свои права, надо быть сознательными, надо ясно видеть цель, к которой идешь, а для этого надо быть организованными; 3) буржуазные партии хотят отнужнуть рабочую молодежь от большевиков, поэтому они заигрывают с ней, а цель проста: отвлечь от политики, ослабить ряды настоящих революционеров; 4) не всякий союз молодежи хорош (например, бойскауты); нужен союз рабочей молодежи, который воспитывал бы в ней чувство классовой солидарности, делал близким лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»; 5) союз рабочей молодежи должен стать Российской секцией международного «Интернационала молодежи».

— А в общем, вы молодец, товарищ Алексей, — заключила Крупская серьезно. — Политическая подковка у вас что надо, как говорится. Какое у вас образование? Четыре класса? Втройне молодец! Какие книжки читаете?

Узнав, что дома у Алексеева собралась уже приличная библиотека, в которой есть Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, Бебель, Лафарг и даже древние философы, поначалу, кажется, немного удивилась, затем долго хвалила.

— Ленина хорошо читали? — спросила Крупская, и глаза ее вдруг стали цепкими, колючими.

Ну, как было сказать жене Ленина, что ты не просто читал Ленина, что ты его изучал, «штудировал», если говорить одним из любимых ленинских словечек, что ты им восхищаешься, готов драться и умереть за его идеи, за него самого? Нехорошо могло получиться, некрасиво. Алексей собирался с мыслями, а Крупская ждала. В воздухе повисла неловкость.

— Я, Надежда Константиновна, некоторые статьи то-

варища Ленина наизусть помню, не очень большие, конечно... Хотите, прочитаю?

— Ну-ка, ну-ка!... — удивилась Крупская. — Наизусть? А зачем наизусть? Это не обязательно. Ленина понимать надо, дух идей уловить — вот главное.

— Конечно, — согласился Алексеев. — Но когда перед рабочими выступаешь, когда от себя говоришь — это одно, народ может и не поверить, а когда Ленин — тут все, «крышка», мало кто спорит. Разве лучше него скажешь?

И начал читать по памяти статью «Интернационал молодежи».

Крупская слушала с любопытством, качала головой.

— Да у вас, товарищ Алексеев, просто замечательная память! Просто молодец! — Она смотрела на Алексеева со все возрастающим интересом.

— Я стихи да песни иногда с первого раза запоминаю, — похвастался Алексеев. — Послушаю — и запомнил.

— И мелодию?

— И мелодию тоже.

— Да-а... — протянула Крупская. — Хорошая память — это счастье. А все-таки не это главное, вы уж меня простите. Не букву, а дух марксизма и ленинизма надо схватить. А то вот недавно выступал на собрании молодежи Выборгского района некто Петр Шевцов. Вроде умно, цветисто, с пафосом говорил, а по сути нес мелкобуржуазную чушь. Я его спрашиваю: «Маркса и Энгельса читали?» Отвечает: «Читал». — «А Ленина?» — «Немного». Уж сколько он их читал, не знаю, а то, что ничего не понял — это ясно. Нельзя таких говорунов к молодежи допускать. Может, резковато, но я его раскритиковала в пух и прах.

Помолчала.

— А вы Апрельские тезисы читали? Что думаете о них? — И снова глаза Крупской стали колючими.

Алексеев смеялся. Он прочитал напечатанные 7 апреля в «Правде» Апрельские тезисы насмех, многое в них было неожиданным, новым, даже резким, вызывало на раздумья, а думать на бегу, в суматохе дел было некогда. Что сказать? Сказал, что думал — правду.

Крупская слушала очень серьезно, не перебивая. Потом кое-что объяснила. Пospорили.

— Читайте, больше читайте Ленина. И думайте, думайте! Большевики на все должны идти сознательно.

— Читайте. Вот... — Алексеев хлопнул себя по карманам, из которых горчало несколько газет.

Расставались дружески. Крупская подала руку.

— Надо будет познакомить вас при случае с Владимиром Ильичем. Думаю, ему будет интересно поговорить с вами. Звоните и заходите запросто.

Алексеев летел на завод, как на крыльях, казалось, горы свернуть готов был. А теперь вдруг заробел. В груди мелко и противно дрожало, во рту пересохло. «Какой черт дернул меня согласиться с этим поручением? — уныло думал он. — Вот завалю сейчас собрание, завтра на райкоме дадут такого дрючка... Позор!» Вон вся меньшевистская «верхушка» завода стоит, о чем-то говорят, хочут... А вот эсеровская братия... Вот анархисты... Вон... сколько партий на заводе? В районе-то больше двадцати. Да, будет буза. Знать бы, какие каверзы подготовили наши союзнички по революции... А что, если...

И Алексеев принял немедленное решение — доклада не будет. Разве станут слушать его семь тысяч человек, стоя на ногах, часа полтора? Надо коротко, главное, как говорится, быка за рога.

— Все, начинаем! — нервно сказал он Скоринко и Тютикову. — Пошли!...

В груди запекло от волнения, в голову ударил жар, по глазам попили иголки. Тело стало легким, почти невесомым. А это значило, что пришло вдохновение и это значит — будет удача. В такой момент к Алексееву не подходи — разорвет, будто бешеный.

— Товарищи! Районный комитет партии большевиков поручил мне, Василию Алексееву, члену райкома, провести этот митинг. Нам нужно знать мнение молодежи славного путиловского пролетариата по двум основным вопросам. Первое — готовы ли вы, молодые пролетарии, идти послезавтра, в день Первомай, отдельной молодежной колонной. Второе — хотите ли вы иметь на заводе, в районе и в городе свою собственную юношескую пролетарскую организацию. По всем этим пунктам мы заготовили доклад. Вот он, — Алексеев потряс листками с тезисами. — Но я доклада делать не буду. Про международное положение и текущий момент в газетах можно прочитать. О положении рабочего юношества в стране и в мире мы по своему положению на Путилове знаем. Я буду спрашивать вас о главном, а вы все громко отвечайте «да» или «нет», а потом я подведу черту.

Алексеев перевел дыхание.

— Революция свершилась, но нашему молодняку лучше не стало. Мы должны довести дело до конца. Да или нет?

— Да! — рывкнула толпа в несколько тысяч глоток.

— Мы должны добиться, чтобы подросток работал шесть часов и не более, чтобы ему были запрещены сверхурочные работы. Да или нет?

— Да! — еще дружнее гаркнула толпа.

— Мы должны добиться равной оплаты труда молодых за равную со взрослыми работу. Да или нет?

— Да! — опасно дрогнули стекла в проходной.

— Мы должны наладить учебу и просвещение молодежи. Да или нет?

— Да!

— Мы должны добиться установления избирательного права с восемнадцати лет. Да или нет?

— Да!

Но слышались и голоса «нет».

— Так «да» или «нет»? — переспросил Алексеев.

— Да!! — словно пушечный залп раздался. И хот — ни одного голоса «нет» не прослышалось.

Алексеев выдержал паузу. Толпа замерла. Ей эта неожиданная игра понравилась. Но что дальше?

— Подвожу черту. Все пункты, за которые вы так дружно высказались, и есть цели той молодежной пролетарской организации, которую предлагают создать повсеместно большевики. И мы должны создать такую организацию. Да или нет?

— Да! — ответила толпа.

— Еще раз! — озорно крикнул Алексеев и взмахнул рукой.

— Да! — отозвалось.

— Еще трижды!

— Да! Да! Да!

— Пункт первый повестки дня исчерпан. Теперь начнем работу. Завтра — районное собрание молодежи, где я сообщу о решениях путиловцев. Переходим ко второму вопросу...

О Первомайской демонстрации договорились еще быстрой. Потом выступили Иван Скоринко и Зиновьев — рассказали о собрании на заводе «Русский Рено», вылез на трибуну Зернов. Как всегда, говорил шумно, непонятно и длинно, пока его не сдернули с трибуны.

Алексеев, размякший и усталый, был счастлив. Шу-

тил, смеялся, довольный сделанным и самим собой. Скоринко злился на него:

— Ради чего я с тобой две ночи горбатился? Чтобы ты эти притопы и прихлопы разыгрывал? Почему ничего не сказал о том, что наша организация — классовая? Что мы входим в «Интернационал молодежи»? И вообще...

— Ты не галди, — примиряющим тоном говорил Алексеев. — Нет еще никакой организации. Ее еще надо создать. Это — цель. А чтоб ее добиться, нужна верная тактика. Бессмысленно было при таком стечении народа говорить о вещах, о которых абсолютное большинство понятия не имеет. Не в тонкостях дело, в них можно было все дело запутать и погубить. Надо было говорить о том, что у всех болит, понимаешь — у всех: у большевиков и меньшевиков, у эсеров и анархистов даже, не говоря о всяческих сочувствующих и просто беспартийных. Вот об этом я и говорил. И все меня поддерживали. И что выходит? Все поддерживали большевиков. Это кое-что, Вапя. Ну а завтра уж пусть держатся! Завтра мы дадим им бой по всем статьям.

Скоринко задумался, Зиновьев солидно кивал головой, хотя Алексеев знал, что это еще не значит, что он с ним согласен. Он всегда качает своей большой, как у слона, головой, а сам свою думку имеет, но помалкивает. И этим всем правится, вот удивительное дело. Этаким житейский соглашатель, «удобный человек»...

— Ну, и хитер же ты, Алексеев, — воскликнул неожиданно Скоринко. — Так ведь получается, что...

— Вот именно это и получается, — стукнул его по плечу Алексеев.

Друзья обнялись и так в обнимку пошли, а ноги сами собой несли их опять все туда же — в политклуб.

— Споем? — спросил Алексеев.

— Любимую? — ответил вопросом Скоринко.

Алексеев кивнул, завел высоко, распевно. Скоринко подхватил вторым голосом:

Нарвская застава, Путиловский завод,
Там работал мальчик — двадцать один год.
Работал он работал, да вдруг перестал:
Он за забастовочку в тюрьму попал.

Деревня Емельяновка, самый старый дом,
Там живет девчонка, думает о нем...

— Слышь, Василь, все говорят, песню-то эту ты сочинил, а? — прервал пение Скоринко.

— Песню-то поют? Вот и главное. Слова и музыка — народные, идет? — хитренько подмигнул Алексеев.

— А девчонка, которая «думает о нем», — это ведь Настя? — не отставал Скоринко.

— Отвяжись, — отрубил Алексеев. Замкнулся.

Да, это была Настя Скворцова, синеглазый, тоненький тополек, его первая любовь. Любовь? Вряд ли это... Хотя, помнится, помнится до сих пор. Так помнится...

— Слушай, — хлопнул себя по лбу Скоринко. — Забыл о главном. — И вытащил из кармана три рубля. — Вот! Имеем шанс вкусно пошамать.

...Районное собрание на следующий день открылось в зале ремесленной школы Путиловского завода. Собралось почти двести пятьдесят человек. Сашка Зиновьев, как фигура ни у кого не вызывающая возражения, открыл собрание. Дальше начиналось очень важное: выборы председателя, который должен вести собрание. Выберут не того — в такую тмутаракань заведет, такого понаворотит... Выбрали Алексеева. Его же утвердили докладчиком, и вот тут он использовал свои тезисы, которые подготовил для выступления на заводском митинге, говорил почти два часа. Иногда галдели: то меньшевики, то анархисты. Приходилось прерываться, давать справки, объяснения и продолжать дальше.

— Повторяю, — сказал Алексеев в заключение. — Цель социалистического союза рабочей молодежи — готовить свободных сознательных граждан великой борьбы за освобождение всех угнетенных, которую ведет партия большевиков... Борьба за экономические и политические права молодежи. Наши лозунги: «Долой эксплуатацию детского труда!», «Шестичасовой рабочий день для подростков!», «Всеобщее бесплатное обучение!», «Мир — хижинам, война — дворцам!», «Да здравствует социалистическая революция!» Самый главный — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Аплодисменты, крики «Ура!», «Правильно, Алексеев!» смешались со свистом, топотом, криками «Долой!», «Не согласны!», «Мы не позволим ставить на свой лоб социалистическую печать!», «Мы смоём ваши названия кровью!», «Дашь свободные юношеские федерации!».

Алексеев стоял на трибуне и, уловив мгновение тишины, сказал ровно, словно и не было этого дикого ора:

— Я понимаю крики «Долой!» и свист некоторых товарищей так: они недовольны нашими лозунгами и тем,

что я говорю только от имени большевиков. Что поделаешь: меньшевики и эсеры, заседавшие в районном Совете, отказались поддержать нас в желании создать юношескую организацию. «Малы, — говорят. — Шалить еще начнете...» Это нелишне знать тем, кто их поддерживает, и самим товарищам меньшевикам. А таких, я вижу, здесь немало...

— Мы все равно не пойдем за большевиками!, — раздался выкрик из зала.

Алексеев усмехнулся:

— А вот с заявлениями подобного рода не спешите. Пожалеете: вам еще предстоит со мной согласиться. Посмотрите друг на друга, ну, прошу вас — внимательно посмотрите... Можно отличить по вашим лицам и внешнему виду, кто большевик, кто эсер и кто из беспартийных кому сочувствует? А? Невозможно...

— Можно! Вон Зернов весь в тельняшке и с кольтом... — крикнул тот же голос.

Кто-то добавил:

— И шея у него немтая!

Раздался дружный хохот.

— Разве что Зернов... Так на то он и анархист. А так — ни за что не отличишь. А что вас объединяет? Ваши голодные глаза, потому что все вы шамать хотите. Вапа оборванная одежонка и ботиночки, которые «каши» просят... А почему вы все такие одинаковые, ну?... Да потому что все вы — дети рабочих и сами рабочие. Кто не согласен?

Молчание было долгим. Алексеев воспользовался этим, продолжал:

— А чего вы хотите? Быть сытыми, быть одетыми и обутыми, чтоб вас не угнетали и не унижали. С этим вы согласны?... А если так, то у нас есть главное основание объединиться, чтобы вместе с нашими отцами и матерями добиваться этих прав, отстаивать свои интересы в борьбе за светлое будущее — за социализм!..

Снова бурные аплодисменты, снова свист, топот. Грохнул выстрел, второй.

— Да успокойте вы этого анархиста... — попросил Алексеев. — И кольт у него отберите, а то он весь потолок испортит.

Завязалась возня, сопение, откуда-то из-под парт раздался зычный выкрик:

— Трепещите, тараканы! Молодежь на страже! Смерть сытым!

Наконец, утихомирились. Перерыв решили не объявлять.

— Ну что ж, тогда давайте выступать. Кому слово?

Алексеев вдруг почувствовал, что в глазах темнеет и пол начал уплывать из-под ног. Он ухватился за стол, всей силой воли, что была в нем, сказал себе: «Стоять!» Кажется, из зала заметили неладное, первые ряды притихли.

— Ты что, Алексеев? — зашептал Зиновьев. — Устал? Давай я поведу собрание.

— Нет! — ответил Алексеев. Получилось громко. Он сбавил тон. — Сам. Самое трудное — впереди. Сейчас начнется...

— Прошу слова! — к трибуне шел светловолосый высокий парень.

Была в его походке решительность и уверенность.

— Я Васильчиков, с судоверфи. Меньшевик, чтобы сразу все прояснить. Тут Алексеев говорил о задачах нашего союза, складно говорил: «классовая борьба», «участие в социалистической революции» и тэпэ. Мы, меньшевики, не согласны с этим. Это смешно — нам, соплякам, говорить о классовой борьбе. Нам в классы надо ходить, в школу. Классовая борьба — дело старших, опытных. Мы должны быть исполнены жаждой знаний и готовиться к будущей жизни. Это первое. Второе — о лозунгах. Мы с ними не согласны. Лозунги большевиков разъединяют, а не объединяют нас, так как всех без различий в политических настроениях ставят под большевистские знамена. Не выйдет! Юноши должны хранить свою беспартийность, как... как девицы целомудрие. Да! Красные знамена несут кровь! Мы пойдем под голубыми... Синева — это цвет свободной морской стихии, это цвет общего над нами неба... Синий цвет — эмблема природы и беспартийности. Синева — это поэзия женских глаз...

— А как по части женских глаз у оратора? — раздалось из зала. — Ясно, кончай!

Васильчиков стоял невозмутимый. Продолжал спокойно:

— Я только начинаю. О названии союза... Оно не подходит. Что значит «социалистический»? Нас опять тянут в политику. Это не для молодежи, а...

— Ты все отвергаешь и ничего не предлагаешь, Васильчиков. Твои предложения? — вставил Алексеев.

Васильчиков захлебнулся на полуслове. Сказал с вызовом:

— Предложения? Пожалуйста... Даю несколько вариантов: первый — «Союз заводских мальчиков», второй — «Объединение молодых рабочих», третий — «Труд и Свет»... Могу еще. Но я категорически против названия «социалистический»... И вообще, я протестую против того, что мне не дают говорить — то эти орут, — он кивнул в зал, — то председатель прерывает, да еще на «ты» обращается. Я покидаю трибуну в знак протеста.

И ушел, такой же уверенный в себе.

А зал не унимался... «Скажи на милость, барин — его на «ты» называли, обидели!», «Да здравствует детский социализм!» — несло.

На трибуне уже стоял парень в красной косоворотке с огромной копной рыжих волос, сам рыжий, как подсолнух.

— Назовись людям, — попросил Алексеев.

— Сентюрин я, с завода Тильманса... Я готовился речь сказать, а сейчас из головы все вылетело. Это очень даже странно мне слышать про голубые знамена и про это... про поэзию... от рабочего юноши. А про детский социализм — не смешно. Нужен детский социализм. Я не о себе. Я-то взрослый, мне уже шестнадцать. Я про детей про наших скажу заводских, которых на нашем заводе множество... Как было им трудно при царе, так и осталось! Работаем по десять часов, а то и боле... А в получку — шиш... На еду не хватает... Мастера лютуют, бьют детей, да и нам по шее дают... Что говорить... говорить я не умею... Я вот вам статейку зачитаю одну из газеты вчерашней... Вот что гражданин Гурьенков в ней про наш завод пишет, послушайте...

Стал читать, запинаясь, с остановками:

«Понаблюдав часа два работу детей при сушильных барабанах, в зрельных и вешалах при температуре почти 55 градусов по Цельсию, я спросил господина «Рэ»... — так написано, пояснил он залу. — А что за люди выходят потом из этих мальчиков?

— Бог знает, куда они у нас деваются, — ответил господин «Рэ», подумав. — Мы уж как-то их не видим после.

— Как не видите? — спросил я, корреспондент, значит.

— Да так, высыхают они.

— Я (это господин Гурьенков, а не я) принял это за ме... мета-фо-ру...

— Хотите сказать, меняют род занятий? — уточнил я.

— Да нет, — ответил господин «Рэ» серьезно. — Просты высыхают, совсем высыхают». Вот такая статейка, как? А дети, товарищи, вот именно высыхают, уродуются, тяжело болеют, а многие умирают. А мы хотим жить! Мы справедливости требуем! А потому я поддерживаю Алексеева... Я его знаю и верю ему... Он сам на бар с детства горб гнет... И «фараоны» его били... У нас есть в жизни только два вероянта: оптимальный и пессимальный — победа над буржуями или смерть!.. И я требую социализма и умру за него!.. Да здравствует социалистический союз молодежи! Да здравствует социализм!..

И аплодисменты, крики: «Да здравствует!», «Молодец!»...

— Молодец, Сентюрин, — поддержал зал Алексеев. — Только умирать не торопись. Кто за тебя социализм строить-то будет?.. А вместо «вероянт», надо говорить «вариант», вместо «оптимальный» лучше говорить «оптимистический», а вместо «пессимальный» — «пессимистический». Образовалась заминка — слова никто не просил.

— Ну? — вопрошал Алексеев. — Или нечего вам сказать? Почему девчата молчат? Все прекрасно?

— И ничего не прекрасно... — таким мелодичным и таким дрожащим, рыдающим голосом сказала девушка из первого ряда, что все враз затихли. Она стояла, вся пунцовая от залившей ее лицо краски, открывала рот, но не могла говорить.

— Как тебя звать-то? — спросил Алексеев.

— Таней зовут. Я сейчас успокоюсь... И не пойду туда, — она кивнула в сторону трибуны. — Я отсюда скажу, от девушек нашей фабрики скажу. У нас, у девушек, на фабрике даже имени нет. Нас всех скопом просто «фабричной пылью» называют... А мастера и начальники бесконечно пристают, все предлагают, то за город прогуляться, то «пожаловать на чердак»... У нас Раечка Морозова из-за этих вот приставаний убила себя насмерть, а ей только шестнадцать было... И мы не согласны с такими порядками! Мы за то, что говорил вот этот товарищ. — И показала рукой на Алексеева. — Он был у нас на фабрике, я помню, и девчата его любят...

Раздался хохот.

Таня непонимающе, с удивлением оглянулась в зал, потом тоже рассмеялась.

— Ой, да подите вы... дураки несчастные... Вам бы только об одном... Я что еще хочу сказать... Вы посмотрите, сколько хулиганов в городе поразвелось, каких толь-

ко шаек нет: «заставские», «соляные», «смоляные», «чугунские», «железнодорожные», «александровские»... С кинжалами, кастетами, ножами и даже с наганями. На улицу выйти жуть. А кто эти хулиганы? Да дети рабочих. А почему хулиганят? От отчаяния, от безысходности. Режут, бьют друг друга, на своего брата рабочего человека страх наводят. А буржуям выгодно, чтобы вместо классовых боев кулачные бои были да поножовщина... И для этого наш союз нужен, чтоб прекратить все это...

Бежал к трибуне мальчишка, сам маленький, худенький, одежда на нем болталась, он поддегивал сползающие штаны и это вызвало смех.

Алексеев помог ему взобраться на сцену.

— Сколько ж тебе лет? — спросил Алексеев.

— Мне-то? Шестнадцать.

— Вот уж врешь! Сколько прибавил?

Мальчишка посопел, молча глянул на Алексева исподлобья.

— Три... По целковому за год приставу уплатил. А что? Разве я один? Шамать нечего, а работать не разрешают... «Мал», — говорят.

— Кем же ты работаешь?

— Я-то? Я «круглила» на Путилове, в снаряжном. Я доньшки у снарядов обтачиваю, круглю... Круглил...

— А имя твое как?

— Митя Павлов... У меня отца в феврале убили, я больше месяца на работу не наймусь, потому что выгнали меня с завода. Потому что с малолетками нисколько не считаются. А за что меня выгнали? Потому что просили лучшего с нами обращения. А чего просили? Чтoб мясо в обед давали не 4-го, а 2-го сорта, а чашки были чистые, а не ржавые. И чтобы в пище камни, тряпки и мочала не попадались... А чтобы поучили нас хоть немножко грамоте, а рабочих часов поубавили... Разве это не справедливо? И чтобы Шустов, мастер наш, не приходил к нам пьяный и не бил. Мы должны защищаться, бороться за себя сами, вместе со всеми взрослыми. И я за Алексева, хоть он и обзывается... Мальчишки тоже хотят свободы!..

Услыште горькие рыдания,
Спасите тысячи детей,
Смягчите ихние страдания
И дайте им свободных дней!..

Опять выступил анархист Зернов, опять ругался, грозился, обзывался, всех насмешил, всем надоел, и качал бы

он трибуну неведомо сколько, если б Алексеев не спросил:

— Зернов, ты против чего, собственно, выступаешь?

— Я? Против всего.

— А за что выступаешь?

— Я? Ни за что. Но большевики мне нравятся...

Так говорили и спорили они, дети восходящего к власти гегемона, будущие хозяева огромной социалистической державы, которую им предстояло создать, за которую придется не раз и не два пролить свою кровь, а многим и умереть. Чаша весов колебалась то в одну, то в другую сторону — меньшевики, эсеры и анархисты дрались отчаянно и порой не без успеха.

Вперед было самое главное — голосование за название организации, выборы руководящего органа.

— Ну, кто еще скажет? Давайте, давайте! — весело, вроде бы шутя, кричал Алексеев севшим голосом. — Ну? Зернов, анархия — мать порядка, будешь еще говорить? Что голову свесил? У нас свобода, без «дураков». Васильчиков, ты что как кур общипанный на прилавке лежишь? Все протестуешь? Видишь — каждый говорит, сколько влезет... Товарищи большевики, меньшевики, эсеры, анархисты, беспартийные и сочувствующие, прошу на трибуну, она ваша. Нет желающих? Прекращаем прения? Голосую... Единогласно... А теперь голосую предложения выживших фракций в порядке их поступления: сначала — большевиков, которые свои соображения изложили в докладе, потом — меньшевиков, затем эсеров и анархистов. Первое — название союза. Кто за то, чтобы назвать нашу организацию «Социалистический союз рабочей молодежи Нарвско-Петергофского района», прошу голосовать. Явное большинство!

Эти слова потонули в аплодисментах и криках.

— Кто за то, чтобы целью союза было участие в классовой борьбе вместе с отцами и матерями за социалистическую революцию, борьба за экономические и политические права молодежи, прошу голосовать... Явное большинство!

Снова взрыв рукоплесканий и возгласов.

— Кто за то, чтобы завтра на Первомайской демонстрации колонна молодежи шла под лозунгами «Долой эксплуатацию детского труда!», «Шестичасовой рабочий день для подростков!», «Всеобщее бесплатное обучение!», «Мир — хижинам, война — дворцам!», «Да здравствует социалистическая революция!», «Да здравствует III Ин-

тернационал!». И самый главный «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», прошу голосовать... Явное большинство!..

Выборы в состав районного оргбюро никому перевеса не принесли: в конце концов, в него прошли двое большевиков, двое меньшевиков, левый эсер, анархист и четверо беспартийных. Однако председателем оргбюро, что в переводе на современный язык означает, «первый секретарь райкома», был избран Василий Алексеев. Вместе с итогами голосования по другим пунктам это уже было победой.

О победе этой можно сказать «маленькая», если смотреть на Нарвско-Петергофскую конференцию молодежи как на «еще одну» среди многих других, проходивших в то время в Петрограде, Москве, Харькове и других городах России. Но дело в том, что далеко не везде и не сразу большевикам удавалось завоевывать рабочую молодежь на свою сторону. Посудите сами: созданные вскоре в Петрограде Василеостровский райком союза молодежи именовал себя Исполнительной комиссией учеников заводских предприятий, Московский комитет — Исполнительным комитетом малолетних рабочих, Петроградский — Районным бюро юношеских исполнительных комитетов, Выборгский — Исполкомом юношей Выборгского района и т. д. Каких юношей, каких малолетних рабочих, каких учеников? — вот вопрос, который волновал большевиков. Каковы цели этих организаций? Историческая обстановка требовала абсолютной ясности. Наименование Нарвско-Петергофской организации ее цели и задачи высвечивало четко. И это определяло историческую значимость происходившего. Совсем не случайно первые исследователи истории комсомола отметят впоследствии: «Головным отрядом рабочей молодежи идет Петергофско-Нарвский район — этот истинный основатель Ленинградского комсомола».

А лозунги?

Совсем еще мальчишки и девчонки яростно спорили о лозунгах, которые состоят из слов, потому что понимали, что поиск лозунгов не был игрой в слова. Это был важнейший момент классовой борьбы. Лозунг, как формула, в двух-трех самых главных словах должен был с математической точностью выразить потребности, настроение и политическую ориентацию масс, дать народному движению четкие цели. Лозунги писали на знаменах — под знаменами шли в бой и умирали. Дать массе лозунг, верно отражающий существо исторического момента, значи-

ло завоевать ее на свою сторону. Большевики сознавали это и к лозунгам относились архисерьезно.

Алексеев понимал цену проделанной работы. Понимали ее и его товарищи. Как только конференция закончилась и отгремел «Интернационал», они окружили Алексева, возбужденные и веселые.

— Товарищ Алексеев... Вася... Василий Петрович... Это же здорово-то как! А!?

И вдруг увидели, что Алексеев бледен как мел, еле стоит на ногах, пот мелким бисером усыпал его лицо.

— Что с тобой? — спросил его Скоринко.

Алексеев сумел вымолвить всего несколько слов:

— Плохо что-то... Есть хочу, спать... Я сейчас, минутку...

И сел на подоконник, пристроился на плече у Скоринко и мгновенно уснул.

Алексеев не слышал, как с песнями расходились после собрания мальчишки и девочки, как кто-то звал его: «Алексеев, Алексеев!» Сегодня утром он не успел позавтракать, а вчера ночью — поспать. Ему хотелось смеяться и радоваться, вместе со всеми праздновать эту маленькую победу, нужную — он верил — для того, чтобы потом пришла победа всероссийского масштаба, чтобы была создана та могучая юношеская организация, которую называют комсомолом, но он не мог даже улыбнуться, а спал на плече у своего друга, израсходовав до капельки весь запас своих нервных и физических сил. Ему снилась мама, которую он не видел уже больше месяца, и родной дом, в котором он давно не почевал, а спал там, где захватит его последний час работы...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Приехал в Петроград Ленин — и словно свежим ветром подуло всюду. В Центральном Комитете РСДРП большевиков, в их Петроградском комитете, в кабинетах и залах Временного правительства, Петроградского Совета, в районных комитетах всех политических партий, на заводах, фабриках, воинских частях — всюду заговорили о том, что многие думали: «Вся власть Советам!», «Да здравствует социалистическая революция!», «Никакой поддержки Временному правительству!», «Безраздельное руководство революционным движением масс — большевикам!». Эти лозунги перевернули с ног на голову, как каза-

лось некоторым, уже установившийся порядок вещей, уже привычное, думалось, течение революционных событий куда-то вправо, куда-то вбок, в непонятность... И вдруг — удар, встряска, полная определенность: социалистическая революция. Только так и никак иначе. В противном случае — крах народной революции, победа буржуазии.

Однако обнаружили разногласия в Петроградском комитете большевиков. Каменев твердил о незрелости России для социалистического переворота. Ему рьяно вторил один из секретарей ПК РСДРП(б) С. Я. Багдатов, выступивший против основных выводов ленинских тезисов. Нельзя, мол, рассчитывать на переход к социалистической революции за счет внутрироссийских сил, надо ждать, когда произойдет социалистический переворот в Германии, а уж потом на ее примере и опыте развивать русскую революцию...

Было решено вынести обсуждение Апрельских тезисов на фабрично-заводские и районные собрания большевиков. Целую неделю с 8 по 14 апреля шли жаркие споры... Ленин, его идеи победили. Это окончательно подтвердила 1-я Петроградская общегородская партийная конференция, на которой 57 делегатов представляли 15 тысяч партийцев.

Противники кинулись в драку...

Неистовой злобой исходила буржуазия. Газеты были забиты статьями, в которых доказывалось, что Ленин — немецкий шпион, что он куплен врагами России, что большевики продают ее...

Изоощрялись в клевете меньшевики и эсеры. Соглашательский Исполком Петросовета принял чудовищную резолюцию, в которой заявлялось, что пропаганда взглядов Ленина не менее вредна, чем любая контрреволюционная пропаганда справа. Делалось все, чтобы породить недоверие к большевикам, к их вождю Ленину, которого именовали «бунтарем» и «анархистом», а его идеи называли «бредовыми». Кричали, что Ленин «отсек себя от революции», что он «попирает ногами традиции русской демократии», что за ним, кроме кучки «сектантов», никто не пойдет. Но большевики верили и знали: это — временно, скоро правда найдет умы и сердца людей, сама жизнь покажет им, кто прав. А пока — работа, работа, работа!.. «Идите к массам!» — призывал большевиков Ленин.

Большевистские агитаторы шли на заводы и фабрики, жили в солдатских казармах по несколько дней, а то и

по неделе, говорили о мире, земле, о том, что нужно взять в свои руки заводы, фабрики, власть, принимали все, что несла им нелегкая участь, но побеждали... Через десять дней уже одиннадцать полков вполне уяснили, что большевики — за народ, за общее дело.

Сила Апрельских тезисов и большевистского слова была столь велика, что породили бурные дискуссии и внутри мелкобуржуазных партий. Под их влиянием началась быстрая поляризация политических сил. Мелкобуржуазные партии раскалывались, теряли своих членов, влияние в массах. Достаточно было выступления Ленина на Путиловском заводе 12 мая, чтобы многие меньшевики и эсеры из рабочих тут же, на глазах у народа с проклятиями разорвали на части свои членские билеты. Если после Февральской революции в России было около 20 мелкобуржуазных партий, то уже в июле 1917 года их стало 35.

Пришел день 18 апреля. На европейском же календаре значилось 1 мая — день солидарности рабочих всего мира. Вместе с ними и отмечал этот праздник российский пролетариат. Как смотр своих сил, как протест против самодержавия. Начинался новый счет исторического времени.

В этот на редкость теплый и солнечный день член РСДРП(б) Выборгского района В. И. Ленин шел во главе районной колонны выборгцев. На огромном Марсовом поле и четырех прилегающих площадях было устроено 167 трибун, с которых одновременно выступали ораторы. И снова без устали говорил Ленин. А вокруг вместе со взрослыми стояли тысячи детей, тысячи подростков, молодых людей. Они несли свои транспаранты и лозунги, пели революционные песни. Это было ново, невиданно. И для того, чтобы это случилось, пришлось ой как поработать Алексееву, Смородину, Канкину... Тысяч сто молодняка собралось, не меньше.

Первомайская демонстрация молодежи произвела неожиданный и колоссальный эффект. Газеты отводили этому событию целые полосы и многие столбцы. В кабинетах деятелей Временного правительства, в руководстве политических партий о молодежи заговорили как о новом факторе развития революции, который надо полнее — да, да! — лучше и полнее учитывать. И организовывать.

Большевики радовались: бурлит молодняк! Кипит по районам работа, уже брошены в молодежь, как зерна в

нашню, сотни лучших агитаторов и организаторов партии.

Но через несколько часов праздничная атмосфера испарилась, ее словно и не было. Улицы бурлили негодованием: в тот самый день, когда народ демонстрировал свое стремление к миру, Временное правительство направило союзным державам ноту с заверением о своей готовности продолжать войну до победного конца, соблюдая все договорные обязательства, взятые царизмом.

20 апреля у Мариинского дворца, где находилась теперь резиденция Временного правительства, собрались тысячи солдат. Петроград бурлил. Колонны демонстрантов шли с окраин к центру города.

События достигли высшего напряжения 21 апреля.

На Путиловской площади шел митинг: обсуждали вопрос о предстоящем выступлении. Настроение было неопределенное. Ждали решения районного Совета, а его все не было. Зато с Невского приходили возбужденные рабочие и рассказывали о том, что юнкера, офицеры и прочая толстомордая публика рвут Красные знамена, избивают и арестовывают за одни только возгласы против Временного правительства. Вдруг произошел резкий перелом в настроении. «Уж шесть часов, а мы все ждем. Чего ждем?». «Наши знамена рвут, нас гонят с улиц, нас бьют, а мы будем молчать? На Невский!»

Построились в колонны, развернули знамена и лозунги: «Долой Временное правительство!», «Долой Милюкова и Гучкова!», «Да здравствует Совет рабочих и солдатских депутатов!». Так, с отрядом вооруженной рабочей милиции во главе, шли до угла Садовой и Невского. И только милиция да часть манифестантов дошли до Инженерной улицы, как на них из подворотен и подъездов выскочили несколько групп. Здесь были великовозрастные и совсем сопляки, в котелках и картузах, юнкера и гимназисты. С криками «Бей большевиков!», «Бей ленинцев!» они кинулись к знаменам и лозунгам, стали вырывать их из рук демонстрантов.

Завязалась драка.

Милиция металась в растерянности: стрелять было нельзя и пробиться сквозь ряды демонстрантов тоже. В руках нападавших мелькали железные прутья, кастеты, ножи, револьверы. Неслись стоны, истонные вопли. Со стороны Невского раздались выстрелы. Стали падать раненные, убитые...

Алексеев нес вместе с Панюхиным лозунг «Долой

Милюкова!» Когда к нему подскочили два парня и молча рванули из рук древко, он поначалу даже не понял, в чем дело. А лозунг, уже разорванный пополам, валялся на мостовой. Потом прыжком кинулся на того, кто ломал древко, вцепился руками в горло, хотя в кармане был наган, но в это время сзади ударили чем-то вдоль спины и он, закричав от боли, свалился наземь.

Домой его отвезли — идти не мог. Удар железным прутком пришелся по спине и левому плечу. Рука висела плетью. Но утром Алексеев припелся в райком.

С утра до ночи в эти дни шли заседания в райкоме партии, в Петросовете, где каждый большевик был на счету — 65 человек, едва лишь каждый десятый из всех депутатов.

А еще надо было налаживать работу районного союза молодежи. Все внове, незнакомо. Простое вроде бы дело — найти какую ни на есть комнатенку для работы оргбюро, а поodi ж ты, оказалось проблемой: «за просто так» никто не сдает, а денег в союзе нет ни гроша. Ткнулись в районный Совет — там меньшевики и эсеры верховодят. Обхохотали. Выручил райком партии большевиков — потеснились и выделили одну из двух комнат в своем помещении на Новосивковской, 23.

Казалось, вопрос утрясли, и вдруг загвоздка — анархист Зернов «идти под большевистское крыло» не желает, эсер Васильев — тоже, меньшевики этак деликатненько молчат. Поддержали беспартийные. Разместились..

Пестрый состав оргбюро сказывался постоянно: споры возникали по каждому поводу, а потому заседали до глубокой ночи, а то и до утра — другого времени у Алексеева просто не было. Просыпаться каждый день — как из мертвых подниматься, нет никаких сил.

А надо еще писать Программу и Устав союза, надо создавать организации на заводах и фабриках, надо вести запись в члены организации, проводить бюро, готовить вторую районную конференцию... Дел больших и малых уйма, но время, время — где его взять?

I

Со всех сторон доносились вести, что в районах столицы, на заводах и фабриках кипит работа по созданию молодежных организаций, что Исполком Выборгского союза по существу взял на себя роль «самочинного» городского комитета и направляет эту работу. «Выборг-

ская пятерка» — Гришка Дрязгов, Анемподист Метелкин, Павел Бурмистров, Мишка Цепков, Мишка Кузнецов — разъезжают по районам, выступают на собраниях, инструкции дают, готовят первое заседание Всерайонного Совета. Руководит ими Петр Шевцов...

— Это не тот ли Шевцов, о котором мне Крупская говорила? На собраниях в Выборгском выступал? — спросил Алексеев у Скоринко.

— Вот те раз, — удивился Скоринко. — Я ж тебе после собрания о нем рассказывал, а ты слушать не захотел. Башковитый парень, между прочим.

— Ты? Мне? Рассказывал? — запетушился Алексеев. — И я не помню? Быть не может!..

— Ладно, Вася, не гоношись. С тобой такое бывает — улетишь куда-то в небеса, не дозвешься, будто с глухим говоришь. Может, ты и тогда... тово... парил...

— Все равно, — обрезал Алексеев, — Ты к нему присмотришься. Крупская говорит, каша у него в голове мелкобуржуазная, нельзя его к молодежи подпускать. Когда заседание Всерайонного Совета? Повестка известна?

— Вроде, 24 апреля. Вопросов куча, но главные — выборы Президиума Совета, о Программе, Уставе и наименовании союза. О Первомайской демонстрации...

— И ты молчишь?! Это же все архиважно! К заседанию надо готовиться. Кто у нас в состав Совета делегирован? Ты, я, Зернов, Минаев? Ну, Скоринко, ну, Иван... Ты секретарь районного оргбюро или нет? Где бумаги к этому заседанию? Их же надо изучить!..

Скоринко хлопал глазами. злился, но молчал: коль Алексеев ругается, значит, и в самом деле что-то прошляпили...

— Обещался Дрязгов приехать к нам в район и захватить их с собой...

Но никто из «выборгской пятерки» в Нарвско-Петергофский район не приехал, а на первое заседание Всерайонного Совета Алексеев не попал: в тот самый день, когда заседал Всерайонный Совет, в Петрограде открылась VII Всероссийская (Апрельская) конференция РСДРП(б), которой предстояло выработать стратегию партии по всем основным вопросам революции: о войне, об отношении к Временному правительству, о Советах рабочих и солдатских депутатов, по партийному строительству, аграрному и национальному вопросам. Конференцией непосредственно руководил Ленин, выступал по всем важным вопросам повестки дня. Конферен-

ция проходила в крайне напряженной обстановке. Контр-революционеры делали все, чтобы сорвать ее работу или хотя бы помешать ей. Группы хулиганов нападали на делегатов, избивали их.

Весь актив Петроградской организации большевиков был брошен на охрану помещений, где проходила конференция — Женского медицинского института, Высших женских курсов Лохвицкой-Скалон, курсов Лесгафта, — на обеспечение нормальной работы комиссий и секций.

Нашлось дело и Алексееву. Пять дней, с 24 по 29 апреля, пролетели как один. Ничем другим, кроме этого поручения, он не занимался.

30 апреля, едва придя в райком союза, Алексей стал разыскивать Минаева и Скоринку. Пришел Минаев.

— Ну, как прошел Всерайонный Совет? — спросил Алексей.

— Просто здорово, — запалился тот сразу. — Народ в основном — что надо. Председатель, Шевцов — бабка...

— Значит, Шевцов избран председателем? — отчего-то раздражаясь, спросил Алексей. — Дальше. Состав Совета?

Минаев открыл папку, стал неспешно листать бумаги.

— Вот... Тридцать девять человек.

— Возраст, образование, партийность подсчитал? — спросил нетерпеливо Алексей.

— Зачем считать? У них там все чин-чинарем поставлено: папочка — каждому, а в ней все бумаги. Вот... Шевцов, председатель — 27 лет, беспартийный, образование высшее, университет закончил. Дрягзов — семнадцать лет, меньшевик-интернационалист, образование низшее... Он первый товарищ председателя. От Выборгского района... Метелкин — пятнадцать лет, беспартийный, низшее... Бурмистров — семнадцать лет, анархист, низшее... Цепков — семнадцать, эс-эр, низшее... Кузнецов — семнадцать, анархист, низшее. Теперь по нашему, по Нарвско-Петергофскому району... Скоринко — шестнадцать, большевик, низшее... Зернов — семнадцать, анархист, низшее... Минаев — семнадцать, большевик, низшее... Алексей, это ты, значит — двадцать, большевик, низшее... По Петроградскому району. Смородин — семнадцать, большевик, низшее... Бурмистров — это уже другой Бурмистров — пятнадцать, эс-эр, низшее... Он — второй товарищ председателя. Может, хватит? Зачем тебе это?

— Дай-ка сюда! — Алексей зло вырвал бумажку из рук Минаева. — «Зачем, зачем»... Теленок ты, а не революционер, Минаев, если не понимаешь, зачем это надо знать.

Он быстро пробежал глазами листок, рассмеялся злобно.

— Ясно. Теперь все ясно. Ты глянь, дурья твоя голова... Да не сердись, это я к слову... Шевцов на десять лет старше всех — раз. Что это значит? Что он вдвое, а то и втрое опытней нас. У него образование высшее, а у нас низшее — это два. Что это значит? Что он знает такое, о чем мы и не подозреваем. Вот и выходит: он — учитель, а мы как бы ученики. Понятно? И к тому ж, говоришь, неглуп. И Крупская то же говорила, и Скоринко... Устав, Программу обсуждали?

— Конечно. — Минаев с готовностью протянул Алексею папку. — Здесь все бумаги. Шевцов сказал: «Предварительно»...

— Ну и что?

— Да так... Большевики критиковали, а другие хвалили. «Ах, Петр Григорьевич, ах, гениально!»...

Алексей углубился в чтение, быстро перелистывал страницы, вскрикивая то удивленно, то возмущенно.

— Нет, ты посмотри: «И личное счастье, и свободу — равенство — братство пролетарских слоев, и благоденствие родины, и торжество мирового пролетариата можно и должно строить организованным трудом, воспитанием себя, просвещением и организованным политехническим образованием юношеских рабочих низов и пролетарских масс. На таком основном положении развивает свою деятельность Петроградская Пролетарская Юношеская Организация». А где классовая борьба? Мы что же, будем сидеть и смотреть, как наши отцы и матери умирают, когда они нам мировую революцию на блюдечке с голубой каемочкой принесут? Чуть свинячья. Ошибка.

Так, дальше... «Заветная цель организации — поголовное объединение всего пролетарского юношества России для самой широкой самостоятельности на почве «Труда и Света»: на началах умственного саморазвития, нравственного самовоспитания, физического укрепления, экономического самообеспечения, юридической самозащиты, культурно-политического просвещения, политехнического самообразования, ремесленно-профессиональ-

ного обучения и усовершенствования во всякой специальности и т. д.».

— Ну и ну! — посмотрел Алексеев на Минаева. Повторил: — Ну и ну!.. А где же политика? Разве юношество не должно работать в Советах, в завкомах, в милиции, в Красной гвардии? Я тебя спрашиваю?

Минаев молчал.

— И что это за «само», все — «само»... «Самозащита», «самовоспитание», «саморазвитие»... Бред сивой кобылы. Это что же выходит, что молодежь свое государство в государстве создает? «Экономическое самообеспечение» — это как? Построим свои фабрики и заводы, железные дороги? Папа на работу на своем, «взрослом» трамвае едет, сын на своем — «юношеском»? Деньги, магазины — тоже «взрослые» и «молодежные»? Сме-хо-та!

Алексеев уткнулся в Программу и тут же воскликнул:

— Ну вот, точно!.. «Создать вольный университет молодого пролетариата»... «Создать политехническую и ремесленно-промышленную академию грядущего пролетариата»... «Создать Дом труда и самозащиты юного пролетариата»... И это, по-твоему, умный парень? Ведь это ж курс на разрыв между молодыми и старшими пролетариями. Да буржуазия только и мечтает об этом! Впрочем, погоди, погоди... А если это не недомыслие, а умысел? Ну-ка, ну-ка...

И он снова взволнованно начал бегать глазами по страницам.

— Так... Так... Стоп. Смотри, что он несет, твой умный парень: «...Поголовно объединить все пролетарское юношество России и соединить его с юным пролетариатом Запада, Нового Света и других стран, особенно славянских...» Заметь, «особенно славянских...». А как же интернационализм? А как же китайцы, японцы, негры, индийцы и прочие народы? Где ж лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»?.. Нет, он не дурак, этот твой Шевцов, тут ты прав, Минаев.

Заглянем в Устав, заглянем... «Цель организации»... Ну, это все из Программы... «Права Всерайонного Совета»... «О членах организации «Труд и Свет»...» Что же он тут пишет? «Организация состоит из членов кооптированных, действительных и членов-соревнователей без различия пола, происхождения и веры». Все ясно, Минаев, с твоим Шевцовым. Знаешь ли ты, что такое «кооптированный член»? Нет? Любой, кто заплатит установленную сумму, может быть введен в состав руководства

любого органа, даже Всерайонного Совета. А коль «Труд и Свет» объединяет людей «без различия происхождения и веры», то бишь, убеждений, то это может быть любой буржуй, а хоть бы и самый лютый наш враг. Понял, куда гнет господин Шевцов?

Ага... «Особые положения»... Теперь все ясно до конца. Ты подумай только!... «Все члены Всерайонного Совета должны на заседаниях сохранять полную беспартийность... не касаться партий и лиц без особого на всякий случай разрешения Председателя Всерайонного Совета...» А председатель-то кто? Диктатор Шевцов. Это значит, я вот, например, большевик, должен сидеть и помалкивать, видя, как этот прихвостень буржуйский гнет против нас ахинею. Эх, Сереженька, друг мой... Большую авантюру затеяли с нами то ли господа меньшевики, то ли эсеры, то ли кадеты, пока не знаю, но в большую игру играют. Запомни: Шевцов враг. И точка! Классовый враг. Неглупый, тут ты прав. Но тем более опасный.

Сергей Минаев аж вспотел от волнения. Он никогда не видел Алексеева таким злым, яростным, взвинченным: скрипел зубами, стучал кулаком по столу и рвал на шее косоворотку, словно она душила его, пока не оборвал две верхние пуговицы. Губы его дрожжали.

— А может, ты того... перегибаешь, товарищ Алексеев? — неуверенно начал Минаев.

— Что?! Перегибаю?! — подскочил к нему Алексеев. — Тебе мало того, что я сказал? Это еще цветочки, а ягодки впереди. Вот утвердит Шевцов Программу и Устав, он вам покажет... На самое святое замахнулся — на молодняк. Головы без знаний, души светлые — пиши на них, как на чистом листе бумаги, все что хочешь. Под марку революции все сойдет... Но нет! Не позволим! Не дадим! Ясно?!

У Минаева даже мурашки по спине побежали: сейчас возьмет и пристрелит.

— А может, ты и прав, товарищ Алексеев, — так же неуверенно сказал Минаев. — Смородин тоже разносит эту Программу почем зря...

— Ага! — торжествующе закричал Алексеев. — Ага! Значит, дали бой? Что ж ты молчишь и главного не говоришь? Кто выступал? Что говорил?

— Я ж говорю: Смородин Петр, из Петроградского района. Потом Иван Канкин, из Невского...

— Что говорили, спрашиваю, ты можешь сказать?

— Я ж сказал: почти то, что и ты, товарищ Алексеев.

Еще требовали немедля бороться за шестичасовой рабочий день для подростков, за введение в Советы представителей молодежных организаций...

— Умница Смородин, умница Канкин! Молодцы!

— Ну, а когда Шевцов сказал, что мы пойдем на демонстрацию под голубыми знаменами мира и чистоты, а не под красными, петроградцы, невцы и я встали и ушли с заседания.

— И правильно сделали! Нам в этой буржуйской организации нечего делать.

Посидел, потер лоб кулаком.

— Вот что, товарищ Минаев, я тебе как член райкома партии задание партийное даю: ты мне все про этого Шевцова разузнай, все... Где родился, где учился, где работает и кем, с кем дружит, кто родители, партийность... Ну, все понял?

Было ясно: городская организация пролетарской молодежи уплывала из рук большевиков и надо что-то делать — идти к Петерсону и Косиору, к Крупской, в ПК. А пока надо выяснить, что это за фигура — Петр Шевцов.

II

Петр Шевцов был фигурой для своего времени незаурядной.

Отец его, сам-шесть, устроил сына во 2-ю Воронежскую мужскую гимназию, где получали образование сыновья конторщиков, мелких чиновников и торговцев, кухарок, дворников и швейцаров из «благородных домов», и тот все годы учился на «отлично», подрабатывал репетиторством с четвертого класса, а в шестом уже приносил домой денег больше, чем отец. И хоть от перегрузок нажил острое малокровие, все же гимназию закончил с золотой медалью и тут же поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию — «мечтал стать Чеховым (хорошим доктором и писателем)», как скажет он позже в своей автобиографии.

Жизнь в Петербурге складывалась трудно. Прокормиться на стипендию в 14 рублей было невозможно, приходилось опять подрабатывать, пропуская лекции и практические занятия. Все кончилось плохо: Шевцов запустил сдачу экзаменов, заболел и, озлобленный, ушел из академии.

Поступил в Санкт-Петербургский университет, опять подрабатывал агентом аптекарских товаров, сборщиком

газетных реклам, опять болел, но тянулся изо всех сил. И заработал признание «талантливого студента».

Шевцова заметил владеец «Новой маленькой газеты» И. В. Лебедев и предложил ему место секретаря редактора, за которое тот ухватился с радостью: ведь он учился на историко-филологическом факультете, пробовал себя в журналистике, стихосложении, пытался писать пьесы. И не без успеха: четыре его рассказа и многие репортажи были опубликованы, пьеса «Бельгийцы» принята к изданию и постановке, а символическая поэма «Сказание о земле Яиссарь» распространялась по чайным и пивным рабочим кварталам.

От «Новой маленькой газеты», органа полулиберального, на волне быстро распускавшего свои махровые цветы повинизма Шевцов качнулся в сторону черносотенной суворинской «Маленькой газеты»... Кое-что претило здесь «беспартийному социалисту», но платили зато хорошо.

В октябре 1916 года университет закончен. Призванный в армию, Шевцов по протекции устраивается в качестве вольноопределяющегося в полковой театр лейб-гвардии Гренадерского полка — помощником режиссера и актером на вспомогательных ролях.

Наступил февраль 1917 года... Представления Шевцова о сути и значении революции, как потом писал он сам, были крайне туманны. «Я стремился участвовать в ней, совершенно не зная о том, какие же классы в ней будут участвовать, в интересах каких именно классов я буду бороться и во имя чего».

Но надо было жить и есть. И он начинает работать в Комитете попечения о народной трезвости.

А вскоре в литературно-просветительском кружке, который Шевцов еще в 1914 году создал вместе с молодыми рабочими Яковом Бердниковым и Никифором Тихомировым, родилась идея создания юношеской пролетарской организации Петрограда...

Вот как все было в жизни Петра Григорьевича Шевцова, если верить лишь его дневникам и запискам, которые хранятся и ныне в Центральном архиве ВЛКСМ. Здесь все, пожалуй, правда — сухая, пресная, потому что лишена эта «правда», быть может, самого главного, что делает правду бумажную правдой жизни — страсти.

А Петр Шевцов был натурой страстной, хотя страсть эта была острой, но плоской как немецкий пштык: одна сторона — жажда денег, другая — жажда славы и чести. О, как он был честолобив, о, как ему хотелось «состо-

яться»!.. На каком поприще? Да, в общем, на любом, где выйдет.

Попробовал медицину... Да, жить было голодно, учиться трудно. Но академию Шевцов бросил и потому, что понял быстро и другое: здесь путь к славе долг и тернист. А время, а годы бегут!..

Ударился в литературу и журналистику. Получалось. Но как у всех. Не сказать — «не способен», но большого таланта не обнаружилось. И вдруг понял, что в журналистике есть особый смысл — она ближе некуда связана с политикой, властью. Открывались неожиданные варианты проникновения в эту заманчивую сферу, где есть немалый шанс получить то, о чем он мечтал: и деньги, и славу, ну, для начала, хотя бы известность...

Но тут случилась революция... Некстати? А может, как раз хорошо? Старая пирамида власти рухнула, новая еще не построена...

Шевцов кинулся к Чхеидзе, Керенскому: «Желаю быть полезным». И пригодился: началась борьба за массы, за молодежь, и его идея о создании пролетарской юношеской организации культурнического типа, то есть такой, которая отвлекала бы молодежь от классовых боев, от борьбы за политические права, а проще и короче — отрывала бы ее от главного политического противника меньшевиков и эсеров — от большевиков, пришлась им по душе. Люди честолюбивые, небесталанные, но не слишком щепетильные в области морали в политике бывают нужны нередко... План Шевцова получил одобрение.

«Я побывал у некоторых членов Временного революционного правительства (включая Керенского) и у членов ЦИК (включая Чхеидзе). Всякий раз я встречал отменно ласковое и многообещающее отношение, и я безгранично верил тому, что революция в надлежащих руках...» — напишет позднее Шевцов в дневнике.

Петр Шевцов выходил на авансцену истории... К этому надо было готовиться.

Первое — нужна стратегия, необходим дальний прицел. Юношеская организация — лишь момент биографии и движения к вершинам власти. Нужна своя партия. И это тоже не «придумка» автора. Да, Петр Шевцов мечтал о создании параллельно с молодежной организацией «Труд и Свет» своей партии «Всеобщего труда и равенства». Подготовил даже ее Программу и направил два экземпляра на хранение в Публичную библиотеку...

Но это — завтра. А сегодня нужна сильная личность, рядом с которой можно жить спокойно, творить смело и широко. Кто эта личность? А. Ф. Керенский — вот восходящая звезда русской революции. Будем восходить вместе... Ничего, что орбиты разные. Люди живут не на небесах, где звезда с звездой не сходится, а на земле, где пути человеческие неисповедимы, как и господни, пересекаются и совпадают порой вопреки всякой логике и всяким желаниям. А тут желание, да какое!...

Второе — надо создать образ вождя молодежного движения. Шевцов отработал позу — под Керенского. Жесты и мимику — под Керенского. Хотел и постричься под «бобрик» — под Керенского, но стало жаль свою роскошную шевелюру. К тому ж, поразмыслив, Шевцов решил, что это было бы довольно опрометчиво. Все-таки не стоит связывать свою судьбу с Александром Федоровичем уж слишком жестко. Сегодня его звезда еще не взошла, а завтра, взойдя, может вдруг и быстро закатиться. Политика есть политика, а время совсем неустойчивое... Позу и жесты можно сменить в один миг, а волосы — их не оттрастишь и за месяц.

Было еще «третье», «четвертое» и «седьмое» в шевцовских планах...

А еще Шевцов завел дневник, в который, есть основания думать, стал заносить свои не самые откровенные мысли, судя по которым потомки должны будут изучать его личность, удивляться его прозорливости, глубине и благородству души...

Вот некоторые извлечения из этого дневника, хранящегося в Центральном архиве ВЛКСМ: «Петр Шевцовъ. Мысли и замѣтки объ организации пролетарской молодежи. Петроградъ, 1917 г.»

2.VI. «Весь месяц разъезжали по районам... Жалуются, что меньшевики и эс-эры стараются «перетянуть к себе», приходят уговаривать, мешают «своими делами заниматься».

Да, надо твердо заявить всем партиям, что нам с ними не по дороге, что у нас свой более славный путь».

18.VI. «Как-то меня посетил член районного Совета, член РСДРП меньшевиков, фамилии я не спросил, интересовался нашей работой, очень хвалил, приглашал к себе. Разве пойти, посоветоваться? Но это будет изменой принципу надпартийности...

...Большевики прямые, решительные, открытые, но зачем

так грубы? У них газета «Правда», но боюсь я их и их правды!

Когда мы вторично столкнулись с Крупской в Выборгском районе, на заседании районного комитета, она так глубоко оскорбила меня тем, что назвала мелкобуржуазным говоруном, каким-то объективным агентом буржуазной, вредной для пролетарской молодежи идеологии...

...Нет, пусть большевики добиваются больше, еще больше свободы и прав для народа, за это я их глубоко уважаю, но со своей позиции надпартийности не сойду и молодежи, знамени нашему «Труда и Света» не изменю...»

24.VI. «...Денег нужно, столько денег нужно!.. Нет, среди буржуа я не пойду собирать, хотя по Уставу их можно допускать в качестве членов — почетных и за довольно крупную сумму. Нет, неудобно, против них действовать, их презирать и у них же брать подаячки. Это никуда не годится. Надо съездить в ВЦИК к Чхеидзе, Керенскому...»

Был Шевцов, судя по всему, человеком весьма беспринципным, позиции свои менял в зависимости от обстоятельств. В 1917 году он внушал членам организации «Труд и Свет» идею «надпартийности», в дневнике своем писал, что это была одна из центральных его идей в молодежном движении. И в то же самое время в тайне от всех мечтал о создании параллельно с молодежной организацией своей партии. В апреле и мае 1917 года клял большевиков за грубость и жестокость, а в октябре 1918 года, когда «убедился в своих ошибках в смысле политических исканий и понимания законов развития общества и культуры», подал заявление с просьбой принять его в РКП(б). Более того, попросил не кого-нибудь, а Н. К. Крупскую дать рекомендацию для вступления в партию. Получил отказ. Обиделся на Надежду Константиновну за то, что «раз навсегда приговорила к врагам рабочего класса или к неспособным понять марксизм-ленинизм, — прогрессировать диалектически».

Дело, конечно, не в том, что Шевцов «понял свои ошибки», а в том, что большевики победили, и надо было приспособливаться к новым условиям...

На заседаниях Всерайонного Совета, «когда его не понимали», он даже плакал, но плакал не от печали и обиды, а для них, для тех, кто не хотел его понять — слезы были оружием в борьбе. Когда однажды Крупская

приехала к нему на квартиру, чтобы поучаствовать в заседании Всерайонного Совета, Шевцов ударился в истерику, упал в «обморок»: «Мне не доверяют? Меня ревизуют?» Члены Совета упрекали Крупскую: «Вот, довели человека...»

Все бралось на вооружение Шевцовым, если «работало» на его главную цель... В 1925 году он будет винить себя за то, что в 1917 году ему, 27-летнему «юноше», непростительно было «не пойти к тому же т. Ленину лично и не посоветоваться с ним, как, куда вести попавшую в мои руки да еще рабочую молодежь революционной столицы». В самом деле — почему бы? Да потому что ближе и родней в тот момент были Чхеидзе и Керенский. К ним и ходил. А еще к принцу Ольденбургскому, что-бы дал помещение для «Труда и Света». А еще к Эммануэлю Нобелю — за вспомоществованием... Потому что «свято верил в «социалистов» вообще, «ни на секунду не сомневался в искренности и, главное, истинности слов и действий министров-социалистов», в том, что «Чхеидзе — самый отважный борец с царизмом в Государственной Думе».

А черновой работы не любил. Он — мастер, мыслитель, вождь: он речет, а остальное — дело подсобных рук. И когда пошла работа по созданию молодежной организации, с которой он связывал так много своих честолюбивых планов, то он не утруждал себя мелкими заботами, позвал Григория Дрязгова и Яшу Бердникова:

— Пора браться за дело. Пригласите, пожалуйста, ко мне сюда на квартиру, кого находите получше, проведите с ними предварительное совещание, разъясните наши основания, на которых, по-нашему, пролетарскому юношеству следует организоваться. Это основное, я думаю, можно коротко выразить «Труд и Свет».

— Хорошо, очень хорошо! Просто отлично даже! — восторженно повторял Яша. — Спасибо, Петр Григорьевич!..

Шевцов снисходительно усмехался.

— Что касается Центрального комитета, мы назовем его, в отличие от ЦК партии, Всерайонным Советом Петроградской юношеской организации, чем подчеркнем ее надпартийность...

— Замечательно, — тихо проговорил Яша.

Шевцов заложил ладонь левой руки за отворот студенческой тужурки, отставил левую ногу, выпятил грудь и с пафосом молвил:

— Да здравствует гений всемирных чудес — великий всетворческий труд! Да здравствует светоч всеильной науки!

...Дом номер десять на Большой Дворянской Алексеев нашел сразу, приходилось бывать на этой улице и раньше. Бородатый швейцар в парадном пропустил без препятствий — в последнее время к господину Шевцову что-то частенько стали хаживать такие вот обормоты в латаных штанах и косоворотках, не то, что раньше...

Дверь открыла симпатичная девушка с ладной фургрой.

— Господин Шевцов дома? — спросил Алексеев.

Девушка изучающе посмотрела на него.

— Они работают, заняты...

Но Шевцов уже выходил из комнаты, руки распростерты, как для встречи друга.

— А-а, товарищ Алексеев! Рад видеть, познакомиться.

К Алексееву подходил молодой человек, стройный, с тонкими правильными чертами лица и чуть утяжеленным подбородком. Вьющиеся черные волосы закинута назад, открывают высокий чистый лоб. Большие глаза за стеклами очков в тонкой золотой оправе смотрят дружелюбно, рот в белозубой улыбке.

— Был огорчен, что вы не были на заседании Всерайонного Совета. Здравствуйте, товарищ Алексеев.

— Здравствуйте, господин Шевцов...

— Проходите, проходите... Дашенька, подайте нам чаю в кабинет! — крикнул Шевцов.

И, положив твердую руку на плечо Алексеева, ввел его в просторный кабинет. Здесь стояло несколько высоких шкафов, набитых книгами, четыре кресла вокруг чайного столика и письменный стол, широкий, длинный, заваленный книгами и бумагами.

Шевцов усадил Алексеева в кресло, дал ему оглядеться, а сам между тем пытливо буравил его взглядом, для Алексеева, впрочем, незаметным: в глазах все то же добродушие и благожелательность.

Шевцов с какой-то тайной тревогой ждал встречи с Алексеевым. Он до сих пор четко помнил фразу, произнесенную кем-то, когда зачитывали список Всерайонного Совета: «Алексеев? Из-за Нарвской заставы? Ну, теперь держись! Этот любому нос в кровь расшибет, но все по Марксу и Ленину устроит». А когда узнал, что Алексеев — член райкома партии, депутат Петросовета,

председатель завкома на «Анчаре», что начитан и речист, насторожился вдвойне. И уж все стало ясно до конца, когда Шевцову рассказали о Нарвско-Петергофской конференции, о том, что союз в этом районе назван социалистическим. Впереди схватка...

— Очень жаль, что вас не было вчера на Совете. Такая, знаете, дискуссия разгорелась... Вот сижу теперь, подрабатываю Программу и Устав нашей организации... — начал несколько напряженно Шевцов.

— В-вашей организации, господин Шевцов, в-вашей, — отрезал Алексеев.

— Отчего же «вашей», а не «нашей»? Отчего «господин», а не «товарищ»? — в голосе Шевцова был мягкий укор и предложение мира.

— А и-потому что «товарищ» — партийное обращение, а ты, Шевцов, личность надпартийная, а в сути буржуазная. Потому и «господин». Потому и организация не «наша», а «ваша».

Шевцов снял очки, похукал на стекла, протер. Не спеша одел, уставился на Алексеева в упор, с вызовом. Молчал и смотрел.

Перед ним сидел усталый и бледный парнишка. Из ворота толстовязанного свитера тянулась тонкая шея. Лицо... ну, что лицо... Если дать этому наряду выспаться, да отмыть, да откормить, да приодеть, так и лицо, пожалуй, будет другим, не таким измученным, прямо таки несчастным. А глаза, глубокие, карие, горят, как два больших топаза, горят, прямо жгут, черт возьми...

— Надо понимать так, товарищ Алексеев, — гнул свое Шевцов, — что вы прочитали проект Программы и Устава и чем-то неудовлетворены. Я готов выслушать вас, учесть, наконец, то разумное, что вы скажете. Ведь это проект.

— А мне в вашем проекте, господин Шевцов, все не нравится. Ваша идея надпартийности, эта ваша спекуляция на славянстве, эта ваша страсть к черносотенству, и увод молодняка от классовой борьбы в какие-то домохозяйственные школы, литературно-художественные дома и политехнические академии, и членство в организации, которое можно купить любому мерзавцу с кошельком. Разве не так?

Алексеев смотрел в упор, и взгляд его проникал глубоко. Шевцову на мгновение показалось, что он увидел в его душе то тайное, о чем не знал никто.

...На днях он был у знаменитого промышленника Эм-

мануэля Нобеля. Рассказал про организацию, про ее Программу и Устав, попросил денег на общественные нужды.

Под щеточкой усов у Нобеля вспыхнула и погасла едва заметная усмешка.

— Ну что ж, мы будем на вас рассчитывать. На кого мы можем положиться?

— На меня, конечно, на меня, господин Нобель, — ответил Шевцов, не медля ни секунды.

— Это ясно. На кого еще?

Шевцов растерялся. Хвалить других, ручаться за других было не в его правилах. Вот если бы спросили о тех, на кого положиться нельзя, тут бы он не замешкался.

— Ну ладно, — раскусив ситуацию, небрежно бросил Нобель. — Ищите союзников. Побольше да поумней. Вот вам деньги.

Он отсчитал крупными купюрами триста рублей.

— Это для начала. А это — на личные расходы. — И выложил еще двести рублей.

Деньги Шевцов взял спокойно, с достоинством, хотя внутри у него пело. Идя к Нобелю, он, в общем-то, на многое не рассчитывал. Просто он был первым в списке тех промышленников и банкиров, с кем Шевцов решил повстречаться. И сразу — удача!

Нобель его спокойствие прочитал как неудовлетворенность.

— Что — мало? Будет толк — еще дам, этого дерьма у меня много. Вперед, молодой человек!..

— ...Короче говоря, — продолжал Алексеев, — нужны новая Программа и новый Устав. Принципиально новые. Другие. Согласны?

Нет, этот парнишка не советовался, не просил, а требовал! Наглец.

— И кто же их напишет? — мрачно спросил Шевцов.

Настроение, как это всегда бывало, сменилось мгновенно. В течение дня он умудрялся быть веселым и задиристым, нежным, непреклонно грозным и отчаянно унылым. Играть расхотелось.

— Мы напишем, большевики.

— Конкретно?

— Я напишу.

— А ты писать умеешь, грамоте обучен? — в голосе Шевцова была нескрываемая издевка.

— Не волнуйтесь, господин Шевцов, все будет как надо.

— Иначе говоря, все будет по Марксу и Ленину?

— Именно.

— Нет уж, увольте. Не приемлю я вашей идеологии. Как-нибудь без нее обойдемся.

Вот тут и начиналось самое главное, ради чего пришел Алексеев к Шевцову. Программа, Устав, путаница идей и мыслей — еще куда ни шло. Кто не путался в такое время? Но путаница — одно, ее можно и распутать при желании, убеждения — другое. Это уже серьезно. Кто такой Шевцов — путаник или идейный противник — вот что надо было выяснить.

— А чем же не устраивает тебя наша идеология, господин Шевцов? Она о счастье, о равенстве и братстве...

Шевцов взорвался. Вскочил с кресла, стал рубить ладонью воздух.

— Равенство? Братство? Чушь! В воцарение гомоной верили еще древние эллины, орфики. Но где оно — равенство? Стремление к равенству лишь умножает неравенство. Вот такой закон тебя не устроит? Нет? А ты оглянись в прошлое, оцени настоящее и увидишь — все именно так и происходит. И вдруг опять, через тысячи лет являются новые апостолы и за старое: «Равенство! Братство!» А каким путем, на чем предлагают они строить этот храм равенства? На крови. Как можно служить идеологии, которая утверждает, что насилие — повивальная бабка истории, что путь ко всеобщему благу прокладывается вилами и топорами, пулей и штыком, а не терпением и любовью, не всетворяющим трудом и светочем науки? Как?

Говорил Шевцов голосом бархатным, сильным, говорил страстно, фразы строил ладно и вместе с его обликом это придавало его мыслям убедительность. Алексеев слушал с интересом и не сразу понял, что Шевцов молчит потому, что ждет от него ответа.

— Видишь ли, Шевцов, — начал Алексеев, — человечество жаждет свободы...

— Ха! Свобода! — тут же прервал его Шевцов. — Неправда. Человечество жаждет сытости. Человечество жаждет роскоши. А тут-то и ждет его погибель. Ведь сказано в священном писании: «Не собирайте себе сокровищ на земле... Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Никто не может служить сразу двум господам: желудку и сердцу. Сытая душа не поет, а спит; отдохнув, разврата и новой жратвы требует. «Не можете служить богу и маммоне»... Давно известно. Или не так?

— Не так, нет! — возразил Алексеев. — Ибо сказано и другое: «Сыт голодного не разумеет». Когда человеку жрать хочется, то первое, что лезет ему в голову, — мысль о хлебе и о том, как его добыть. Вот и говорят, что «голод правит миром». Правильно сказать, миром правят с помощью голода всяческие гады — эксплуататоры. Потому тут не до «светоча науки», не до «красоты жизни», как это у тебя в Программе сказано. Тут бы только не поддохнуть. Вот потому и бьемся за свободу, которая подразумевает и сытую жизнь... И вообще, странно все выходит. Ведь вся твоя Программа и Устав прямо-таки набиты словами о равенстве, братстве и свободе. Что же выходит, если тебя послушать?

— А-а... — махнул рукой Шевцов. — Слова. В идеологию играем. Вы-то, большевички, тут больше всех преуспели. Вы без идеологии просто ничто. Идеология вам нужна. Она вместо религии. Ведь должны же миллионы темных и невежественных людей во что-то верить, чем-то жить, на что-то надеяться. Без нравственных устоев Россия рухнет. Русскому мужику нужен бог или царь, или что-то такое, что их заменяет. Что? Идеология. Вера в нее. Пока — вера. А потом родятся догмы, суеверия, предрассудки — и нет идеологии, а есть та же религия. А я ее ненавижу. Так закончится ваш идеологический век.

Алексеев злился, но сдерживал себя. «Нет, нет, пусть говорит, надо знать все его нутро». Опустил голову, глаза — в пол, пальцы сцепил так, что побелели.

— «Суета сует, все суета. Что было, то и будет, что творилось, то и творится. И нет ничего нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость. А уже было оно в веках, что прошли до нас», — процитировал Шевцов. — Откуда это, знаешь? Екклезиаст. Что такое, знаешь?

— Не знаю, — разозлился Алексеев. — Плевать мне на это... как сказал?

— Екклезиаст... — снисходительно улыбнулся Шевцов.

— Так вот, плевать мне, на этот Екклезиаст и на тебя вместе с ним. — Алексеев злился все больше. «Нет, эта черносотенно-кадетская гадина издевается надо мной, все показывает свою образованность». — Того, что делаем мы, не было никогда. И ты это знаешь, — сказал он вслух.

Шевцов видел, что Алексеев злится, понимал почему и продолжал «заводить» его.

— Вы, большевики, спешите. Во всем. С революцией. С диктатурой. С Советами. С национализацией. Со всеми своими идеями спешите. Они не выживут, умрут, ибо все надо делать в свое время. «Всякому свой час, и время всякому делу под небесами: время родиться и время умирать, время насаждать и время вырывать насаждения, время убивать и время исцелять, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время рыданию и время пляске, время разбрасывать камни и время складывать камни...» — Шевцов говорил нарастающим тоном, словно молитву читал, а Алексеев понял, что он снова цитирует, и уже ощерился в ожидании традиционного вопроса: «Откуда это?», когда Шевцов, закончив говорить, усмехнулся:

— Это опять Екклезиаст... Так что дело не в том, что я — против тебя, меньшевики — против большевиков и тэпэ. Против вас время, логика исторического развития. Плод должен вызреть и упасть сам. Вы ж погоняете время, хотите превратить его в своего раба, но еще никто не властвовал над временем. Оно отомстит вам, кланусь. Время — шутка убийственная. Тебя, например, Алексеев, оно очень скоро шмякнет башкой о какой-нибудь столб на повороте истории, да так, что мозги навывлет... Ты не злился и не морщи лоб... Тебе не понять меня. Почему? Культуры тебе недостает, Алексеев, простой культуры. Философичности, то есть умения и потребности слушать собеседника, задумываться над его аргументами, желания понять его, увидеть хоть самую малость его правоты...

Шевцов смотрел на Алексеева с сожалением, говорил с сожалением, головой качал, сожалеючи. Алексеев покраснел.

— Да, Шевцов, насчет грамотешки моей ты прав. Такая уж жизнь у нас, у рабочих! Но жизнь эта научила меня наиважнейшей науке — бороться против врагов народа. Я знаю, главное — свобода, главное — мировая революция. Кровь? Значит кровь. Смерть? Что ж, приму и смерть. Те, что останутся в живых, станут грамотными и счастливыми. А моя доля — бороться, сволоту всяческую изводить.

Шевцов сощурился зло, ненавидяще.

— Сволота — это, по-твоему, и я тоже? А?

— Да, и ты. Раз ты встал на пути к правде и свободе — ты сволочь. Тебя надо убрать с этого пути.

— Как опасно ты заблуждаешься... Чуть что не потвоему — убрать, значит, убить. А ведь я совсем не против свободы. Я тоже за нее. И умереть за нее готов. Методы борьбы за эту свободу — вот в чем мы расходимся...

— Врешь, все ты врешь, Шевцов. Не верю я тебе. Ни в чем, ни капельки. Ты в нас только недостатки ищешь. Тебе хотелось бы найти что-то ущербное, «компромэ», так сказать: жестокость, глупость, хамоватость, жадность. Главного не видишь — самоотречения, бескорыстия. Нам ничего не надо. Мы живем для будущего.

Шевцов злорадно рассмеялся.

— И ты веришь в то, что говоришь?

— Верю. В лучшее нельзя не верить.

— Верить можно во все, что угодно. Древние поклонялись животным и зверям, птицам и рекам. Верили, что от них зависит их счастье. Потом образам человеческим, потом придумали Иисуса, Магомета, разных ангелов: стыдно стало зверью и воде жертвы приносить. Помучили. Теперь стали верить, что счастье не на небесах, а на земле искать надо. И изобрели новых богов, земных. Вон ведь вы большевики — повешали портретов Маркса, Энгельса. А теперь еще и Ленина. Кошмар! Чем не религия?

Алексеев усмехнулся, перебил Шевцова.

— Ты слепой, что ли, Шевцов? Ты посмотри, что на улицах творится. Люди такие единые, такие сплоченные, словно все сплошь счастливые, ты видишь? Вера вера рознь. Да, мы верим. Но наша вера вытекает из жизни, из самой жизни взяты наши идеи, усек? Правила из жизни, а не жизнь по придуманным правилам. Вот где загвоздка и разгадка. Коммунизм — не «чистая» идея, не набор придуманных правил жизни, а сама жизнь, организуемая по естественным законам человеческого бытия. Да, идеология. Но научная — вот где вторая загвоздка, которую ты не понимаешь. Мы людям взгляд в будущее открываем.

Алексеев умолк, вдруг поймав себя на мысли, что это очень складненько у него все получилось. Шевцов нетерпеливо постукивал ногой по полу.

— Закончил? Теперь позволь мне продолжить свою мысль. Я главного не договорил. А главное — это то, чем кончает любая религия, идеология. «Счастливые люди»!..

«Энтузиазм, восторг»... Да так рождались все религии до единой — на восторге, на вдохновении тех, кто утверждал новую веру. И на крови тех, кого обращали в эту веру, кто еще не дорос до нее, кому она не нужна пока, кто вполне обошелся бы старыми догмами. Но такова уж сила новых идей — они хотят не просто жить, а именно властвовать. А где власть, там жестокость, принуждение. Забавные вы люди, большевики: говорите о свободе, боретесь за нее, а именно свободу и попираете. «Счастье»! Смешно! Разве можно сделать человека счастливым насильно, заставить испытать счастье? Вот ты можешь полюбить меня, если тебе прикажет даже твой Ленин? Не сможешь, потому что ненавидишь меня. Как и я тебя, впрочем... Но я отвлекся. Так вот: энтузиазма хватает ненадолго. Ведь нельзя всю жизнь жить в восторге, как и стоять на цыпочках. Рано или поздно нужно встать на полную стопу, вернуться к заботам о хлебе, об одежде, удовольствиях. Вот тут и начинается борьба между апостолами за сытую и почетную жизнь. А когда умрут ваши земные боги, а они умрут, как умерли Маркс и Энгельс, тогда начнется толкование их идей, которые скоро станут догмами, а место праведной жизни, которую ты сегодня ведешь, займут обряды, празднества. Все кончается лицемерием, ханжеством, падением нравов, что и означает приход новой веры, новой религии. Вы можете даже победить. Весь вопрос в том, насколько вас хватит.

— Ах, Шевцов, Шевцов, тебе бы в проповедники, в прорицатели... Обещаю тебе: нас хватит навсегда. Много, конечно, изменится. На то и жизнь. А идеология, а вера наша коммунистическая останутся. И догмами не станут, потому что они ведь научные. А наука — она от жизни. Будет изменяться жизнь — будет развиваться идеология. Но она будет все та же, все о том же — о справедливости. Стремление же к справедливости вечно, как сама жизнь. Вот чему учат наши «боги». И я в эту идею верую.

— И в сплоченность вашу я не верю. Она, как и все, изнашивается. Не дай бог, победите, возьмете власть... Вот тогда все и начнется, когда станете делить «пирог», вот тогда и посмотрим на вашу сплоченность. Когда солдаты идут в бой, они ведь тоже сплоченные: впереди — победа, впереди — добыча. А как начинают дележ — хватают друг друга за глотки.

Ах, Алексеев, Алексеев... Смешон ты в своей вере.

Словно слепой. Собственно, таким и должен быть, ведь ты фанатик.

Шевцов умолк. Он вдруг обрел равновесие духа, успокоился. Что ему, собственно, этот большевичок? Так, предмет для правоучений. Ну, выступит, ну, покричит, да и успокоится. А за ним, Шевцовым, реальная власть — председатель ЦИК Петросовета Чхеидзе, министр и звезда первой величины Керенский, богатеи Нобель, принц Ольденбургский и иже с ними.

А у Алексеева мутнело в глазах от бешенства, рука сама собой не раз уже ложилась в правый карман пиджака на рукоятку нагана и он, опомнившись, выдерживал ее оттуда в опаске, как бы не натворить беды. Но он был доволен собой: Шевцов ясен до последней капли.

— Вот я смотрю на тебя, Алексеев, и жаль мне тебя. Ты ведь полуживой. Ну, подойди к зеркалу, глянь на себя. Не хочешь? Глаза провалились, впалые щеки. Бледен. Худ. Оборван. Грязен. И только глаза горят неестественным светом, говоря о том, что ты еще жив и ты здесь, на этой грешной земле, а не в мире ваших сумасбродных идей. Или и сейчас паришь? А между тем, наверное, уже давно готов чай... Дашенька, где же чай? — крикнул Шевцов опять в глубину квартиры.

— Не нужен мне твой чай, Шевцов. Ты вот что, ты веру мою не тронь. Не я святой, а она святая. И как угодно ты меня называй, хоть фанатиком, хоть еще кем, но я верую. Я за эту веру умру, а будешь травить — застрелю, как собаку, потому что это самое дорогое, что есть у меня на земле...

Губы у Алексеева дрожали, он побледнел.

Шевцов испугался. На Дашу, когда она вошла с чаем, глянул так, что она чуть поднос из рук не выронила.

— Ну хорошо, хорошо, Алексеев, не волнуйся. Мы же просто разговариваем, спорим, философствуем. Меня еще в университете называли «философ по натуре»... Допустим, ты прав. Допустим... Успокойся. Ты живешь ради будущих поколений. Ты веришь в эту идею, ты ей следуешь. Значит — это твоя философия жизни, твоя религия. Веруй, исповедуй, проповедуй, поклоняйся. Это твое право. Но!.. — Шевцов поднял палец, выдержал паузу, глядя на Алексеева в упор и очень серьезно. — Но! — повторил он. — У меня есть своя философия и свои боги. Имею я право веровать их учению? Имею. Я знаю, что большевики за свободу вероисповедания. Так позвол

мне пользоваться этой свободой и жить по своим законам, быть апостолом своей идеи и бороться за нее...

Шевцов ходил по комнате, нервно ломал пальцы и говорил, говорил, останавливая Алексеева то взглядом, то рукой, когда тот пытался встрять в его монолог. Алексеев, наконец, понял, что теперь надо опять просто слушать: Шевцов не проповедует, нет, а исповедуется. Да и совсем небезынтересно было все, что говорил Шевцов. Он волновался, лицо его покраснело, черные волосы растрепались, и он отбрасывал их назад резкими взмахами растопыренной пятерни. Он был красив.

— Умные люди, Алексеев, жили на земле и до твоих вождей. Оч-чень много оч-чень умных людей!.. И они думали, находили свои ответы на вечные вопросы — о смысле жизни, смерти и бессмертия. Представь себе, очень разные, но подходящие для разных людей, ибо не может быть истины, которая бы устроила весь мир. Потому что он состоит из разных людей... Это очень просто — поделить его на рабочих, крестьян, кровопийц — буржуа и такую... так себе, дохленькую, болтающуюся между этими, как вы их называете, классами, прослоечку, то есть интеллигенцию, к которой я имею нахальство и честь себя причислить...

А можно поделить мир еще на сильных и слабых физически, сильных и слабых волей, сильных и слабых умом... Зачем делить? — природа изначально сама, без нас именно так и поделила людей! Причем так, что есть не просто сильные, а очень сильные, самые сильные, гиганты ума и духа, есть не просто глупые, а полудурки и полные идиоты, больные и калеки, развращенцы и подлецы. От природы, понимаешь? И среди рабочих, и среди крестьян, и среди капиталистов, и среди — увы! — интеллигентов.

Вы загоняете вопрос о смысле жизни в нравственную область и там ищите на него ответ. И будьте здоровы... Но человек — это сначала животное, биологическое существо, физическое тело, состоящее из молекул и атомов. Чтобы эти частицы жили и были здоровыми, их надо питать. Просто питать — это первая их потребность. Иначе они распадутся и нечто, именуемое живым человеческим телом, человеком, станет трупом...

Шевцов остановился, уловив усмешку Алексеева.

— Ты смеешься, Алексеев, будто тебе известно нечто такое, что мне не доступно, будто ты самого бога за бороду ухватил. Или я не о том? Да, пожалуй, я говорю

не о главном. Так вот главное... Жизнь не имеет смысла. Смысл жизни — в самой жизни. Иначе говоря, бессмыслица есть главный смысл жизни и смерти. Бессмысленна любая жизнь, даже жизнь ради будущих поколений, бессмысленна любая смерть, даже смерть ради жизни любимого тобой человека или всего человечества. Ибо все все равно умрут. И потому глупо заботиться о будущем, страдать ради него. В будущем, когда мы умрем, нас не будет. Мы живем в настоящем, и надо уметь наслаждаться им, то есть жить. Вот единственно разумный способ заботы о будущем. Потому как, если ты здоров и весел, весел и здоров, то оставишь здоровое и веселое поколение после себя.

Ну, и самое главное. Из неравенства в силе ума, духа, воли и тела вырастает неравенство в положении людей внутри общества: сильные правят слабыми, помыкают очень слабыми и уничтожают, как отбросы человечества, тех, кто не в состоянии служить его сильной и здоровой части. Сильный человек, возвышающийся над толпой, — вот моя вера и моя религия. И когда я восхожу на свой пьедестал — сгинь с дороги, убью...

Шевцов играл желваками, красивое лицо его исказилось. Верхняя губа как-то неестественно приподнялась, он оскалился. Было в нем что-то от зверя. «А ведь и убьет, точно», — подумал Алексеев и продолжал наблюдать за Шевцовым. Тот сел в кресло, вытащил пачку папирос, закурил и, с прищуром глядя в сторону от Алексеева, молчал.

— Знаешь, Шевцов, а ты сейчас и впрямь на зверя похож, хотя нет, ты не зверь, а человек и умный... или — как это по-твоему? — сильный человек... человек. А кто же тогда я? Ростом невелик, цветом, как говоришь, сер, лицом худ, каких тыщи, ну, а начитанностью и сравниться с тобой не могу. Выходит, я из слабых и ты — мой господин. Так, что ли, отвечай?

— Ты говори, говори — теперь я послушаю. Что имеешь возразить по существу сказанного? — Шевцов сказал это тяжело, устало.

— А мне не н-равится твоя фил-лософия и б-быть твоим р-рабом я не желаю!.. — Алексеев стал заикаться. «Волнуюсь. Надо успокоиться», — сказал он себе. Помолчал. — Выход? Борьба. Какими средствами? А всеми. Говоришь — «убью»? А если я тебя? Ах, ростом не удался. Да я тебя в момент заломаю, только кости треснут. Книг на тыщу меньше прочитал, это верно. Но я бу-

ду знать больше твоего! И сравняюсь с тобой, и обгоню. Разве я виноват, что родился за Нарвской заставой, в деревне Емельяновке и отец мой грамоте не учен? Сравняюсь, Шевцов, потому как и волей я не слабее тебя. А ты мне и мне подобным отказываешь в этом. Не выйдет, красавец ты наш. Ну, а про бессмертие — это я так, пожалуй, для красоты сказал. Хотя хочется мне, чтобы люди помнили обо мне долго-долго... Но не мечтами об этом я занят, а делами. У меня просто времени нет думать о таких штуках. Мне дан жизненный капитал, и я хочу лучше использовать его, лучше. Что это значит? Это значит, не тратить бесценного времени на пустяшные дела, а тратить его на завершение той жизненной задачи, которую я себе поставил. Что это за задача? Это революция, это борьба за то лучшее, что должна приносить человеку жизнь. Я хочу устранить из жизни нужду, пороки, преступления, насилие одного человека над другим, подлость, невежество, грубость... Все, что убивает человека, унижает его. И я не жду ничего лучшего от жизни, а только от самого себя. Работать, работать, работать ради этого — вот вся моя идея. И ты не вставай на дороге, когда я иду с нею, ты не трожь ее — убью. Появл?

Шевцов рассмеялся.

— Я — «убью», ты — «убью»... Это я давно понял. Но ты так ничего и не ответил мне по сути.

— Причем тут слова? Я делом отвечу. Жизнью. А в твоём Всерайонном Совете мы работать не будем, это ты знай. И к нам в район нос не суй со своими идейками, понял?

— Очень жаль, очень жаль, — ответил Шевцов. А про себя подумал: «Вот и прекрасно!»

III

— Вы — Алексеев? Здравствуйте. Мне с вами поговорить надо. — Черноволосая смуглая девушка, брови вразлет, словно крылья ласточки, протягивала Алексеву руку.

Алексеев чертыхнулся, но руку пожал.

— Слушай, а может, как-нибудь в следующий раз? Ужасно тороплюсь.

Он спешил в клуб завода Лангензипена, где «трудосветовцы» без ведома районного оргбюро собрали моло-

дежь для агитации в свой союз. Задержка была некстати.

— Что у тебя? Садись. Ну? — нетерпеливо спросил девушку.

Девушка была явно задета таким приемом.

— Мне Надежда Константиновна Крупская посоветовала встретиться с тобой. Но вы такой занятой... Я, пожалуй, пойду, — проговорила она, покраснев.

— Да постой ты! — остановил ее Алексеев. — Крупская? А что случилось?

— Ничего. Просто вчера Елена Дмитриевна Стасова познакомила меня с Владимиром Ильичем Лениным и Надеждой Константиновной. Говорили о молодежи, ну вот, она и посоветовала... Но раз ты занят... Я пошла.

— Да стой ты, вот тоже мне! — взял девушку за рукав Алексеев. — Ты кто такая?

— Ну, надо же, какой вы вежливый... Я — Люсик Лисинова, приехала из Москвы на VII Всероссийскую конференцию большевиков. С Еленой Дмитриевной мы давно знакомы, к тому ж она в ЦК отвечает и за работу с молодежью. Ну, вот и...

— Слушай, ты меня извини. — ступевался Алексеев. — Так бы сразу и сказала. Что же мне делать?..

Он покреб затылок, взъерошил волосы.

— Мысль! Пойдем на завод вместе, а? По дороге и поговорим. Опаздываю.

И они пошли.

— Надежда Константиновна мне ваш районный союз молодежи хвалила и ругала председателя городской организации... Шевцова, кажется. Называла его мелкобуржуазным элементом, говорила, что такие, как он, пролетарскую молодежь развращают идейно... Ты мне скажи поподробней, в чем тут у вас дело?

А сама едва поспевала за Алексеевым, все подбегала, чтобы не отстать от него.

Горячась и волнуясь, Алексеев рассказал ей о Программе и Уставе «Труда и Света», но больше всего крыл Шевцова, себя и своих друзей — как могли проглядеть, что такой тип во главе организации оказался.

К началу собрания в клубе они опоздали. Стоя у сцены, речь держал Дрязгов, заместитель Шевцова. В зале сидело человек сто подростков.

— Вот ты теперь послушай, что будет городить этот «мек», — шептал Алексеев Лисиновой. — Про «голубое знамя молодости и невинности», про «светоч науки», про

«силу молодости, исполненной стремления к красоте жизни»... Ну, что я тебе говорил? — толкал он ее в бок. — Это и есть «шевцовщина». А теперь посмотри на этих мальчишек. Рты пораскрывали и глотают все, что несет господин Дрязгов, и глотают... А это не шуточки. Эту чухь из их голов нам потом придется выколачивать...

Между тем Дрязгов свою речь закончил.

— А теперь прошу тех, кто разделяет идеи Программы и Устава пролетарской юношеской организации «Труд и Свет», подходить ко мне и записываться, — и сел за столик рядом со сценой, опасливо косясь в сторону Алексеева.

— Одну минутку, господин Дрязгов и товарищи рабочее юноши! — выступил к сцене Алексеев и встал рядом с Дрязговым. — Я — председатель оргбюро районного Союза социалистической рабочей молодежи. Я хочу сказать, что организация, в которую вас зовет этот господин, никакая не пролетарская. Не трепыхайся, Дрязгов, помолчи, — остановил Алексеев Дрязгова, открывшего рот, чтоб возразить. — Одно дело, что она состоит из пролетарского молодняка, а другое, что во главе ее стоит господин Шевцов — мелкий буржуйчик, который служит большим буржуям и который знать не знает и знать не хочет, что нужно рабочему юноше, чем он страдает и живет. Вот ты, паренек, чего ты хочешь, о чем мечтаешь?

— Я? — переспросил парнишка лет пятнадцати, сидевший прямо напротив Алексеева. — Я — о нагане...

— Вот-вот! — вставил Дрязгов. — Ты дай им по нагану, Алексеев, они начнут палить в кого попало, и прольется невинная детская кровь.

— Да, пойду стрелять в юнкеров и офицеров, и пойду! — зло выкрикнул парнишка. — Они моего отца на ка-торге загубили, а я терпи? И убью!

Собравшиеся задвигались, загудели.

— Я бы свой наган тебе отдал, парень, коль ты о нагане мечтаешь. Вот этот, — повертел в руках свой наган Алексеев. — Да маловат ты пока. А подрастешь — получишь и отомстишь за отца. Но бороться против буржуев надо сегодня, немедленно! Иначе украдут у нас революцию господ Чхеидзе и Керенские с помощью господ Шевцовых и Дрязговых... Они ведь какие? Вроде и за революцию, и в то же время с буржуазией сожительствоуют...

Раздался хохот.

— Они зовут вас встать под «голубое знамя молодости

сти и невинности». Но разве видели вы голубые знамена у революционеров? Знамя революции красное, потому что в жилах наших красная, а не голубая кровь, потому что оно обогрено кровью этой, кровью расстрелянных и повешенных лучших сыновей и дочерей нашей России, ваших отцов и матерей, дедов и прадедов.

Юношам «Труд и Свет» сулит дать в руки «светоч знаний», девушкам обещает помочь стать хорошими хозяйками. Что ж тут плохого? Ничего. И мы, большевики, зовем народ и юношество в светлое будущее, в новую прекрасную жизнь. Только эту жизнь надо сначала завоевать, а не ждать, когда она с неба свалится, когда ее нам подарят отцы и матери. И если им сейчас трудно в этой борьбе, разве не должны мы помочь им? А может, и умереть за светлое будущее в этой борьбе? — И это тоже счастье — погибнуть в полете, орлом, а не жирной перепелкой, которая прячется от всех в траве. Вот такой союз — союз молодых борцов — создают большевики, и кто хочет быть настоящим революционером — подходи, записывайся в Нарвский социалистический союз рабочей молодежи!..

Зашевелились, загладели пацаны, не зная, как поступить, к кому подходить — Алексеев, отодвинув бумаги Дрязгова, расположился за тем же столом.

Постепенно образовалось две очереди: одна к Алексеву, другая — к Дрязгову. И вот ведь обида — эта очередь не была меньше.

— Ну, сколько записал? — спросила Лисинова, когда они вышли из клуба.

Алексеев посмотрел список:

— Двадцать семь человек.

— А Дрязгов, пожалуй, больше.

— В том-то и беда.

— Разве можно вот так, просто записывать в союз, выдавать билеты, даже не спросив, знает ли Программу и Устав союза? Ведь в социалистическом союзе должны быть самые сознательные, отборные... Борцы, ты же сам говорил.

— Э-э, нет! — возразил Алексеев. — А не самых сознательных, их куда же — Шевцову отдать? Дудки. Дозреют в борьбе.

— А мы в Москве хотим создать союз сплошь из партийной молодежи, из самых-самых... лучше меньше, да лучше. И чтоб при партии непосредственно, как ее секция.

Алексеев посмотрел на Лисинову серьезно, возразил резко.

— Ну, и будете сектантами. Союз молодежи должен быть массовым, потому что он ее приготовительный класс, резерв, что ли. Но это, конечно, дело ваше. Главное, чтобы не отдать молодежь шевцовым, не допустить «шевцовщины»... Опасно.

Да, ситуация в молодежном движении Петрограда сложилась непростая.

Молодежь валом валила в «Труд и Свет». Авантюристичность идей Шевцова ей пока была непонятна, а тяга к знаниям, культуре, организованности была огромной. Еще давали себя знать всеобщее ликование и восторг от победы над царизмом, разгул мелкобуржуазной стихии, бессознательно-доверчивое отношение к Временному правительству, которыми были поражены не только молодые, но и зрелые по возрасту рабочие. Это было так ново — у рабочего молодняка, у тех, кого угнетали больше всех, у кого прав меньше всех, своя собственная организация! Это было так заманчиво и интересно — самим, отдельно от взрослых, которым всегда не до молодых, собираться, самим решать свои дела и делать их так, как хочется...

Из всех районов Петрограда только в трех: Нарвско-Петергофском, Петроградском и Невском в работе союзов молодежи обеспечивалась большевистская линия, потому что во главе их стояли большевики: Василий Алексеев, Петр Смородин, Иван Канкин. Всерайонный Совет «Труда и Света», особенно его Президиум, были эсеро-меньшевистскими. После ухода из Совета представителей Нарвско-Петергофского района влияние большевиков в нем совсем ослабло.

Шевцов процветал. Имя его зазвучало в кабинетах министров Временного правительства, в Петросовете, в гостининых промышленников и банкиров. Принц Ольденбургский предоставил для нужд Всерайонного Совета один из своих особняков на Большой Дворянской, прямо напротив дома, где жил Шевцов. Сейчас в нем шел ремонт.

Обстановка, между тем, требовала от большевиков предельной концентрации всех общественных сил: контрреволюция не дремала. Не сумев «заморозить революцию», она стремилась расслоить ее, расстроить, обессилить. Был придуман план эвакуации многих промышленных предприятий. Говорили: «Чтобы разгрузить столи-

цу». На самом деле — чтобы избавиться от революционного пролетариата. Временным правительством был предложен план «освобождения» города от солдат Петроградского гарнизона... Росла разруха. Душила дороговизна. Зловещий призрак голода уже бродил по столице. Попустительство разгулу и вакханалии контрреволюционеров до крайности озлобляли народ. Но расчет на этом и строился: чем хуже, тем лучше. Массы рвались на улицу, зрел протест. Буржуазия ждала повода, чтобы задуть революцию...

Министр иностранных дел Милюков говорил, что «ленинизм не есть случайное явление, что он имеет почву среди рабочих, и если против этого течения не принять решительных мер, то стране грозит гибель».

Министр Временного правительства Ираклий Церетели на заседании Исполкома Петросовета, президиума и бюро фракций I Всероссийского съезда Советов публично обвинил большевиков, которые готовили на 10 июня мирную демонстрацию, в заговоре против правительства. Бледный, как полотно, то ли от страха, то ли от волнения, он заявил: «Контрреволюция может проникнуть к нам только через одну дверь: через большевиков. То, что делают теперь большевики, это уже не идейная пропаганда, это заговор. Оружие критики сменяется критикой оружия. Пусть же извинят нас большевики, теперь мы перейдем к другим мерам борьбы. У тех революционеров, которые не умеют достойно держать в своих руках оружие, нужно это оружие отнять, большевиков надо обезоружить...»

Но демонстрация, которая была назначена I Всероссийским съездом Советов и в которой большевики решили принять участие, развеяла в пыль сказку о их «заговоре»: подавляющее за малым исключением большинство участников 500-тысячной демонстрации несло большевистские лозунги, предложенные массам через газеты накануне.

Это случилось не само собой. Борьба за массы, выдвинутая Лениным как важнейшая задача сразу после возвращения в Россию, продолжалась.

8 мая в Морском корпусе на Васильевском острове состоялось общегородское партийное собрание большевиков. Собралось более 5 тысяч человек. С докладом выступил Ленин. Раскрыв основное содержание решений VII Всероссийской конференции РСДРП(б), он поставил перед петроградскими большевиками задачу: завоевать

на сторону партии прочное большинство трудящихся столицы. Большинство. Прочное. Это был вопрос авторитета партии, ее жизни или смерти, в конце концов — судьбы революции.

Завод за заводом, фабрику за фабрикой, полк за полком завоевывали большевики на свою сторону. Бывали дни, когда в большевистских райкомах выстраивались целые очереди желающих вступить в партию.

Муниципальная кампания по выборам в районные думы показала, что чаша весов от эсеро-меньшевистского засилья быстро клонится в сторону большевиков. Частичные, досрочные перевыборы в Петросовет и районные Советы показали то же самое. Сотни антивоенных митингов, проведенных большевиками в полках, ощутимо повлияли на настроение солдат Петроградского гарнизона. Большевики заняли прочные позиции в рабочей милиции и Красной гвардии. В мае уже практически все фабрично-заводские комитеты Петрограда возглавляли большевики. Бюро работниц, которым руководила Вера Слуцкая, усилило работу с женскими секциями при райкомах и группами работниц на предприятиях.

Со всей остротой в повестку дня встала задача усилить работу с молодежью.

30 мая на заседании ПК РСДРП(б) поднят вопрос о борьбе против буржуазного влияния в юношеской организаций («Труд и Свет» — И. И.). С беспокойством говорилось о том, что «к ним уже проник либерал и пользуется большим влиянием среди них».

6 июня Исполнительная комиссия ПК создала специальную комиссию по работе с молодежью, в которую вошли Н. Крупская, И. Рахья, Г. Пылаев, М. Харитонов и другие видные работники партии. По поручению ПК и райкомов партии в работу с юношеством были вовлечены В. Менжинская, В. Слуцкая, С. Косиор, А. Ильин-Женевский, А. Скороходов, А. Слуцкий.

В эти же дни по указанию Ленина в «Правде» по вопросам молодежи трижды выступила Крупская. 27 мая вышла ее статья «Союз молодежи», 30 мая — статья «Борьба за рабочую молодежь», 20 июня — «Как организоваться рабочей молодежи», в которой предлагался проект Устава союза рабочей молодежи России.

А во второй половине июня Косиор предупредил Алексеева, что они, а также член Исполнительной комиссии ПК В. И. Невский и председатель Путиловского завкома А. Е. Васильев приглашены на беседу к Ленину. Тема оз-

начена заранее — о молодежи. «Готовься», — сказал Косиор и повесил телефонную трубку.

Алексеев пораньше ушел из райкома, чтобы собраться с мыслями. Ночевать поехал к матери, в Емельяновку, где его уже ждали и не чаяли видеть. Снял одежду, отдал матери — подстирать, подштопать, — а сам забрался под одеяло.

— Ну, семья, налетай с вопросами! Сколько уж не виделись — месяц или боле?

Но пока собирали на стол, Алексеев уснул. Будить его не стали: знали, что бесполезно. Сидела рядом на стуле мать, штопала локти на рукавах пиджака, колени на брюках, смотрела на своего старшенького и нет-нет закипала слезы, мешая работать. Наденька сидела на краешке кровати и гладила Василия по волосам. Отец смолит сигарку, о чем-то тяжело думал, вздыхал. Братья прибегали с улицы: «Все спит?»

Ничего этого Алексеев не слышал и не видел. И сны ему тоже не снились.

Может, это и была лучшая «подготовка» к встрече с Лениным, потому что проснулся он свежим, веселым, надел отглаженную одежду, жадно поел и заторопился: встреча была назначена на одиннадцать ноль-ноль. На улице Широкой у дома 48/9, где на квартире Елизаровых жили Ленин и Крупская, следовало быть без десяти одиннадцать.

На подходе к дому Алексеев обратил внимание на прогуливающихся молодых парней: «Наши, берегут. Это хорошо». А вот и Косиор, Невский, Васильев...

Позвонили в квартиру ровно в одиннадцать. Дверь быстро отперли.

— Можно, Владимир Ильич? — выступил вперед Косиор.

— Даже очень! Жду. Здравствуйте, товарищи, проходите. Вы — Васильев, угадал? А вы — Алексеев, не так ли? Дайте-ка я на вас гляну. Так, запомнил. Много о вас от Надежды Константиновны слышал.

Ленин бросал на каждого быстрый искрометный взгляд и тут же переводил на другого, будто фотографировал. Подвел к столу.

— Садитесь, товарищи, а я потерзаю Василия... Петровича по батюшке, кажется, не ошибся? Прошу чайку с «таким», уж извините, с продуктами сами знаете... Итак, к делу, по порядку.... Слышал: на Путиловском собрание молодежи прошло, три тысячи собралось — прекрасно!

Докладчик — вы, товарищ Алексеев, доклад отличный сделали. Районную организацию рабочей молодежи создали, вы — ее председатель. Это я все знаю. Меня интересует, велико ли на заводе и в районе влияние на молодежь меньшевиков, эсеров, анархистов. Что скажете, товарищ Алексеев?

— Недавно, даже месяц назад, еще было значительным, Владимир Ильич. Но апрель, а теперь июньская демонстрация все перевернули. Молодежь идет за большевиками...

— Ваше мнение, товарищ Васильев? — спросил Ленин.

— Выборы в завком показали расстановку сил... Из двадцати двух членов завкома всего два эсера, один меньшевик, один анархист, зато шесть большевиков и двенадцать беспартийных, из них семеро сочувствуют нам.... Большинство обеспечено.

— Это замечательно, но не успокаивайтесь... Во всех ли цехах большевики прикреплены к молодежным группам?

— В большинстве, — неуверенно ответил Васильев.

— А надо, чтоб во всех. Товарищ Косиор, обратите внимание. — Ленин сказал это мягким тоном, но твердо, и это звучало как приказ.

— Хорошо, Владимир Ильич.

Ленин откинулся на стул, устремил взгляд куда-то далеко.

— Вопрос молодежи, товарищи, это вопрос нашего резерва. Надо учесть и текущий момент: предстоящие выборы в Петроградский Совет и Учредительное собрание... Важно обеспечить большевистское большинство в этих органах. Молодежь, и прежде всего рабочая, во многом решит исход всей борьбы...

Алексеев вспоминал: «Сколько раз я уже видел Ленина? На Финляндском... На Апрельской конференции... 1 мая на Марсовом поле.... В Морском корпусе.... На Путиловском во время митинга, совсем близко. Но вот так, рядом — впервые». И не то, чтобы робость охватила его, нет. Но было ощущение, будто ты попал в сильное магнитное поле и под его действием и кровь, и мысли твои стали двигаться с удесятеренной скоростью и какая-то легкость овладела телом. Воодушевление? Восторг? Что это? Алексеев впитывал каждое слово вождя и в то же время вторым планом пытался осмыслить происходящее, запомнить каждую деталь.

«Да, безусловно, это самая умная пара глаз, которую я когда-либо видел, — думал Алексеев. — Как врос в работу, сколько деталей уже запомнил! Будто это не его всего несколько недель назад встречал восторженный народ после долгого отсутствия в России, будто он уже год в Питере... Во взгляде — широта и расчет, мысль о том, куда направить молниеносный удар. В словах и движениях — возвышенность над мелким и обыденным.

На столе разбросаны бумаги — писал... Как хорошо, как заразительно он смеется!.. А ведь кругом кутерьма, неразбериха, опасности... Это смех сильного и уверенного человека, который способен распечатать любую из общественных тайн настоящего и будущего. Смех человека, которого любят тысячи, нет — миллионы, смех счастливого человека...»

Алексеев не мог знать, что в эту ночь, как и во многие прошедшие, у Ленина страшно болела голова, его мучила бессонница, что он уже давно засыпал только после сильной дозы лекарств, и оттого, видимо, вставал утром разбитым, а было нужно много работать и многое успевать, но успевалось не все, и оттого росло в душе неосознанное раздражение и становилось необходимо, просто позарез необходимо выкроить хоть пару дней для отдыха, но дней этих не находилось и не предвиделось... Друзья ругали его за такое отношение к себе, Надежда Константиновна расстраивалась, но молчала — так было всегда и разговаривать на эту тему бесполезно...

И неожиданно для себя Алексеев спросил:

— Владимир Ильич, скажите, вы счастливы?..

Ленин, говоривший с Косиором, озадаченно, так, будто мысль его с лета ударила обо что-то, переспросил:

— Счастлив?.. Это вы к чему? Ах, да!.. — засмеялся с пониманием. — Еще как!.. Вы помните ответ Маркса на вопрос о том, в чем он находит счастье? Помните?..

— Конечно. В борьбе...

— Ну, так вот — я счастлив абсолютно. Не помню, кто сказал: «Для того, чтобы совершать великие дела, нужно воодушевление». А еще когда-то очень хорошо писал Джон Стюарт Милль: «Я понял, что для того, чтобы быть счастливым, человек должен поставить перед собой какую-нибудь цель: тогда, стремясь к ней, он будет испытывать счастье, не заботясь о нем». Такова стратегия счастья, таков его закон. Природа счастья — великая цель. Маркс и Энгельс дали нам ее, и наша задача... Впрочем, речь не об этом. А что думает, что говорит о

счастье молодежь? Перейдем к Нарвско-Петергофской конференции социалистической рабочей молодежи... «Социалистический» — это вы молодцы, правильно назвали свой союз. Кстати, какие формы организации молодежи возникли еще, каков их характер?..

— Пестрота огромная, Владимир Ильич, в ряде районов влияние меньшевиков и эсеров еще большое, они пытаются создавать культурнические организации, уводя молодежь от политики, а молодые рабочие не могут понять этого. Да и откуда у них теоретическая ясность? Молодежь есть молодежь — кипящая, бурлящая, ищущая... Мы видим задачу в том, чтобы молодежь, организуясь, обращалась к нашим комитетам, а мы бы ей терпеливо помогали разобраться в ее заблуждениях главным образом путем убеждения, а не борьбы...

Алексеев вдруг поймал себя на мысли, что уверенно и горячо излагает Ленину его собственные, ленинские мысли, которые он, Алексеев, вычитал в ленинских статьях... Он растерялся и замолчал на несколько секунд. Ленин терпеливо ждал, смотрел на Алексеева без тени снисхождения, с большим интересом, так, будто слышал эти мысли впервые и находил в них подтверждение своим собственным размышлениям. Откуда эта почти женственная ласковость во взгляде, это всепоглощающее любопытство? Как получается, что между этим человечком, между великим мыслителем, вождем и им, простым рабочим парнем Васей Алексеевым, нет не то что пропасти, а даже маленькой канавки? Где источник его всепобеждающей энергии? Он — любовь и доброта. Ленин такой, как все, только больше знает, дальше видит, быстрее понимает, лучше мыслит, точнее выражает мысль, дольше работает, острее чувствует, молниеносней реагирует...

Не дождавшись продолжения мысли, Ленин медленно, как-то задумчиво заговорил сам:

— Очень верно — именно «главным образом, преимущественно». Но борьба не исключается, если мы имеем дело с людьми сформировавшимися, хоть и молодыми... со взрослыми людьми, претендующими на то, чтобы вести и учить других: с ними необходима беспощадная борьба. Скажите-ка, дорогой товарищ Алексеев, что это за фигура — Шевцов? Наслышан о нем от Надежды Константиновны... Сколько лет ему? Из какой среды вышел? Чем берет молодежь? Ведь берет, не так ли?

— В основном красивой фразой. Говорить, надо при-

знать, умеет. На днях я с ним встречался. Это не заблуждающийся, это противник, может быть, враг. По его словам, молодежь должна взять в руки светоч, а в сердце поселить лишь желание добра и красоты жизни. «Царизм свергнут, — говорит он, — а об окончательной победе пусть позаботятся матери и отцы...» Членам правления организации «Труд и Свет», которую он возглавляет, запрещается даже общаться с партиями без его разрешения. Демагогия в сочетании с диктаторскими замашками... Этакая диктатура демагогии...

— Хорошо сказано. Так-так...

— Лет ему двадцать семь. В своей Программе Шевцов призывает создать «Комитет самозащиты пролетарского юношества», «Свободный литературный дом пролетарского юношества» и все в таком духе. Он откровенно подыгрывает молодежи, говорит о ее особой роли в революции, льстит...

Ленин встрепнулся.

— Льстит? Заигрывает? Опасно! Лесть развращает молодежь. Льстить молодежи мы не должны. Доверие, уважение — да, но и свободная, товарищеская критика ее ошибок. Это очень небезобидная линия — учить молодежь смотреть на вещи не с точки зрения интересов всего народа, а с чисто «молодежной».

Тут встрял Косиор.

— А наши товарищи в знак протеста против такой политики Шевцова взяли да и вышли из Совета организации... Ошибка, Владимир Ильич, думаю...

— Да, несомненно. Мы уже говорили об этом с Надеждой Константиновной. Я всех вас, собственно, затем и позвал: надо входить в эту организацию, разъяснять молодежи при каждом случае идеи и планы Шевцова и тех, кто стоит за ним, указывать им, что они говорят с Шевцовым на разных языках. Тут борьба и только борьба... Сегодня нельзя жить расслабленно, этак пошвыстывая. Напрягите молодежь до хруста костей! От нас только и ждут, что мы успокоимся на достигнутом. А между тем, главное — социалистическая революция — впереди... Имейте в виду, товарищи, от успеха работы партии среди молодежи в значительной мере зависит судьба революции. Вопросами организации молодежи прошу заняться немедленно... Но вы не ответили, товарищ Алексеев, на один мой вопрос: что же говорит молодежь о счастье?

— Да ведь вся конференция, Владимир Ильич, — это

разговор о счастье и борьбе за него... Учиться хочет молодежь, работать, жить в человеческих условиях, любить....

— Любить... Это прекрасно.... Любовь — великий источник жизненной энергии. Любовь должна развиваться и утончаться... Я, как вы понимаете, не об «эмансипации сердца», не о так называемой «освобожденной любви», не о «стакане воды»... Я — за полноту любовной жизни, за жизнерадостность и счастье, порождаемые любовью. Тот, кто бросается из одной любовной истории в другую, не годится для революции. Настоящая любовь, как и революция, требует цельности, самоотвержения. А сегодня и любовь должна быть направлена на пролетарскую революцию...

Вскоре, поговорив еще с Косиором, Невским и Васильевым уже о других, не молодежных делах, Ленин без лишних слов, как-то очень обычно попрощался с каждым, пожав руку и заглянув в глаза. Так прощаются люди, которые работают рядом, вместе, которые могут сказать друг другу «до свидания» с тем же основанием, как и «до завтра»...

Алексеев еще не раз увидит и услышит Ленина. Но уже никогда не придется ему беседовать с ним. Многие из той встречи возьмет Алексеев в свою будущую жизнь, но почему-то больше всего врежется в его память, прямо-таки сфотографируется в ней взгляд Ленина, который он «схватит» в момент рукопожатия — взгляд спокойный, проникающий, изучающий. Ленин будто говорил этим взглядом: «У меня до ужаса много дел. Я очень устал. Ты же видишь — я только человек. Мне нужны помощники, соратники. Я очень нуждаюсь в стойких людях...»

IV

Шевцову было не по себе. Нет, внешне он был спокоен и то, что он волнуется, никто из членов Всерайонного Совета не видел — речь председателя текла, как обычно, ровно и красиво, он, как всегда, говорил с пафосом, вопрошая и восклицая. Но сам-то Шевцов чувствовал накипавшее раздражение и все от того, что вот сейчас, когда он говорит, этот... Шевцов даже слов не находил, которыми можно было во всю силу обзывать сидевшего слева от него Алексеева... Этот сидит и что-то строчит и строчит в свою клеенчатую тетрадь. А стоит закончить говорить, начнет тут же задавать вопросы, по-

том закатит речь, а в ней упреки, обвинения, подозрения. И пошла буза!..

Невольно, сам тому не отдавая отчета, Шевцов уже начал делить историю «Труда и Света» на период до того, пока на заседаниях Всерайонного Совета не было Алексева, и после того, как он появился, хотя вроде, какая там еще история — сегодня, 18 июля, всего восемьдесят один день, как создан «Труд и Свет». Но период мирной жизни уже позади: на каждом заседании споры, ссоры, заявления, схватки. Одним словом, война. А все Алексеев...

Шевцов говорил, а сам невольно поглядывал на Алексева и тот, уловив это, отметил про себя: «Ага, психует. Хорошо. Когда он психует, его «сучность» лучше видна. А надо, чтоб все ее видели и поняли. Пусть знают, кто ими управляет».

После встречи с Лениным Алексеев долго думал, как же это показать, что «рабочая молодежь говорит с Шевцовым на разных языках», как «взорвать» Совет изнутри и, главное, как сделать это поскорее. Дорог каждый день.

В конце июня в доме № 2 по Херсонской улице состоялось собрание представителей молодежи заводов и фабрик Нарвской заставы. Были приглашены посланцы молодежи и от многих других районов города, и Лиза Пылаева, стройная, красивая, потряхивая копной вьющихся волос, от имени Петроградского комитета РСДРП(б) призвала молодежь к объединению для организованной борьбы за дело революции вместе со старшими поколениями пролетариев. Собрание решило создать «Межрайонный Социалистический Союз рабочей молодежи» и сделать его центром борьбы против «шевцовщины», основой сплочения революционных союзов молодежи районов Петрограда в единую общегородскую пролетарскую юношескую организацию.

Во временный комитет Межрайонного союза вошли большевики Е. Пылаева, О. Рывкин и Э. Леске, возглавлявший организацию рабочей молодежи 1-го Городского района.

А 1 июля в цирке «Модерн» на Петроградской стороне собралось на митинг молодежи города почти две с половиной тысячи молодых рабочих, работниц и солдат. От имени ЦК РСДРП(б) выступил И. Рахья, от имени ЦК большевиков — А. Слуцкий. Здесь же провели и запись в союз.

Через день, 3 июля, в партийном клубе большевиков

«III Интернационал» состоялось первое собрание нового союза, на котором выступила Н. К. Крупская. Избрали Исполком союза и оргбюро по подготовке 1-й общегородской конференции рабочей молодежи, в которое вместе с Пылаевой, Рывкиным, Леске, Глебовым вошел и Алексеев.

Новый союз был серьезным «противовесом» «Труду и Свету», но с его появлением проблему работы с молодежью большевики не считали решенной. «Труд и Свет» объединял уже более 50 тысяч юношей и девушек, в эту организацию входили союзы молодежи всех районов столицы, где они существовали, в том числе Нарвско-Петергофского, Петроградского, Невского, во главе которых стояли большевики.

Как быть? Вывести союзы этих районов и всех большевиков из «Труда и Света»? А остальная часть молодежи, та, которая сочувствует большевикам, просто заблуждается — отдать ее Шевцову? Да и как она поймет этот шаг большевиков? Нельзя ведь не считаться с тем, что в районных союзах уже сделано немало важных дел по отстаиванию прав молодежи и она, хочешь того или нет, относит это на счет «Труда и Света», его Всерайонного Совета, да и лично Шевцова. Понять до конца нелепость и вред написанной им Программы и Устава этой организации в тот момент большинство юношей и девушек еще не могло, но грандиозные планы, которые в них излагались, будоражили юношеское воображение. Молодежь валом валила в «Труд и Свет»... Нет, выход был один: разоблачить Шевцова, убрать его из руководства «Труда и Света», распустить эту организацию и создать новый союз пролетарской молодежи, в который войдет и та часть «трудосветовцев», которым по пути с революцией.

Алексеев встретился с Петром Смородиным, который уже имел несколько стычек с Шевцовым во Всерайонном Совете, был парнем смелым, решительным. От роду семнадцать лет, а уже семь лет гнет горб на заводе Шап-лыгина.

Мараковали несколько часов. Придумали план. Перво-наперво, надо организовать Шевцову во Всерайонном Совете сильную оппозицию, поначалу изолировать его от пассивной части Совета, а она среди сорока членов была немалой, вести с ней постоянную работу и в конце концов завоевать на свою сторону. Вторая задача — договорившись с другими районами, ввести в

состав Совета новых членов, тех, кто еще не заражен «шевцовщиной» с первых дней и не станет слепо подерживать Шевцова. Такое было возможно, потому что «члены-депутаты» в состав Совета (по семь человек от каждого района) делегировались по усмотрению районных комитетов союзов молодежи. Третье — разоблачать Шевцова и его идеи на заводах и фабриках и пусть они бомбардируют Всерайонный Совет протестами против Шевцова. И ни одного заседания Совета без критики Шевцова! Бить, бить и бить — в одну точку, изо всех сил, по очереди.

Задуманное осуществлялось. Вот уж пятый раз Алексеев на заседании Всерайонного Совета, и расстановка «классовых» сил меняется на глазах. Те, кто смотрел в рот Шевцову, теперь молчат, кто молчал — задает вопросы, а кто раньше ограничивался вопросами — теперь спорит, не соглашается. Шевцов не успевает оправдываться, злится, срывается, кричит, и это никому не нравится. Ну, а Алексеев, Смородин, Скоринко, Канкин эти моменты не упускают...

Сегодня обсуждался отчет о работе Совета за май — июнь и Воззвание к молодежи России. Шевцов говорил долго, без перерыва и едва закруглил последнюю фразу, вскочил, как всегда, Зернов.

— От имени фракции анархистов протестую! Это что же гнет наш председатель? «Капитализм рушится, буржуазия трясется...» Это верно, это хорошо. А вот это как понимать: «Пусть начатое завершат наши отцы и матери, а мы подождем...» Мы подождем, пока их перестреляют, да? Мы будем сидеть и смотреть, как льется их алая кровь? Да?! Раб! Вша! Встать! — заорал он на Шевцова, который, закончив говорить, сел на свое председательское место.

Но Шевцов лишь рукой махнул на него: «Отвяжись». Он, да и все уже привыкли к крику этого парня, который всегда выражался так, что трудно было понять, что он хочет сказать, но если он кричал, то это значит, что было, о чем кричать. Над Зерновым подсмеивались, подшучивали, но его любили. В душе этого сумасбродного парня с мутными идейными взглядами и нематыми волосами таилось удивительной, родниковой чистоты чувство справедливости. И в анархистах он был по случайности, во всех серьезных вопросах выступал вместе с большевиками, собирался жить до светлого будущего, а погибнет через несколько месяцев от пули своих же «братьев-анархистов»,

когда будет брать с красногвардейцами одну из их «малин».

Зернов долго еще возмущался, порастратил пыл и сел, почесывая то тут, то там спину, шею, грудь.

Выступали члены Совета от Охтенского и Городского, Василеостровского и Пороховского районов. Все ругали Воззвание. Стоял шум, гвалт.

Поднял руку Алексеев, обратился к Дрязгову, который вел заседание:

— О Воззвании говорить не буду, достаточно сказано. У меня вопрос к гражданину Шевцову. Хочу знать, как вы лично относитесь к тому, что творится сейчас в Питере и в стране, ко всем бесчинствам Временного правительства. Почему мы не обсуждаем эти вопросы на нашем Совете? Или они нас не касаются?

Все задвигались, заговорили.

Дрязгов зазвонил в колокольчик.

— Вопрос не по повестке! Отклоняется...

Раздались протестующие голоса.

— Неправильно!

— Пускай ответит!

Жестом миротворца — ладонь к Совету — Шевцов с кислой улыбкой остановил шум.

— Вопрос не по повестке, но я отвечу. Ради того, чтобы покончить с конфликтами и недоразумениями, которые совершаются в нашем Совете вопреки Уставу, его шестому пункту двенадцатого параграфа, гласящему: «В единении сила!» Ради единения... Мы — надпартийная организация, и потому мы против участия молодежи во всяких демонстрациях. Четвертого июля на демонстрации погибло немало невинных детей. Это на совести большевиков. О бесчинствах правительства... А какие бесчинства? Наоборот, утверждается порядок... Большевики вместе с Лениным хотели узурпировать власть, организовали демонстрацию и вот итог — получили по заслугам... И это еще не финал.

Алексеев вскочил с места так резко, что задел левой рукой, которая все еще не действовала и висела на перевязи, за край стола, задохнулся от боли и злости.

— Как смеешь ты, кадетский выкормыш, врать Совету о том, чего не знаешь?! Я видел все, я знаю, как было!

— Расскажи! — закричали с мест.

— Ваши воспоминания никого не интересуют, товарищ Алексеев, — оборвал Шевцов. — А за оскорбление

председателя мы удаляем вас с заседания. Кто за это предложение — прошу голосовать.

Шевцов окинул глазом собрание и побледнел: за удаление Алексеева проголосовало всего восемь человек из тридцати двух, что были на заседании.

— Вы остаетесь на заседании, — сказал он Алексееву, опасно не поднимая глаз. — Но если...

Что будет «если», он не сказал.

— ... и вообще, я не могу понять, что нужно вам, товарищи большевики. «Вся власть Советам!»? Но кто же может решить этот вопрос, кроме самих Советов и Временного правительства? И причем, тем более, тут мы — бессильные юноши, малограмотные дети простого народа...

— Причем тут «малограмотные»? — снова завопил на высоченной ноте Зернов. — Мы должны отобрать свои права! В борьбе обретем мы право свое!..

— Не пойму, не пойму! — возмущался Шевцов. — Зачем же тогда революционное правительство и революционные Советы? Это их дело! Права, которые завоеует пролетариат, будут и нашими правами.

— Кстати, о правах, — вклинился Алексеев. — Ведь это ваша идея была написать министрам-социалистам письмо о предоставлении подросткам шестичасового рабочего дня, не так ли?

— Ну, моя, моя! — раздраженно ответил Шевцов. — Сейчас опять начнете спрашивать меня о том, почему министр труда Скобелев не принял нашу депутацию с письмом... Сколько можно? Не знаю, не знаю, почему!..

Да, Алексеев уже не в первый раз напоминал Шевцову в присутствии разных людей об этом скандальном провале его идеи решить вопрос о правах подростков «мирным путем», а не демонстрацией, не борьбой, как настаивали члены Совета.

— Зато я знаю. Потому что правительство у нас не революционное, а контрреволюционное. А вот почему вы в него так веруете — не знаю. Впрочем, знаю... Вы посмотрите, как стоит наш председатель! — ткнул пальцем в сторону Шевцова Алексеев. — Ну? Ну? Не узнаете? Да это ни дать ни взять, господин Керенский.

Раздался смехок.

— Я прошу не трогать имя Александра Федоровича! — истерично закричал Шевцов.

Десять дней назад князь Львов подал в отставку с поста министра-председателя и премьером был назначен

Керенский. Шевцов ликовал. Звезда его кумира, которого потом назовут самым случайным из всех случайных правителей России, взойшла! И он не без оснований видел в этом добрый знак для себя.

— Ха-ха-ха! — смеялся Алексеев, да так заразительно, что и все начали похохатывать.

Шевцов, сцепив зубы, молча ломал пальцы. Заговорил с дрожью в голосе.

— Я не могу понять, как нам дальше работать... Все мое существо полно тревоги за всех обездоленных, эксплуатируемых, за каждого из вас. Не всякий так радуется за успехи революции, как я, не всякий болеет, как я. Да, наше время контрастно. Наша революция должна обнаружить силу львиную, мудрость змеиную и кротость голубиную. И необузданный гений Шекспира не смог бы охватить все переживаемое нашими днями. Великая революция творит таинство своего утверждения... Только язык Библии и «Илиады» мог бы отразить то, что стало повседневностью наших дней. Мы повергаем в прах мертвое и обретаем ту светлую радость земли обетованной, на которую вступаем...

Были в словах Шевцова и страсть, и волнение, и убежденность, было что-то такое, чего не умели, не могли те, кто его слушал. Может, это и заставило всех притихнуть. Шевцов овладевал собой, приходило вдохновение. Они молчат, померкли!.. Теперь — или никогда надо дать бой этому ненавистному Алексееву. Теперь же, немедленно!..

— И в то время как я, все мы отдаем весь жар наших сердец, всю неизбытную нашу энергию делу творения великой нови, находятся люди, которые ведут себя грубо, беспардонно, хамски... Они мешают нам работать! Я говорю о вас, товарищ Алексеев, и вообще о большевиках. Им только власть нужна, а делать для народа, для юношества они ничего не желают. Дай им власть в Советах! Дай в государстве! Может, вы и нашу организацию к рукам прибрать хотите? Так скажите честно! Я не держусь за кресло! Меня поносят, меня кланут, мне не доверяют! Меня? Мне?..

— Не говорите красиво, господин Шевцов! — резко сказал Алексеев. — Говоришь, большевики не думают о молодежи... А кто во Всероссийской избирательной комиссии по выборам в Учредительное собрание высказался за право голосовать с восемнадцати лет? — Большевики. А меньшевики? С двадцати. А эсеры? С двадцати двух. Кто поддержал юношеские комиссии на заводах? — Боль-

шевики. Нужна ли большевикам власть? — Нужна. И мы ее возьмем. Нужна ли нам юношеская пролетарская организация Петрограда? — Нужна! И мы ее возьмем, отберем у вас, господин Шевцов.

Что тут началось!.. Бурмистров и Метелкин кинулись на Алексеева с кулаками, но одного ухватил Смородин, другому Зернов дал вдогонку такую затрещину, что он так и влип в стену. Дрязгов колотил в колокольчик, кто-то что-то кричал друг другу, а Шевцов тыкал во всех пальцем, истерично хохотал и выкрикивал:

— Вот... Вот... Это и есть большевизм! Кавардак!

Чуть выждав, Алексеев закричал таким резким голосом, и было в нем столько силы, что возня прекратилась и все, кто сидя, кто стоя, дослушали его.

— А кресло у вас, господин Шевцов, и отбирать не надо. У вас его просто нет. Где та конференция, которая избрала Всерайонный Совет, назначивший вас председателем? Ее не было. Где та конференция, которая утвердила Программу и Устав «Труда и Света»? Ее не было. Вы сочинили Устав, удобный для вас, а для пролетарского молодняка эта организация неподходяща. Вы — самозванец. Вы призываете нас не лезть в классовую бучу, не заниматься политикой. А вы-то кто такой? Вы кадет, который вчера «подмекивал», потому что в силе был меньшевик Чхеидзе, а сегодня «подэсеривает», потому что власть взял эсер Керенский. Ваша политическая физиономия ясна. Вот!

Алексеев вынул кипу газет.

— Вот все статьи и в «Маленькой газете», и в «Новой маленькой газете», где вы служите. Я их изучил. Вы — черносотенец, открытый подпевала буржуазии. Вот что написал про эти газетенки Демьян Бедный.

Алексеев достал «Правду», прочитал с иронией:

Вечор девки, вечор девки
Пиво варивали,
Два шпики вечор у Невки
Разговаривали.
Высоки, брат, шпииковские
Нынче акции,
Я, брат, в «Маленькой газете»
Член редакции...

— Это несносно, невыносимо! — в полубреду шептал Шевцов. Потом взвизгнул: — Это оскорбление! Я требую... — и опять полубредово: — Нет, я уйду, уйду...

Он бросился в кресло, упал лицом на стол и зарыдал.

Метелкин зверски смотрел на Алексеева. Бурмистров наливал воду в стакан. Татьяна Голубева подбежала к Шевцову, гладила его по волосам, успокаивала. А Зернов шлепал ладонями по коленям и хохотал. Смородин, Скоринко, Канкин сидели молча, смотрели сурово.

— Как не стыдно! — гробовым тоном сказал Дрязгов. — Петр Григорьевич всего себя отдают борьбе, пекутся о нас. Почти всю свою библиотеку во Всерайонный Совет перевезли: читайте. Деньги свои на ремонт помещения Совета внесли — только б поскорей его закончить. Это жестоко, бесчеловечно, товарищ Алексеев...

Сказал Дрязгов тихо, но его услышали, и то, что он сказал, подействовало самым неожиданным образом: все притихли, присмирели, кое-кто опустил голову.

Алексеев растерялся. Ему вдруг тоже стало неловко, он вдруг почувствовал себя в чем-то виноватым.

— Жестоко? — закричал он с болью в голосе. — Может, и жестоко. А д-дурачить т-тысячи м-малолеток, з-завивать им всякой д-дрянью г-головы — эт-то не ж-жесток-ко?! Не б-бесчеловечно?!

Тихо разошлись.

И все-таки это еще не был конец «Труда и Света».

На следующий день, опомнившись, Шевцов, как ни в чем не бывало, с удесятеренной энергией названивал по районам, говорил подолгу с активистами, с видом несправедливо обиженного искал сочувствия.

Близился «юбилей» — три месяца со дня создания «Труда и Света». Шевцов хотел отпраздновать его с помпой.

Большевики решили, что этот день должен быть последним для «Труда и Света».

v

Жаркий июль выдался в Петрограде в том году. Солнце так пекло, что даже ночные ветры с Финского залива не могли остудить за день разогретых каменных зданий и мостовых. Дворники по нескольку раз в день окатывали панели и камни водой из шлангов, но она тут же испарялась, оставляя в воздухе запах дерева и плесени. Люди одевались в одежду полегче, лошади при возможности тыкались головами в тень, собаки лежали, высунув языки. Жара. Пыль. Духота...

Но еще более накаленной была в том месяце политическая атмосфера Питера.

1 июля экстренно собралась Вторая общегородская конференция РСДРП(б), на которой присутствовало 145 делегатов от 32 тысяч большевиков столицы. От Нарвско-Петергофского района на эту конференцию вместе с Косиором, Петерсоном, Невским, Орджоникидзе был избран и Василий Алексеев. Экстренность конференции была вызвана попытками Временного правительства вывести из Петрограда революционные полки и «разгрузить» город от революционных рабочих. Все это резко обостряло политическую ситуацию. Большевикам было необходимо выработать тактику борьбы. Кроме неотложных вопросов, в повестке дня конференции стоял и вопрос об организации молодежи.

На вечернем заседании 2 июля конференция заслушала доклад Н. К. Крупской о союзе молодежи. В прениях участвовали многие. Выступал и Алексеев. В принятой резолюции конференция указала, что «партия должна со всем вниманием отнестись к возникшим самостоятельно организациям молодежи, оказывать им содействие и посылать туда своих членов, чтобы установить тесный контакт между движением взрослых рабочих и движением молодежи». Был обсужден и проект программы и устава будущего ССРМ Петрограда.

А 3-го июля на большевистскую конференцию прибыли два представителя 1-го пулеметного полка и заявили о том, что они выступают с целью свержения Временного правительства и передачи власти в руки Советов, что к ним присоединились Московский и Павловский полки. Гренадеры. Конференция разъяснила делегатам, что сейчас это выступление нецелесообразно, но они ответили, что лучше выйдут из партии, но против воли полка не пойдут.

В 5 часов вечера конференция постановила удерживать солдат и рабочих от выступления. Делегаты срочно разъехались по заводам и фабрикам.

Группа делегатов во главе с С. Орджоникидзе выехала на Путиловский завод, где уже с трех часов митинговало около 25 тысяч рабочих. Настроение было — выступать. И только большевики пока сдерживали общее стремление. Говорили Антон Васильев, Иван Газа, Василий Алексеев, которых знали рабочие, но их слушали плохо, а потом закричали: «Долой!» Такого еще никогда не бывало... Уловив обстановку, Орджоникидзе позвонил в ПК. Сказали: «Боритесь!»

Борьба продолжалась семь часов: с 4 дня до 11 вечера.

Около одиннадцати на трибуну вышел матрос.

— Кончай волынить! Голосую: кто за выступление — поднять руки!

Тысячи рук взметнулись над головами.

Захрипел заводской гудок. Масса двинулась и потекла в темноту, в теплую, тихую, пасмурную ночь.

С песнями шли к Таврическому дворцу и скоро были там. Оказалось, что идет заседание ЦИК Советов.

Представители путиловцев вошли в зал, выдвинули требование: «Пока не арестуете десять министров-капиталистов — не разойдемся. Власть должны взять Советы».

Ждали до пяти утра и, не дождавшись ответа, разошлись...

Однако угроза свержения Временного правительства еще была реальной. И контрреволюция стала мобилизовывать свои силы...

ЦИК Советов вызвал к Таврическому дворцу бронемашину и затребовал из действующей армии кавалерийскую дивизию, бригаду пехоты.

Временное правительство приказало 1 и 4-му Донским, 9-му кавалерийскому полкам иметь наготове дежурные части с оседланными лошадьми для выступления по первому же требованию правительства. Большевики искали верное решение. Идти на демонстрацию нельзя. Бросить народ на штыки и пули, а самим остаться в тени — значит предать, навсегда потерять его доверие, убить партию. В 10 часов вечера того же дня в особняке Кшесинской состоялось совещание членов ЦК, ПК, делегатов Второй Петроградской конференции большевиков, представителей от полков, заводов и фабрик. «Предотвратить выступление масс невозможно», — таково было общее заключение. Приняли резолюцию: «Создавшийся кризис власти не будет разрешен в интересах народа, если революционный пролетариат и гарнизон твердо, определенно и немедленно не заявят о том, что они за переход власти к Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С этой целью рекомендуется: немедленное выступление рабочих и солдат на улицу для того, чтобы продемонстрировать выявление своей воли».

Для того, чтобы руководить движением масс, члены ЦК РСДРП(б) из особняка Кшесинской перешли в Таврический дворец, к которому двигались демонстранты.

Почти полмиллиона рабочих, солдат и матросов за-

положили улицу. Шли полки Петроградского гарнизона, части из Петергофа и Ораниенбаума, Красного Села и Кронштадта, шли нескончаемые рабочие колонны — со знаменами и большевистскими лозунгами, шли мирно.

В который раз уже за эти несколько месяцев шагал Алексеев в колонне путиловцев, все уж, казалось, повидал на этих демонстрациях, был бит и бил сам, стреляли в него и сам он стрелял, ко всему был готов и сегодня, а все ж, когда на Сенной с церкви Спаса застрочил пулемет, когда завизжали пули, рикошета от мостовой, шлепая в стены домов и во что-то мягкое, когда шедший рядом парень вдруг остановился, хотел что-то сказать и рухнул назад, будто на диван бросился от усталости, стало жутко и дикая ярость обуяла.

Не сговариваясь, к церкви кинулись сразу несколько красногвардейцев. Народ — врассыпную. Там, наверху, в церкви завязалась пальба, но пулемет все еще строчил, потом захлебнулся и скоро из церковных ворот вывели офицера, уже немолодого, большого ростом, с орденскими знаками на груди. С воплями дикой ненависти со всех сторон бросились на него люди, слетелись, сомкнулись, замелькали кулаки, сапоги и скоро на мостовой осталось что-то бесформенное, а вокруг бордово-красные лужицы...

И снова двинулась колонна. И снова при выходе с Садовой на Невский, как и в июне, раздались выстрелы. Стреляли сначала из винтовок и наганов. Потом заговорил пулемет. Люди падали один за другим, шарахались из стороны в сторону, прятались в ниши Публичной библиотеки, в подъезды и подворотни. Стоны. Вопли. Проклятья.

В этот день в городе было убито и ранено более 400 человек.

Начался контрреволюционный шабаш...

В тот же день военный и морской министр Керенский отдал приказ командующему Петроградским военным округом генерал-майору Половцеву немедленно отставить выступление солдат в Петрограде. Второй приказ запрещал кораблям входить в Кронштадт без разрешения на то командующего флотом под страхом потопления такого корабля подводной лодкой. В Петроград для карательных действий прибыли юнкера двух военных училищ, солдаты 2-го пулеметного полка, 9-го кавалерийского и 1-го казачьего полков. В каждый район для расправы с демонстрантами было послано по сотне казаков, по взводу регулярной кавалерии и взводу пехоты.

5 июля Петроград был объявлен на осадном положении.

Буржуазные газеты подняли вой: «Во всем повинны большевики! Это они старались овладеть городом! Это они посягали на власть Временного правительства! Это они хотели изнасиловать волю Советов!»

По приказу генерала Половцева вооруженные солдаты разгромили редакцию «Правды».

Министр-председатель князь Львов потребовал от Половцева, чтобы тот очистил особняк Кшесинской от большевиков. Арестованы Антонов-Овсеенко, Рошаль и многие другие руководящие работники партии. Ленина обвинили в государственной измене. Специальному отряду было поручено разыскать его и убить.

Контрразведка Временного правительства произвела налет на помещение Петроградского комитета РСДРП(б), захватила его документы и счета.

Из всех сил большевики старались опровергнуть возводимую на них клевету. Почти каждый день в большевистской печати появлялись статьи Ленина. Скрываясь от ищеек Временного правительства, он менял одну за другой квартиры.

Узкое совещание членов ЦК РСДРП(б) решило оставить партию на легальном положении, но принять все меры предосторожности на случай необходимости уйти в подполье.

Ленина обязали оставаться на нелегальном положении. В ночь с 9 на 10 июля он переехал на станцию Разлив под видом работника, нанятого на сенокос. А небывшие про Ленина и немецкие миллионы множились...

В тот вечер Алексеев неожиданно-негаданно оказался в райкоме один и удивился — где остальная братва? Райком уже стал многим вместо дома родного. Здесь не только заседали и решали дела, но, утомившись и оглохнув от заводского грохота, собирались просто посидеть вместе в небольшой комнатке: поспорить о текущем моменте, помечтать о коммунизме. Здесь пели песни и читали стихи. Острили и смеялись, влюблялись... Ах, райком! Алексеев уже любил его. Не по должности, душой.

Но где же они, друзья-товарищи?

Дверь открылась, влетел Скоринко, запыхавшийся, растрепанный, потный. Под глазом — синячище, бровь рассечена.

— Что случилось? — вскочил со стула Алексеев.

— Наших бьют! За Ленина...

Это было не ново.

— Где?

— У ресторана «Квисасана».

— Много?

— Человек десять, а может, больше...

— А наших?

— Пять со мной. Теперь, значит, четверо...

Помчались на трамвай. По дороге встретили еще четверых с Путиловского.

— Айда с нами! Наших бьют!

Выскочили из трамвая: глядь вправо — никого, влево — никого. Стоит у дверей гражданин, вид приличный. К нему:

— Гражданин, тут драка была... Наших били. Не видели?

— Как же, видел. — А от самого духами пахнет, перстенек на руке поблескивает.

— Где же они? — насторожившись, спросил Алексеев.

— А бог их знает. Может, уже на том свете.

И так расчетливо, без лишних слов — хлесть Алексеева в висок открытой ладонью, а в ней «свинчатка».

Упал Алексеев, не охнув, только полыхнуло красным перед глазами — и мрак.

Потом товарищи ему расскажут, какая вышла драка у «Квисасаны», когда из-за угла ресторана выбежали поджидавшие «подмогу» юнкера и гимназисты, сколько буржуйских «сопатов» поразбито было в тот вечер «за Ленина», ну, это уже потом, когда он лежал дома, в кровати.

— Молодцы, ребятки! — кривясь от боли, улыбался Алексеев, слушая рассказ друзей.

А мать, суется по хозяйству рядом, причитала:

— Господи, да сколько ж можно одного бить-то? Дома отец лупцевал, в школе поп розгами порол, в тюрьме били, на маевках били, на демонстрациях били. Руку вон еще не выходили, теперь голову пробили. Ведь покалечат они тебя, Васенька, убьют...

— Не убьют, я живучий, мама, — успокаивал Алексеев. — Ты за меня не бойся.

А она боялась, его геройская мама, Анисья Захаровна. Все понимала, что делал он, как могла помогала даже — раз, в пятнадцатом году, листовки спасла и сына от ареста тем уберегла, и второй раз городских обманула, когда с обыском явились, — но все ж боялась...

В развитии революции наступил коренной перелом.

Двоевластие кончилось. Возможность мирного развития революции превратилась в прах. Контрреволюционное Временное правительство установило диктатуру открытого насилия над народом, и устранить ее можно было только силой оружия.

В повестку дня стал вопрос о вооруженном восстании: либо полная победа контрреволюции, либо новая революция...

20 июля Вторая общегородская конференция большевиков на своем заключительном заседании утвердила ранее избранных в районах делегатов от Петрограда на VI съезд РСДРП(б). В их числе был и Василий Алексеев.

А пока жизнь все ж текла своим чередом, только стала еще более напряженной, нервной и опасной...

За Нарвскую заставу прислали отряд казаков — разоружить красногвардейцев. Винтовки, револьверы, патроны прятали кто где мог: по чердакам, в подвалах, закапывали в садах.

Шли обыски, увольнения с работы и надо было защищать активистов партии и союза молодежи везде, где только можно: в районном Совете, в завкоме, в Петро-совете, который, правда, хоть и существовал, но уже ничего не мог, сдал свои позиции...

А еще надо было громить и добивать Шевцова. Но как? Что еще выложить активистам, чтобы до конца поняли, кто такой этот Шевцов, чтобы сказали ему «Долой!».

И повод, нужный факт нашелся! Вчера Федор Мурашов сообщил, что в кассе «Труда и Света» появились деньги от Эммануила Нобеля, на заводе которого он работал, и что помещение для Всерайонного Совета «Труда и Света» на Петроградской стороне, которое сейчас ремонтируется, предоставил Шевцову принц Ольденбургский. Алексеев понял: решающий момент наступил. Что-то, а связь с буржуями ребята Шевцову не простят, это точно.

Он тут же переговорил со Смородиным, Канкиным, предложив им на следующем его заседании поставить вопрос о роспуске организации «Труд и Свет». Теперь, когда стало до конца ясно, кто такой Шевцов и кому он служит, вряд ли его поддержат. Попросил, однако, работу с членами Всерайонного Совета начать немедленно.

Готовиться к выступлению поручили Алексееву.

Не прошло и двух часов, как позвонил Шевцов, сра-

зу же начал кричать, что его оболгали, что «это очередные большевистские штучки», но Алексеев не стал с ним объясняться, положил трубку.

Вечером вместе с Тютиковым, Скоринко и Минаевым они припозднились на Новосивкозской и уже собирались по домам, когда в дверь постучали. Все с удивлением переглянулись: такого уже давно не случалось — в райкоме стук в дверь считался одним из признаков буржуйского воспитания.

— Входите, можно! — ответил Алексеев и опешил — на пороге стоял Шевцов.

— Здравствуйте... товарищи. Не ждали? — спросил он с улыбкой, но было видно, что далась она ему нелегко. — Должен же председатель Всерайонного Совета побывать в самой боевой из организаций, а?

Вопрос повис в воздухе.

Одет был Шевцов так, каким его еще не видывал никто из сидевших за столом. Серый дорогой костюм, пижамная белоснежная рубашка — воротник в стойку, галстук бордо, завязанный небрежным узлом, штиблеты на высоком каблуке. Пахло от него такими же духами, что и от того «приличного господина» у ресторана «Квасасана»...

Алексеев невольно тронул повязку на голове.

— Вот это да!.. А где ж твой старенький студенческий кителек с голубыми петлицами, в котором ты на Совете председательствуешь? Откуда это ты к нам такой? От Нобеля? От принца Ольденбургского?

Шевцов сел, закинул ногу на ногу, вытащил папиросы, закурил, пустил струю дыма вверх. Огляделся.

— Не богато живете, не богато. Надо подбросить вам средств для оборудования помещения.

Никакой реакции. Все трое смотрели на него ехидно, не по-доброму. Не вписывался Шевцов ни в эту убогую комнатенку с обшарпанным столом и дюжиной скрипучих стульев, ни в атмосферу, что царил в этом райкоме. Да и не хотел он этого. Ткнул, не докурив, папиросу об угол стола, щелчком выкинул ее за окно.

— Ну, да ладно. Не от принца я и не от Нобеля. Из театра. Жизнь входит в нормальные берега...

— Из театра, говоришь? А я думал, что театр — это когда ты кителек одеваешь, под свойского парня рядишься... А там, в бенуарах, на бельэтажах и в партерах ты вовсе даже не в театре, ты там на сцене, среди своих, — не удержался, съязвил Алексеев.

— Да полно тебе, Алексеев. У меня к тебе разговор. «Тет-а-тет».

— По-французски, братцы, это значит «с глазу на глаз», — развел руками Алексеев. — Как вы к этому?

— Да как хочешь. Можем подождать тебя, а можем и по домам. Время-то уже, наверное, к двенадцати катит, — протянул Тютиков, взглядом спрашивая Алексеева: «Ждать или нет?» «Не надо», — качнул головой Алексеев.

— Двадцать пять минут пополуночи, — уточнил Шевцов.

— Ну, тогда будь здоров, Вася! До завтра.

И они ушли.

— Так о чем разговор? Слушаю, — спросил Алексеев, хотя гадать о том, зачем пришел Шевцов, не стоило.

— Хочу продолжить разговор, который ты не принял несколько часов назад. Думал отложить до завтра, а потом решил — зачем? Тем более друзья оказали любезность, на авто довели... Только давай начистоту, без обиняков и громких фраз. Что ты от меня хочешь?

Голос Шевцова был ровен, спокоен, жесток.

Алексеев посмотрел на Шевцова.

— Я же уже говорил: ты должен уйти от председательства, организация твоя «Труд и Свет» должна самораспуститься. Вот и все.

— Тебе не нравится, что у меня «своя организация»? Ты хочешь иметь «свою организацию»? Так бога ради, создавай, руководи. Пусть будут в Питере две организации: твоя, социалистическая, припартийная и моя — внепартийная. Может, так и договоримся?

Алексеев качнул головой с сожалением:

— Вот ведь как ты все поворачиваешь... «Твоя», «моя»... «Руководи...» Организация пролетарской молодежи не может быть «твоей» или «моей». Ее сама молодежь создает, для себя. И руководить ею будет тот, кого эта молодежь сочтет достойным, а не самозванец, вроде тебя.

— Опять фразы, Алексеев. А правда, она вот: никто другой, а я создал организацию. Я — Шевцов Петр Григорьевич. Идею об этом в Выборгском районе подал кто? Я. Программу написал кто? Я. Устав? Я. Помещение достал? Я. К кому звонят и приезжают на квартиру партийные лидеры разного калибра? Ко мне. И Чугурин, и Куклин, и Крупская, жена твоего Ленина приезжали к кому? Ко мне, к Шевцову.

— Не так... Единственно, что верно: ты уловил момент, учуял тягу молодняка к организации и перехватил инициативу. Все остальное — не так. Идея — не твоя. Это большевистская идея, ленинская. Кто собрание-то на Выборгской стороне собрал? Большевистский райком, Чугурин, Крупская. Тебя они сразу не раскусили, это верно. Ошибка. Теперь мы ее поправим. Устав новый напишем. А уродовать рабочую молодежь тебе не позволим. Ну, Шевцов, мы же вдвоем, с глазу на глаз, как ты хотел, начистоту, без громких фраз — разве я не прав?

Шевцов хлопнул ладонью об стол.

— Хорошо, начистоту так начистоту. Не во всем, допустим, но в части ты прав. Ответ на главный вопрос: звать к свету, к знаниям, учить петь, шить, стряпать, готовить девушек к материнству — это, по-вашему, «уродовать молодежь»? Чуть! Это вы калечите политикой сознание и души молодых! Вы же, большевики, индивидуальность, жизнь человеческую и в грош не ставите! Ты вспомни, сколько детей и молодежи погибло из-за вас на улицах несколько дней назад, четвертого и пятого июля. Если б не ваша демонстрация...

— Э-э, нет, Шевцов, передергиваешь. Если б не ваши пулеметы, да, да — ваши, черносотенные, юнкерские. Это твои дружки, Шевцов, — не те ли, что ждут тебя сейчас в авто, — целили в меня и моих товарищей на Сенной площади... Надо же, — на церковную колокольню пулемет установили, слуги господни. И у Апраксина двора, и на Садовой, и всюду — это ты и твоя кадетская братия в нас стреляли. Кровь ручьями текла. Тебе приходилось видеть лужи крови? Вот на этих руках я уносил из-под пульт моего товарища...

Мелькнуло что-то во взгляде Шевцова совсем незнакомое: жалость? сочувствие? сострадание? — мелькнуло и тут же исчезло. Он вздохнул тяжело.

— Э-эх, Алексеев!.. Странный ты человек. Обо всем судишь смело, нахально, я б сказал, но что самое для меня непонятное — по преимуществу прав ты, а не я. Что — ты умней меня? Да нет. А знаниями с тобой мне и мериться стыдно, за мной университет. Как это выходит, а?

Алексеев махнул рукой.

— Твои заботы, ты и разгадывай. А попросту — сволочь ты, Шевцов, белоподкладочник и провокатор. Подумать только: целую организацию, тысячи парней и дев-

чат заманил в политическую ловушку и хоть бы тебе хны. А ведь многие из них тебе, «фараону», верят, а некоторые, вроде Гришки Дрязгова, молятся на тебя.

— Вот, видишь... — торжествующе воскликнул Шевцов. — И не только Дрязгов. Вы ж говорите — «шевцовщина», то есть целое течение, явление. А что это значит? Не сволочь я, а личность. За сволочью не «потекут». Под ваши мерки не подхожу — другое дело. Но я пишу пьесы, стихи, я могу врачевать и ораторствовать, электризовать толпу. Я все могу, Алексеев. Мне дано от бога, от природы больше, чем многим, а значит...

— Об этом мы уже говорили... «А значит, я самой природой призван властвовать над другими». Так? — перебил Шевцова Алексеев.

— Ну, не так грубо, не так в лоб, но... — протянул Шевцов.

— Нет уж, именно грубо и в лоб, чтоб все было ясно. Ответ: зачем тебе власть? Только без громких фраз, как ты просил меня, о светоче знаний и тэпэ. Зачем?

— Ах, боже мой, ну что за дурацкий вопрос... Власть — это когда ты можешь делать все и с каждым, все, что захочешь.

— А чего ты хочешь?

— Ах, боже... Ну...

— Да не «нукай», не мучайся, я отвечу... Поскольку ты личность сволочная, то и желания и планы твои — сволочные. Все они — для себя. И только. Но за счет кого? За счет других. Кого — других? А тех, кого ты в свою организацию заманиваешь сегодня и будешь заманивать завтра, если выживешь. Только уже не молодых, а взрослых будешь дурачить. И жить за их счет. Люди для тебя — не цель, а средство в достижении твоих целей. Вот такая арифметика... Против таких, Шевцов, как ты, и делается революция. Ты по своей сути эгоист, собственник, индивидуалист, а потому — эксплуататор, в какое б ты обличье ни вырядился, в какие б времена ни жил.

Шевцов усмехнулся криво, кисло.

— Витийствуешь... Нет, ты не дурак, Алексеев, не дурак. И все же... Я живу для себя... А ты — ты для других жить хочешь? Для кого? Для сегодняшних? Так это ж рвань, темень беспросветная. Их интересы чуть выше скотских. Понятие изящного, прекрасного им недоступно, развлечения высшего свойства — незнакомы. И ради

них тратить свою единственную жизнь? Никогда. Жить для будущих поколений, это ты предлагаешь? А будут ли они, эти будущие поколения? Это первое. Не перестраеляемся ли мы все уже сегодня? И потом — кто бы мне сказал, чего захотят эти будущие поколения? Может, ты, Алексеев, построишь им такую жизнь, за которую они тебя проклянут. Э, нет, Алексеев, истина не здесь. Все проще: человек смертец, а потому жить надо, пока жив. Хорошо, красиво, вкусно надо жить!

И он замолчал. Все было сказано и все было ясно. Но Шевцов не уходил, что-то тянул.

Алексеев глянул в окно, в темноту. Тишина... Только где-то вдалеке дышал завод, но эти звуки, привычные с рождения, не нарушали ночного спокойствия.

Чего хочет еще Шевцов? Алексеев смотрел на него в упор, и тот поднял голову, их взгляды встретились. Жалко и в то же время ненавидяще смотрел Шевцов.

— Ну, хорошо, Алексеев. Ты борец, страстотерпец, аскет с власяницей и плетью. Если тебе нравится быть таким, бог с тобой. Но ведь у тебя мать, отец, братья, сестра — все в нищете живут. Время сейчас такое, что все в обратную сторону катится. И кто знает, что будет завтра... И кем завтра буду я. У меня хорошие связи... Прошу тебя, отстаньте вы от меня, богом молю, ну, хотя бы ты... Клянусь, я не забуду этой услуги... Мы уже сейчас готовы компенсировать эту... уступку. Пятнадцать тысяч — согласен?

«Ах, вот что он мучился, сказать не решался», — подумал Алексеев. Спросил:

— Шевцов, ты не пьян?

— Нет. Впрочем, там, в театре...

Алексеев взвился.

— Сволочь! Думаешь, если тебя Нобель купил, так и меня можно? «Мы» — это кто?

— «Мы» — это «мы»... не твое свинячье дело! — визгливо закричал вдруг Шевцов. — Согласен или нет? Что молчишь? У-у, большевичок проклятый!.. Из каждого глаза по нагану торчит... Не согласен? Ну, берегись тогда. Время сейчас лихое. Уж если ручьи крови пустили, то еще одну лужицу сделать можно. И не хватайся за револьвер. Там, в авто, надежные ребята. Думай! У тебя сутки.

И вышел рассерженным господином, оставив в рай-
коме запах «Оригана».

Вечерело... Алексеев торопился на съезд партии.

Еще задолго до подхода к дому 38 по Большому Сампониевскому проспекту, где собирались делегаты VI съезда РСДРП(б), понял, что охрана его организована надежно. Вдоль проспекта у подъездов зданий как бы случайно прогуливались, стояли или сидели группками люди, неприметным, наметанным взглядом оценивающе оклидывавшие проходящую по тротуарам публику. Из всех зевак и спешащих их интересовали только шпики или переодетые военные...

О том, что съезд большевиков собирается, было известно из печати. Но где, когда? Контрреволюционные газеты требовали от правительства физически расправиться с участниками большевистского съезда, и оно старалось.

По городу рыскали ищейки Керенского.

При входе в помещение съезда у Алексеева дважды проверили мандат.

Небольшой зал с голыми стенами, уставленный наполовину стульями, наполовину деревянными скамьями, был почти полон. Со всех сторон слышались смех, радостные восклицания, люди обнимались, иные не скрывали слез. Это был не просто съезд, деловое собрание, это была еще и встреча людей, которые увидели друг друга после долгих лет разлуки, после подполья, тюрем, ссылок, каторги...

Потом, когда будут обработаны опросные листы, которые вручались каждому делегату, окажется, что сто семьдесят один делегат съезда, заполнивший опросный лист, проработали в революционном движении 1721 год. За плечами каждого в среднем было 10 лет подпольной работы. Их 549 раз арестовывали. Около 500 лет они провели в тюрьмах, ссылках, на каторге.

Да, в этом зальчике собрался цвет большевистской партии, ее мозг, ее воля — профессиональные революционеры, их было здесь большинство, — которые всю свою жизнь посвятили борьбе против царизма. Благодаря этим людям и многим тем, кого уже не было в живых, стала возможна Февральская революция и воздух свободы, которого глотнула Россия. И вот опять большевики прячутся и, кажется, раздавлены...

Алексеев узнавал многих и многие узнавали его, здоровались. Свердлов, торопливо проходя мимо, крепко, без слов пожал руку и скрылся в соседней комнатке. Пома-

хал рукой Володарский. Улыбнулся, кивнул приветливо Урицкий. Вот протиснулись меж рядов и сели, увлеченно беседуя, Орджоникидзе и Молотов, с которым Алексеев был теперь знаком по Петросовету. Питерцев на съезде было 40 человек, и Алексеев не чувствовал себя потерянным, а все же робел... Подумать только — он среди таких людей! Ах, как жаль, как обидно, что не будет Ленина...

Но вот за стол, что стоял на сцене, вышел... кто это? Сосед прошептал: «Ольминский». Съезд начал работу.

Долгими аплодисментами встретили предложение избрать почетным председателем съезда Ленина...

Избрали президиум — Свердлова, Сталина, Ольминского, Ломова, Юренева, мандатную комиссию. Утвердили регламент, порядок докладов с мест. Открылись приветствия съезду...

Алексеев ждал, когда начнется рассмотрение повестки дня: говорили, что будет обсуждаться вопрос о союзах молодежи. Но когда повестку огласили, этого вопроса в ней не было.

— Что же это? А ты твердил, будем о молодежи говорить, — разочарованно прошептал Алексеев, наклонившись к сидевшему впереди Коспору.

— Будем, будем, — ответил тот. — Слышал в повестке стоит «Разное». Вот там твой вопрос.

— Не «твой», а «наш», — обидчиво отрезал Алексеев. — И почему это в «разном» оказалось такое важное дело.

— Ты не ерепенься, Алексеев. Там много «разного». И одно другого важней.

— А когда о молодежи будем говорить? Мне завтра, кровь из носу, часа на два уйти надо. Будем «Труд и Свет» прихлопывать, — настаивал Алексеев.

— Это ты у Свердлова спроси, он организационными вопросами ведает. И отпиривайся тоже у него. И замолчи ты, наконец, Алексеев!..

В голосе Коспора было раздражение.

...Когда Алексеев добрался до угла Большой и Малой Дворянской, где в сверкающем свежими красками, паркетом и огнями электрических люстр нового помещения Всерайонного Совета собралось его правление и приглашенные члены районных комитетов, зал был уже полон.

У сцены в окружении группы «оруженосцев-выборжцев» стоял Шевцов, веселый, сияющий. Еще бы: желанный эффект достигнут. Теперь все видят, как много мо-

жет он, и пусть скажут, пусть найдут еще такого, кто может сделать то же. Уж не Алексеев ли? Смешно! Он даже не пришел, этот ретивый большевичок, говорят, делегат большевистского съезда. И прекрасно! Пусть себе там и сидит. Вот если б еще этот съезд упрятали за решетку, так было б и совсем отлично. А может, и струсил...

Алексеева еще не заметили, он стоял у входа в зал, смотрел на затылки притихших парней и девочек и думал — отчего так тихо, отчего вместо того, чтобы галдеть и петь, как всегда, они стесненно перешептываются? Он много раз ловил себя на том, что сбавлял голос в Таврическом, в особняке Кшесинской... Отчего? Такое чувство, что ты в психологической ловушке, принижен высокой колоннадой, придавлен тяжелыми мраморными лестницами, статуями божественной красоты. Все давит, унижает... Может, дворцы и нужны для того, чтоб заставить человека почувствовать свою малость перед этим великолепием и блеском, перед которыми легче гнется спина и легче кланяется? Вот именно! Дворцы строят не для того, чтоб в них жить, нет. Дворцы — орудие властвования.

Шевцов вышел на трибуну, произнес несколько торжественных фраз по поводу юбилея организации «Труд и Свет», открытия нового помещения, и только тут, надев очки, чтоб осмотреть собрание, увидел Алексеева. Он сидел в последнем ряду и, наклонившись к Леопольду Левенсону, что-то ему нашепывал. «Подбивает выборжцев, гад», — отметил он и прокашлялся, прогоняя неожиданно появившуюся хрипотцу. Собрался и стал читать доклад о перспективах развития «Труда и Света», которые открывала ему трехмесячная история его существования. Другими словами, на другой манер в докладе говорилось о том же, что все уже знали из Программы, Устава и Манифеста «Труда и Света», обращенного к молодежи России.

В зале нарастал гул.

Шевцов занервничал: «В чем дело?»

Увлеченный «внешней политикой», налаживанием отношений с «нужными лицами», писанием Манифеста, речей и докладов, он всю работу с районами передоверил своему «заму», Григорию Дрязгову, и не знал, что там, в районах, его Программа, Устав и Манифест уже в пух и прах раскритикованы большевиками, что на некоторых заводах и фабриках уже прошли собрания, на кото-

рых молодежь требовала убрать Шевцова с председательского поста.

Все ж доклад он дочитал с достоинством. И только сел, как, не спрося ни у кого позволения, к сцене, прямо к первому ряду вышел Алексеев.

Дрязгов словно завороченный смотрел на него и никак не мог решиться сказать: «Сядь на место!» Знал, не сядет Алексеев, а конфуз выйдет. И еще чувствовал он: сейчас произойдет что-то такое, такое... И молчал.

Шевцов недоуменно поглядывал на него, собрался сказать: «Действуй же!», но Алексеев уже начал.

— Я не буду спрашивать, почему ни в Уставе, ни в докладе господина Шевцова нет ни одного требования о шестичасовом рабочем дне для подрастающего молодняка, который бастует из-за этого. Такие вопросы великого просветителя господина Шевцова не волнуют.

Я не буду говорить, что теория объединения славянских народов, о котором написано в Уставе и сказано сегодня вновь, — это оппортунизм.

Я не буду доказывать, что лозунг беспартийности, который является в Уставе центральным и который господин кадет Шевцов без устали вдабливает нам в голову, — это самая что ни на есть партийность, прикрытая фиговым листком красноречия данного господина.

Я не буду доказывать, что призыв к молодежи не заниматься политикой — самая что ни на есть открытая политика, только политика в интересах буржуазии и ее подпевал.

Я не буду доказывать, что продавать за деньги звания почетных членов и член-соревнователей в «Труде и Свете», о чем записано в Уставе, — это значит предлагать пролетарской молодежи буржуазную форму организации, которая существует в кадетском молодежном обществе «Маяк».

Я не буду этого делать потому, что это всем уже ясно. Ясно или нет?

— Ясно, ясно! — закричали с мест.

— Но один вопрос господину Шевцову я задам, — продолжал Алексеев.

«Ясно, о чем, — уныло подумал Шевцов. — Про деньги Нобеля...»

И вдруг чихнул раз, второй, третий — от пола несло краской и скипидаром. «Тьфу, как некстати».

— Будьте здоровы, господин Шевцов! — поклонился слегка Алексеев.

Прокатился смехок.

— А вопрос такой, господин Шевцов: на какие деньги вы сделали ремонт вот этого распрекрасно выкрашенного, отполированного и обставленного разной гарнитурой помещения? На какие деньги изданы Программ, Устав, Манифест и различные листовки «Труда и Света»?

Зал замер.

— Здесь нет никаких тайн, товарищ Алексеев, — не вставая с места, ответил Шевцов. — Районы отчисляют деньги исполкому. Вот из этих сумм и расходовали.

— Это мы проверили, — закрутил несогласно головой Алексеев. — В отчете по финансам расходы на несколько тысяч больше, чем поступления от районов. Неувязочка. Как это объяснить?

Шевцов в душе удовлетворенно ухмыльнулся: в ответ на этот вопрос у него была «заготовочка».

— Н-пу-у... — тянул он, чтоб эффект был посильней, — понимаете... я не хотел, то есть я хотел, чтобы это осталось в тайне... но раз вы настаиваете... в общем, я вынужден был внести на общественные расходы часть своих личных сбережений...

— Сколько внес? — выкрикнули из зала.

— Около полутора тысяч, — приврал Шевцов, скромно потупясь.

— Сколько?! Полторы тыщи? Ничего себе денежки!

— Вот это «часть»! А сколько ж еще осталось?

— Да он же буржуй, наш председатель!..

Выкрики неслись из зала один за другим, кто-то гаркнул «Долой!», раздался свист.

Такого «эффекта» Шевцов никак не ожидал и сник. Алексеев тоже не рассчитывал, что Шевцов так облапошится, но был доволен, стоял и ждал, когда стихнет шум. Угомолиться.

Алексеев повернулся к Шевцову:

— Неплохо вам платили черносотенцы, неплохо, если вы такие денежки имеете... А все ж вопрос-то остается. Ну, внесли вы, положим, полторы тысячи, а где ж еще три с половиной? Расходы-то на пять тысяч больше доходов... Это как выходит?

— Были еще поступления от частных лиц, — деревянными губами ответил Шевцов, холодея, как будто его поймали, когда он украдкой лез ложкой в банку с вареньем.

— Конкретно... — настаивал Алексеев.

— Вы что так со мной разговариваете? — попытался возмутиться и выкрутиться Шевцов. — Я что — на суде? Это допрос?

— Отвечай! — закричали из зала.

— Да я ничего и не пытаюсь скрывать от Совета, от актива. Пожалуйста. Триста рублей нам пожертвовал господин Нобель... Все по Уставу, товарищи...

Об этом знали еще не все из присутствующих, а часть тех, кто слышал об этом от большевиков, сомневались. И вот тебе на, правда!..

— Буржуйский прихвостень!

— Буржуй!

— Долой!

Актив бесновался от возмущения. И Алексеев понял, что надо переходить к главному.

— Тише! — закричал он. — Прошу тишины!

Теперь все глаза были обращены на него.

— Вы видите, господин Шевцов, вам не доверяют члены Всерайонного Совета, члены комитетов районных организаций, которых вы собрали на это «юбилейное» заседание. Но и это не все. Вам не доверяют низы, массы молодежи. Они требуют убрать вас с руководящего поста. Вот одна из резолюций молодежного союза завода — го пропни судьбы того самого вашего Нобеля, который оказал вам вспомоществование. Зачитаю полностью... «12 августа семнадцатого года. Резолюция пролетарской юношеской организации «Труд и Свет» при заводе «Л. Нобель». Заслушав доклад нашего представителя из района товарища Мурашова, из его слов узнали, что господин Шевцов ведет нашу организацию к дезорганизации, а не к сплочению и своими действиями вносит раздор и вражду в нашу среду. Мы, организация юношей, протестуем против диктаторства и выносим строгое порицание господину Шевцову и требуем, чтобы он удалился из нашей среды, как не заслуживающий своими действиями ничего, кроме порицания и удаления из нашей среды. Сии удостоверяем за подписью: председатель — Орлов, секретарь — Тарасов, товарищ председателя — Мурашов».

А посему... Тише, тише, товарищи!.. А посему, от имени большинства Всерайонного Совета организации «Труд и Свет», от имени руководства районов: Нарвско-Петергофского, Петроградского, Невского и Василеостровского и Коломенского предлагаю господину Шевцова от поста председателя Всерайонного Совета освободить. Кто за это предложение — прошу голосовать.

Поднялся лес рук.

— Кто против? Пятеро... Далее. Всерайонный Совет «Труда и Света» и организацию как таковую предлагаю считать распущенными. Кто за это предложение?

И снова взметнулись над головами руки.

— Кто против? Раз, два... Семеро. Всерайонный Совет и организацию «Труд и Свет» объявляю прекратившими свое существование. Межрайонный Совет Социалистического союза рабочей молодежи ведет сейчас подготовку общегородской конференции, на которой будет создан новый, социалистический союз пролетарского молодняка. Мы призываем членов районных организаций вступать в этот союз, наш, настоящий, рабочий! А теперь — по домам!..

Шевцов стоял, словно парализованный, слушал все, что говорил Алексеев, видел все, что происходит в зале, и не мог вымолвить ни слова, не верил, что это — явь, а не дурной сон. Все, что задумывалось ночами, во что вложено столько сил и надежд, с чем связывалось все самое радужное в будущем, разлеталось... нет, в один миг уже разлетелось в прах. И вон уходит, не оглянувшись даже, орет вместе со всеми свою любимую песню про вихри враждебные этот ненавидный человечинко — ни кожи, ни рожи, от горшка два вершка — этот энергичный бодрячок — большевичок Алексеев. Залепить бы ему пулю в затылок, так и пистолет в кабинете оставил... Ничего нельзя сделать теперь — все кончено...

Он огляделся вокруг невидяще. Стоит кучка людей, о чем-то шепчутся, растерянные, жалкие. Все те же: Цепков, Метелкин, Голубева, Соколов, Дрязгов. К чему они теперь? Ушли даже выборжцы, в которых он верил, с которых все так славно начиналось. Ему на днях принесли резолюцию делегатского собрания, которое провел Леопольд Левенсон, новый руководитель Выборгского союза, тоже «большевичок»... Злая, обидная бумажка, так и врезалась в память: «Первое: категорически протестуем против действий господина Шевцова; второе: выносим строгое порицание от имени молодой демократии за то, что он променял Красное знамя труда на знамя капитала; третье: позор тем лицам, которые якобы ведут то или другое дело к социализму, а между прочим — под гнет капитализма». Опять без Алексеева или Смородина не обошлось. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения...

Подшел Дрязгов, заговорил, как с большим:

— Не расстраивайтесь, Петр Григорьевич, мы еще поборемся. Алексееву это так не пройдет...

Шевцов посмотрел на него брезгливо:

— Раньше надо было бороться...

И ни на кого не глядя, ушел в свой кабинет, повенный, уютный, но никому теперь не нужный...

А Дрязгов остался стоять обиженным: он ли не боролся? Он ли не любил Петра Григорьевича?..

Ах, Гриша, ах, Дрязгов! Вот пример, как не надо жить... В семнадцать — меньшевик и ясный «шевцовец». Чуть позже — большевик и неистовый «алексеевец». Невероятно, но факт: никто так много не писал позднее об Алексееве, никто так, хоть и по заслугам, не возвеличивал его, как Дрязгов. Даже книжку свою «На пути к комсомолу» в 1924 году он посвятил «лучшему из друзей Ленинградской рабочей молодежи Васе Алексееву». Но вскоре «вляпался» в троцкизм...

В конце июля — начале августа 1917 года Шевцов, Дрязгов и К^о и вправду попытались бороться, но поняли — бестолку.

Шевцов покинул Петроград. Уехал сначала в Вологодскую губернию, потом в Коломну, а оттуда — на Северный флот.

Ну а у Алексеева в тот день, 27 июля, было великолепное настроение: он выполнил партийное задание, возвращался на VI съезд РСДРП(б), где должен сказать свое слово о молодежи и ее союзе. И разве это не прекрасно?

Он шел по Невскому, жмурился от заходящего за дома солнца, прятал глаза под козырек своей знаменитой среди питерской молодежи кепки и сочинял стихи.

VII

Прошли три дня съезда, три дня напряженной работы с 10 утра до 10 вечера. Это было захватывающе интересно — слушать доклады и выступления, споры по принимавшимся резолюциям, и это было очень тяжело — непрестанно думать, думать, на ходу разбираться в аргументах, которые выдвигали стороны, улавливать текст и подтекст говоримого, находить собственные «за» и «против», чтобы в момент, когда просили поднять руку и принять решение, быть убежденным, что в данной ситуации — оно единственно правильное.

Было в повестке дня съезда немало вопросов сложных, запутанных. Вот где по-настоящему пригодилась Алексееву вся его работа по самообразованию: чтение книг по ночам, сведения, которые он ежедневно черпал из многих газет, «проглатывая» их на ходу, в перерывах собраний и заседаний, в трамваях.

Вот, например, вопрос о явке Ленина в суд по вызову Временного правительства. Должен он идти туда или нет? Кажется, ясно: конечно, нет! Какие «гарантии» может дать сумасброд Керенский, установивший смертную казнь на фронте за большевистскую агитацию, если в руках у него вдруг окажется сам вождь большевиков?! Какие «гарантии», когда сотни большевиков уже арестованы, брошены в «Кресты», в «Предварилровку»? Никаких! Больше того, когда Орджоникидзе побывал 7 июля в президиуме ЦИК Советов по этому вопросу, то ему прямо сказали, что никаких гарантий не будет. Но не все делегаты так думают. Сталин, Володарский, Мануильский и другие считают, что при гарантиях личной безопасности и демократическом суде Ленин может добровольно явиться в суд и там, с его трибуны, разоблачить всю гнусную клевету, возводимую на большевиков. Выход? Дискуссия. И тут надо быть во всеоружии. И хоть в конце концов единодушно решили: ни о какой явке речи быть не может, а все же спорили...

Да, съезд был для Алексеева «академией» после всех «школ» подпольной и проагандистской работы, которые он закончил. К тому времени за ним уже закрепилось прозвище «Энциклопедия», к которому он относился с некоторой обидой. Но в эти дни вдруг подумал, что неплохо бы и в самом деле стать такой ходячей энциклопедией — так много надо было знать, чтобы по-настоящему работать, а не просто присутствовать на съезде, поднимать руку, ориентируясь лишь на мнение вождей и большинства...

Утром 29 июля делегаты прочитали в газетах постановление правительства, удостоверенное Керенским, которое предписывало министру внутренних дел, военному и морскому министру (то есть самому Керенскому, остававшемуся и в этой должности) «не допускать и закрывать всякие собрания и съезды, которые могут представлять опасность в военном отношении или в отношении государственной безопасности». Итак, «законная» база под любые репрессии против делегатов VI съезда подведена. Кажется, специальные службы уже нащупали его

местонахождение — на Большом Сампсониевском появилось что-то очень много подозрительных типов...

На следующий день вечером съезд собрался уже в другом конце города, за Нарвской заставой, на Новосивковской улице, в доме 23 — в родном для Алексева райкоме партии, где в комнате напротив был и райком союза молодежи. Чудесней ничего и придумать было нельзя! Одно было плохо — помещение слишком мало, делегаты сидели плечо к плечу, в духоте.

В перерыве Свердлов позвал Коснора, Петерсона и Алексева.

— Необходимо найти новое помещение для съезда, более удобное и безопасное. Какие есть предложения? Трое задумались.

— Тут недалеко, на Петергофском шоссе, сразу за Нарвскими воротами, есть домик один. Там какой-то полковник жил раньше. А теперь этот дом, кажется, пустует. Подходы к нему скрытые и охранять удобно... — не очень уверенно проговорил Алексей.

— Какие еще соображения есть? — пророкотал Свердлов, обращаясь к Коснору и Петерсону.

— Не простое дело, Яков Михайлович, собрать не одну сотню человек, да чтоб скрытно... Тут надо подальше от заводов, от глаз людских. А может, глянем на этот домик?

Через некоторое время все четверо были в нем, обогнули комнаты, осмотрели чердак. Тоже маловат домишко, но все ж куда просторней, чем на Новосивковской.

— Что же, сюда и переедем, — сказал Свердлов. — Решено. Но прошу позаботиться об охране.

— За это не беспокойтесь, — уверенно сказал Петерсон. — За Нарвскую заставу, к путловцам Керенский не сунется. А сунется, так не возрадуется.

31 июля делегаты съезда собрались уже в доме № 2 по Петергофскому шоссе и работали здесь до конца.

И чем меньше вопросов оставалось в повестке, тем больше волновался Алексей: приближался момент, когда и ему надо будет выйти перед этими людьми, вернуться к ним лицом и сказать свое слово о молодежном союзе...

...Каждый съезд нашей партии является историческим, причем историческим по-своему, по-особому. VI съезд РСДРП(б) собрался в тот момент, когда вопрос «быть или не быть» для революции стоял как ни-

когда остро, когда промедление в принятии некоторых решений или один неверный шаг были подобны смерти. Съезд твердо и определенно решил: пролетариат должен восстать против Временного правительства, свергнуть его силой оружия и взять власть в свои руки — сейчас или никогда... Именно этого требовала не только политическая, но и экономическая обстановка. Хозяйственный развал в стране достиг последнего предела. Остановились многие заводы и фабрики, транспорт был практически парализован. Неудержимо росла безработица. Не хватало хлеба, соли, обуви, гвоздей и канцелярии.

Не менее опасным было положение на фронте. Россия жила на голодном пайке, стояла на краю гибели.

Единственно верный выход — вооруженное восстание, социалистическая революция, переход всей власти в руки большевиков. Этот вопрос был главной темой съезда, его лейтмотивом. В конце концов все остальные вопросы повестки дня были вызваны курсом на вооруженное восстание и необходимостью подготовки к нему самых широких масс. Вопросы о профсоюзах, о союзах молодежи обсуждались именно в связи с ленинским планом вооруженного восстания.

Алексеев был не просто делегатом съезда, а представителем только возникавших тогда по всей стране союзов молодежи. Его роль в отстаивании ленинских позиций по вопросу о союзах молодежи, которые лежали в основе резолюции съезда по данному вопросу, весьма значительна.

Сначала поздним вечером 31 июля и до глубокой ночи 1 августа вопрос «О союзах молодежи» обсуждался в подсекции организационной секции съезда. В целях конспирации свет не зажигали. С докладом выступила Н. К. Крупская. Развернулись жаркие дебаты. Намечались три точки зрения по вопросу о взаимоотношениях партии и союза молодежи. Часть делегатов считала, что следует ограничиться созданием узкопартийных союзов молодежи, состоящих только из молодых членов партии. По существу речь шла о «молодежной партии», хотя ее организации и должны были работать, по мнению этих товарищей, под руководством большевистских комитетов. Другие делегаты полагали, что союз молодежи должен быть тесно связан с партийной организацией, создаваться при партии и по существу быть ее частью. Большинство же считало, что молодежь должна создавать самостоятель-

ные союзы, организационно не подчиненные, а только духовно связанные с партией.

Предлагается также создавать внутри союзов молодежные организации из юношей и девушек старшего возраста, сочувствующих партии.

Однако это не все. Дискуссия шла также по вопросу о характере юношеского движения и, как следствие, о названии союза молодежи. Высказывалось мнение, что его не следует называть социалистическим, ибо такая определенность в названии может отпугнуть часть молодежи от большевиков.

Спор, таким образом, был не о формальной, а о существенной стороне текущей жизни молодежных организаций, об основополагающих принципах строения и деятельности будущего комсомола: быть ему массовой или узкой по составу организаций; самоуправляемым, самостоятельным союзом или секцией партии, опекаемой ею; единым или разнообразным по возрастному признаку и т. д.

В конце концов проект резолюции «О союзах молодежи» был принят в подсекции большинством голосов.

Важную роль в составлении данной резолюции, отстаивании ленинской позиции о взаимоотношениях партии и союза молодежи, целях и характере его деятельности сыграл Василий Алексеев.

Выступая на подсекции, он развивал следующую мысль: «В союзе молодежи имеется и некоторое оборонческое крыло, но и меньшевики и эсеры потеряли уже всякое влияние на молодежь, и большевики на деле завоевали себе весь союз. Необходимо это оформить, необходимо перед всей молодежью ясно наметить пути, по которым мы призываем ее идти. Наименование «социалистический» надо принять именно потому, что нам необходимо отмежеваться от беспартийно-социалистического влияния на молодежь, от тех, кто на деле развращает ее революционной фразеологией».

И вот 2 августа — тринадцатое, вечернее заседание съезда... От имени большинства подсекции М. М. Харитоновым был сделан доклад. Его суть: первое — партия видит, как буржуазия пытается отвлечь рабочую молодежь от участия в экономической и политической борьбе; второе — партия считает необходимым обратить самое серьезное внимание на дело организации молодежи; третье — союзы молодежи должны носить социалистический характер; четвертое — они должны быть организационно са-

мостоятельными, связаны с партией духовно, политически.

Затем от имени меньшинства подсекции, не поддержавшего проект резолюции, И. Т. Смилга сделал доклад. Суть возражений: первое — союзы молодежи не следует именовать социалистическими, а назвать их «союзами, стоящими на классовой точке зрения»; второе — союзы молодежи должны быть связаны с партией не духовно, а организационно... «Всего» две поправки, но они коренным образом меняли положение дел.

Ясно — Смилга использовал шанс исправить поражение меньшинства на подсекции. Алексеев был готов к такому повороту дел, среагировал мгновенно.

— Прошу слова!...

И не дожидаясь, пока председательствующий объявит о его выступлении, пошел к трибуне.

В зале поднялся шум. О разногласиях в подсекции многим уже было известно.

— Тише, товарищи, спокойнее, — призывал председательствующий. — Слово предоставляется вне очереди представителю союза социалистической молодежи товарищу Алексеву.

Алексеев волновался.

— Товарищи, я являюсь представителем союза молодежи и на основании опыта этих месяцев настаиваю на принятии резолюции товарища Харитонova, как наиболее обеспечивающей интересы социалистической рабочей молодежи. В нашем союзе борются два течения: оборонческое и интернационалистское. В то время как интернационалисты ставят вопросы об охране детского труда и другие вопросы, тесно связанные с положением рабочей молодежи, оборонцы говорят только о науке, о занятиях химией и т. п. Четыре района... отклонились от общего союза и хотят организовать другой, более соответствующий интересам рабочей молодежи. В то же время мы считаем необходимым оставить название «социалистический», так как название «стоящий на классовой точке зрения» может быть непонятно для широких слоев...

Увы, к сожалению, это не стенограмма, а всего лишь протокольная запись речи Алексеева, сделанная Л. Р. Менжинской и И. М. Москвиным: съезд проходил в такой обстановке, когда было трудно думать о таких вопросах, как стенографирование. 29 июля даже протокола не вели; фамилии вновь избранных членов ЦК РСДРП(б) из соображений их безопасности не огласили даже делега-

там съезда и лишь сообщили, что наибольшее количество голосов при избрании в ЦК получил Ленин.

Надо думать, речь Алексеева была интересной, взволновала делегатов. Ведь он имел, что сказать, и умел говорить, хотя в ту пору живое слово являлось едва ли не главным оружием революционера, и если ты считал себя таковым, ты обязан был стать оратором и трибуном. И все же заметим: в протоколах этого заседания слово «аплодисменты» встречается всего один раз — после речи Алексеева. Цена им высока. Ему аплодировали Бабушкин, Володарский, Ворошилов, Джапаридзе, Енукидзе, Коспор, Крупская, Мануильский, Молотов, Ногин, Ольминский, Орджоникидзе, Подбельский, Подвойский, Преображенский, Сталин, Свердлов, Урицкий, Усиевич, Шаумян, Шотман, Ярославский...

Все это Алексей понимал и возвращался на свое место красный от волнения, разгоряченный и гордый собой.

Открылись прения. Дискуссия была жаркой и более продолжительной, чем предполагалось. В ней участвовали Преображенский, Подбельский, Слуцкая, Молотов, Ленцман и другие делегаты, всего — девять человек.

В заключение этих споров, как бы в порядке их подведения слово вновь было предоставлено Алексееву.

Теперь он говорил смелей, уверенней.

— Товарищи! Я выступаю во второй раз и потому не буду повторять уже сказанное... Мне хочется указать на то, что юноши из рабочего класса по самой своей природе являются боевыми... Поэтому нельзя опасаться, что партия не будет иметь влияния, если союз будет беспартийным. Партийный союз оттолкнет многих, потому что многие заявляют, что в партию не пойдут. В то же время тактика их — большевистская. 18 июня Всерайонный Совет союза молодежи постановил не выходить на демонстрацию, мы подчинились, но вынесли протест и в резолюции указали, что стоим на интернационалистской точке зрения. Бояться, что и в дальнейшем партия не будет иметь влияния, не приходится. Рабочая молодежь не хочет раскола в своей среде, но на собраниях всегда зовет большевика, эсеры и меньшевики успеха не имеют. Я предлагаю съезду голосовать за резолюцию товарища Харитонов, так как она вполне нас удовлетворяет.

В ближайшем будущем мы собираемся создать свой печатный орган и просим съезд через ЦК оказать нам материальную поддержку. Орган будет не партийным, но социалистическим, будет внедрять в умы и сердца молодежи

идеи Интернационала. Мне думается, что он должен находиться под нашим партийным руководством...

Резолюция VI съезда РСДРП(б) «О союзах молодежи» была принята единогласно.

Человек, не сведущий в вопросах теории молодежного движения, не знающий его истории, может и не уловить в простых фразах двух выступлений Алексеева, да и самой резолюции, многих оттенков, которые они содержат и которыми определяется их значимость. Но они есть, их немало. Выступления Алексеева отличают политическая зрелость суждений, глубокая марксистская основа; они произнесены в то время, когда многие теоретические вопросы о месте и роли молодежной организации в социалистической революции только начинали возникать и впервые осмысливаться, когда в них путались куда более многоопытные деятели партии. Одного только участия Алексеева в работе VI съезда РСДРП(б) и выступлений на нем хватило бы, чтобы имя его навсегда вошло в историю нашей партии и Ленинского комсомола.

Решения VI съезда партии сыграли большую роль в становлении международного коммунистического молодежного движения, подготовили теоретическую почву для организации в Петрограде социалистического союза молодежи. Он был создан через две недели после съезда, 18 августа, на общегородской конференции, которая собралась в помещении Нарвско-Петергофского райкома партии. От имени ЦК РСДРП(б) ее приветствовал Д. З. Мануильский. Доклад о текущем моменте, перспективах развития революции и роли молодежи в предстоящей борьбе сделал член ЦК РСДРП(б) А. Слуцкий.

179 молодых заинтересованных лиц были обращены к Алексееву, когда он вышел на трибуну. Нет, не на курсы кройки и шитья, не в кружки хорового пения, как это делал Шевцов, звал Алексей молодежь — на бой с буржуазией, на вооруженное восстание! «Пулей не накормить голодных. Казацкой плетью не отереть слез матерей и жен... Генеральским окриком не остановить развала промышленности, — говорилось в Манифесте VI съезда партии «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянам России». — ...Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи!.. Копите силы, стройтесь в боевые колонны!» Теперь Алексей, делегат партийного съезда, проводил избранный им курс в жизнь.

Конференция утвердила Программу и Устав союза,

подготовленные комиссией во главе с Алексеевым, направила приветствие В. И. Ленину. «Мы громко заявляем, — писали делегаты, — что не остановимся ни перед какими жертвами в борьбе за уничтожение проклятого капиталистического строя, на развалинах которого мы новый мир построим».

Делегаты заявили, что ССРМ стремится к объединению пролетарской молодежи всей России «в один могучий юношеский социалистический союз, пойдет рука об руку с организованным пролетариатом всей России в первых его рядах и, смело поднимая красное знамя борьбы, объявляет себя отрядом Интернационала рабочей молодежи».

В Петроградский комитет ССРМ избрал Смородина, Пылаева, Левенсона, Глебова. Председателем ПК стал рабочий Орудийного завода Э. Леске, заместителем — В. Алексеев, секретарем — О. Рывкин. Утвердили название журнала союза молодежи, о необходимости создания которого Алексеев говорил на VI съезде партии — «Юный пролетарий». Редактировать его поручили Алексееву, Леске, Глебову.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На Петроград шел Корнилов... Позади его полков двигался отряд английских броневиков с экипажами, одетыми в русскую военную форму.

Верховный Главнокомандующий войсками Временного правительства, «храбрый, но неграмотный генерал», направлял преданных генералов на революционную столицу. Долг солдата и безмерная любовь к родине, как писал и говорил он в те дни, повелевают ему взять власть в свои руки, чтобы «спасти Россию», «создать могучее правительство», способное вывести страну из хаоса и беспорядков. А для этого, по его разумению, следовало уничтожить революционных рабочих и солдат, все и всякие комитеты, советы, организации, партии, ну, и прежде всего, конечно же, покончить с большевиками. План заговора, составленный по согласованию с министром-председателем Керенским и управляющим военным министерством Борисом Савинковым, предусматривал зверскую расправу над членами Петроградского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Однако стремление Корнилова к личной диктатуре было так велико, что это вызвало у Керенского и Савинко-

ва, которые уже готовы были принять первый — портфель министра юстиции, второй — военного министра, опасения за свою судьбу и в последний момент они вышли из игры. Соображения не касались целей, носили чисто тактический характер: душить революцию надо не так грубо, позорящей, не сразу, а постепенно, чтоб не разъярить народ, который в гневе может снести и заговор, и существующую власть.

Теперь, чтоб сохранить эту власть, Временное правительство было вынуждено организовывать оборону города, бороться против распоясавшегося Корнилова.

Отстранив Корнилова от должности Верховного Главнокомандующего, Керенский предложил генерал-лейтенанту Лукомскому временно принять на себя обязанности Главковерха. Но Лукомский телеграммой на имя министра-председателя ответил отказом.

Командующий 3-м кавалерийским корпусом генерал-лейтенант Крымов объявил, что «Корнилов несменяем», был готов ввести свои полки в Петроград.

Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Денкин сообщил Керенскому, что ему не по пути с Временным правительством.

Генерал-лейтенант Багратион получил приказ для своей Кавказской туземной дивизии идти на Петроград и 31 августа быть в районе Гатчины.

К походу на Питер были готовы донские казаки генерала Каледина.

Офицерские организации в Петрограде, Москве, Киеве и других городах должны были выступить в момент начала мятежа.

Чтобы до конца осложнить обстановку, Корнилов сдал немцам Ригу и открыл им путь к сердцу революции.

ЦИК Советов создал Комитет борьбы с контрреволюцией, но действовал вяло. Керенский на все фронты отправлял телеграммы, требуя прислать войска, но они сталкивались с телеграммами Корнилова, который отказался сложить полномочия Главковерха, требовал от генералов и железнодорожных служб неукоснительного выполнения его приказов, грозя беспощадными карами.

Контрреволюционеры боролись между собой, хандрили, обманывали друг друга, пытались найти компромиссные решения. А между тем над городом, над Россией, над всеми революционными завоеваниями народа нависла смертельная опасность...

Большевики взяли оборону Петрограда в свои руки.

27 августа ЦК РСДРП(б) обратился к рабочим и солдатам с призывом встать на защиту революции. В тот же день ПК РСДРП(б) решил мобилизовать все силы 40-тысячной партийной организации, рабочих и солдат города для отпора заговорщикам.

По столице прокатилась волна митингов протеста.

В бешеной спешке началось формирование вооруженных отрядов из рабочих, агитация среди солдат.

Красногвардейцы извлекали из тайников спрятанное оружие.

«Все на борьбу с Корниловым!». Но не вместе с Керенским, нет, не в его поддержку, не впадая с ним в союз и соглашательство, нет, а драться с генералом как и войска Временного правительства, ни на йоту не ослабляя к этому правительству своей вражды. В сей момент, писал Ленин, нужна такая тактика.

28 августа Петергофский районный Совет для руководства Красной гвардией в борьбе с Корниловым утвердил ревком. От Нарвско-Петергофского райкома партии в него вошел Алексеев.

Он не спал уже третью ночь. Отставлены все дела в союзе, работа в «Юном пролетарии», завод «Анчар», забыто все, кроме одного: мобилизовать как можно больше рабочих, молодежи в отряды на борьбу с Корниловым.

Кабинет райкома ССРМ на Новосивковской превратился в ту точку, откуда шли указания, куда стекалась информация о положении дел за Нарвской заставой, куда шли люди, звонки из ЦИК, ЦК и ПК РСДРП(б), райкома партии, районного Совета.

— Не хватает оружия? Изыщите! Придумайте, что хотите, но дайте винтовок, револьверов, гранат!

Срочно — к путиловцам: «Что делать?» И путиловцы налаживают выпуск винтовок.

— Нужны пушки! Калибр? Черт с ним, с калибром! Любые, но побольше!..

Кто поможет? Кто?

Опять к путиловцам. И они за три дня собирают сто пушек, да в придачу вводят в строй несколько сломанных бронемашин.

— Нужны люди на рытье окопов и устройство проводных заграждений! Побольше!

— Алексеев, составь воззвание к населению района — поострей, потревожней...

Глаза слипаются, голова клонится к столу, но он пишет: «...Граждане! Все силы на борьбу с контрреволюци-

ей! В этот грозный и ответственный момент с твердой уверенностью в победе революции над кучкой черносотенных авантюристов сохраняйте прежде всего:

спокойствие

выдержку

и дисциплину.

Петергофский центральный революционный комитет».

Черный от бессонницы, Алексеев валился с ног и мечтал об одном — приткнуться бы в какой-нибудь угол и заснуть хоть на час. Но под утро, когда собрался, наконец, прикорнуть, позвонили из ПК — там тоже не спали:

— К восемнадцати ноль-ноль вместе с двадцатью агитаторами, да чтоб побойчей, поязыкастей, пограмотней — к Свердлову. Зачем? Будут посланы в корниловские войска для агитации среди солдат.

Партия отправляла навстречу полкам, несущим гибель революции, своих лучших пропагандистов. Задача простая: сделать все, хоть умереть, но разagitировать, убедить солдат: нельзя им идти против своих братьев-рабочих, против народа...

I

...Ждали недолго. Вышел Свердлов, с красными от бессонницы глазами, коротко и просто объяснил смысл задания, показал на карте, где сейчас, по их сведениям, должны находиться Туземная кавказская и 1-я Донская казачья дивизии: Туземная где-то между станциями Гатчина и Александровская. 1-я Донская должна быть в районе Веденского Устья или на подходе — у Больших Слудец. Потом разбились на двойки и тройки, по дивизиям и полкам.

В пару с Алексеевым, с учетом его пропагандистского опыта, выделили матроса из Кронштадта Валентина Разуваева, автомобиль с шофером, реквизированный на время у какого-то князя.

Выступили сразу же.

До деревни Мина доехали часа за два, прокопотили вдоль нее по пыльной дороге под восторженные вопли деревенской ребятни, но Алексеев их не слышал — спал мертвецким сном, уронив голову на грудь, и ни повороты, когда его шарахало то влево, то вправо, ни рытвины, когда седоков подбрасывало так, что Разуваев аж зубами щелкал и ойкал от ударов, были ему ни о чем.

— Умаялся парень, — сказал шофер Разуваеву. —

Ты его малость придержи, а то голову расшибет пенароном.

Разуваев привалил Алексеева к себе, прижал к груди, опоясанной патронными лентами, затащил тихонько песню. Шофер, с забавной фамилией Фефелкин, подпевал. Так они добрались и до Веденского Устья. Но и там казаков еще не было.

— Ох, бедовые вы ребята, — сказал Фефелкин, обернувшись к Разуваеву. — Казаки... они же звери. Им человека зарубить — одно удовольствие. Вон у князя моего казачьих офицеров в друзьях сколько... Соберутся и давай хвастать, кто кого как рубанул да пристрелил... И не боитесь?..

— А ты? — встречно спросил Разуваев.

— А мне — что? Я элемент нейтральный, меня вместе с автомобилем реквизируют...

Вечерело... На подъезде к Большим Слудицам Разуваев заметил километрах в двух над лесом поднимающийся дым от многих костров.

— Стой, — приказал он Фефелкину. — Кажись, приехали.

Растолкал Алексеева. Тот одурело смотрел на Разуваева, переводил взгляд на Фефелкина, на автомобиль, на лес, пока не пришел в себя.

— Ну, командуй, товарищ Алексеев. Что дальше-то делать? Вот они казаки, за лесом, — указал рукой на дым Разуваев.

Алексеев потер лицо, окончательно прогоняя сон.

— Значит, так, Фефелкин, — ставь авто вот в эти кусты и жди нас... ну, жди сутки. До завтрашнего вечера. А мы пошли. Не вернемся к сроку — значит, каюк нам.

— И не вздумай смыться, «нейтральный элемент», — погрозил пальцем Разуваев Фефелкину.

— Дальше... — продолжил Алексеев, обращаясь к Разуваеву и не уловив смысл этих его слов. — Оружие — в машину: не воевать идем, а с миром. Так что ленты свои и маузер снимай.

Разуваев не спорил.

Пошли напрямик, через лес. В нем было уже темно-вато.

Не прошли и сотни метров, раздался окрик:

— Стой! Кто идет?

— Свой, товарищ! — ответил Алексеев. — Рабочий я, из Питера, а он вот матрос кронштадтский. Делегаты мы. А это Донская казачья дивизия?

— Ишь ты, чего знать схотел, — ответил голос из-за дерева. — Счас разберемся, кто вы есть.

Он свистнул в свисток, и скоро прибежали еще двое, встали за деревья, выставили винтовки.

— А ну, руки вверх! Сказывайте, кто такие?

— Не видите, что ли? — вмешался Разуваев. — Я — матрос, а это — рабочий с Путиловского завода. Мы — большевики и посланы, чтоб сказать вам правду о Корнилове и о нашей революции.

— Большевики?! Это у которых Ленин немцам продался? Ах, сволочи! Правду пришли сказать... А ну давай в штаб!.. — закричал один из тех, кто прибежал по свистку часового. — Филин, веди, а мы пошукаем, нет ли еще кого с ними...

Когда отошли порядочно, тот, которого звали Филиным, вдруг сказал:

— Вот что, братцы, я не большевик, по вашему брату сочувствующий. Ступайте с богом на все четыре стороны. Для острастки, для виду я пальну, а вы бегите... Несдобровать вам. Офицеры у нас до ужаса злые, подлые. И казаки дюже различные...

Алексеев и Разуваев остановились.

— А большевики в полку есть? — спросил Алексеев.

— Были, да извели их, а которые остались, так теперь хоронятся, тихо совсем себя ведут...

— Вот что, друг Филин, за такое отношение к нам спасибо, но не можем мы бежать, права не имеем. У нас приказ — сказать вам правду. Ты приказы выполняешь? Вот и мы тоже, — развел руками Алексеев.

— Дак пристрелят вас, дурни вы, аль не понимаете? — с удивлением и болью сказал Филин.

— Понимаем. А все же веди, только не в штаб, а к солдатам и казакам. Как, правильно я говорю? — спросил Алексеев у Разуваева.

Тот кивнул головой.

И Филин повел их туда, где горели костры и сидели казаки.

— Это кого ж ты поймал, Филин? — спросил кто-то из казаков, глядя на приближающуюся тройку.

— Стой! — скомандовал Филин, опустил винтовку, вытащил кисет и стал крутить самокрутку.

— Большевики из Петербурга. Агитаторы. Гуторить пришли, правду про Корнилова и революцию сказывать... Вот, веду в штаб.

— Большевики?!!

Разговор у костра смолк. Казаки с любопытством, в котором Алексеев не заметил враждебности, но и особого дружелюбия тоже, уставились на них.

— Это какую же такую правду пришли вы сказывать? — спросил один из них. — Ну?

Алексеев увидел, что от соседних костров встают и подходят еще солдаты. «Надо, чтоб побольше собралось», — подумал он. Еще раз посмотрев на казаков, почувствовал всю серьезность положения, в котором они оказались. Ведь это те самые казаки, которые носились по улицам Петрограда, разгоняя демонстрации и сходки, те, которые хлестали людей нагайками, рубили шашками, топтали конскими копытами... Оплот самодержавия, прикормленные, сытые, самодовольные. Нужна ли им правда, с которой они явились? А если нужна, то какая? Рабочие — одно дело, о них он знал все. А казаки — что они за люди? Он видел их только в седлах, несущихся на рысях, галопом, в строю, он никогда с ними не разговаривал, а только бежал, спасался от них. О чем и как говорить?

В горле пересохло, будто он заглотнул дым всего костра.

— Водички не дадите ли? — попросил.

Ему без слов перебросили фляжку. Он медленно глотал воду: надо было успокоиться и собрать побольше людей.

— Они что у тебя — безъязыкие, агитаторы-то, а, Филин? — ехидно спросили от костра.

— Товарищи казаки!.. — начал Алексеев.

— Эх, ты, гляди-кось — «товарищи», — ехидно вставил кто-то.

— В Петрограде революция... — продолжал Алексеев.

— Эт мы знаем, — со смешком встрял все тот же голос.

— Войска Корнилова движутся на Петроград, чтоб задуть революцию... — повысил голос Алексеев.

— Эт мы самые, значит, и есть... — удовлетворенно подтвердил знакомый голос невидимого противника. — А правда-то твоя где? Ты правду давай!..

— Правду?! — взорвался Алексеев. — Вот она — правда... Вас, казаков, царь всегда использовал для того, чтоб душить свободу...

Казаки ожесточенно загалдели.

— А вы не злитесь. Вы слушайте. Это — правда. Но

народ сбросил царя-кровавицу. Нет царя и никогда не будет! Но угнетатели народа и царские прислужники живы. Генерал Корнилов — один из них и самый жестокий черносотенец. Он снова использует вас, казаков, чтобы утопить революцию в крови. А ради чего? Чтоб богатые по-прежнему остались богатыми, а бедные — бедными... Корнилов издал манифест, в котором объявляет Временное правительство кучкой наймитов и немецких шпионов, а сам он кто? Он-то и играет в руку Вильгельма. Знаете ли вы, что он добровольно сдал немцам Ригу и открыл им дорогу к столице России?

Казаки встревоженно загудели.

— Врешь! — выкрикнул кто-то.

— Нет, не вру. Это — правда. Корнилов — только пешка в кровавой войне, которую ведут капиталисты и помещики, американцы и англичане. Знаете ли вы, что по вашим следам идут английские солдаты и офицеры, одетые в военную форму русской армии?..

— Вре-ешь!.. — враз раздалось несколько голосов.

— Нет, не вру. Это — правда. Пошлите своих разведчиков в тыл, и вы убедитесь в этом. Вас обманывают...

Алексеев видел, что к костру подходят все новые и новые люди, образовалась уже порядочная толпа человек в сто. Подошел офицер и встал позади огромного бородача с тремя «георгиями» на груди, только голова и торчала из-за плеча.

— ...Но это не вся правда. Мы пришли к вам не агитаторами, а парламентариями, чтобы сказать: революционный Петроград не сдастся. Город готов к смертному бою. Кроме войск, которые есть у Временного правительства, винтовки взяли двадцать тысяч рабочих, десять тысяч революционных матросов, тысячи солдат гарнизона. Город окружен окопами, колючей проволокой. Если вы пойдете на Питер, вас ждут пули и снаряды, вас ждет смерть! И это тоже правда... Прогулки по Невскому не выйдут!

— А ты не пужай нас! Хаживали и под пули, и под снаряды. Ишь, испужал, аж в штанах мокро, — прогулдел кто-то из толпы.

Но большинство казаков стояли молча, слушали серьезно.

— Товарищи казаки! Вы хотите земли? — отчаянно закричал Алексеев. — Тогда вы не пойдете с Корниловым! Вы хотите свободы, не хотите угнетения помещиков? Тогда вы не пойдете на Петроград!

И в это время увидел, как офицер, стоявший за бородачом, вышагнул в сторону, расстегивает кобуру. В груди заглохло. Алексеев закричал громко, словно желая испугать офицера, остановить его...

— Вот за эту правду, за мои слова ваш офицер и хочет застрелить меня!..

Офицер вскинул револьвер и выстрел раздался, но пуля ушла далеко вверх — это бородач в последний миг ударил офицера снизу по локтю, да так, что вслед за пулей и револьвер, описав дугу, улетел куда-то в темноту.

Наступила гробовая тишина.

— Ты как посмел, мерзавец?! Как посмел? — яростно шипел офицер, наступая на огромного русоголового бородача, плечи — аршин, кулаки — по пуду, сапоги шестидесятого размера. Неизбывной силой веяло от этого русака, но он пятился к костру от офицера, едва доставшего ему до плеча. Офицер размахнулся и ткнул солдата в подбородок раз, другой, третий...

И вдруг бородач с криком схватил офицера за шиворот, потом второй рукой за штаны, поднял его над головой и швырнул в костер. Взметнулся сноп искр, разлетелись в разные стороны горящие дрова, раздался душевнораздирающий вопль. Офицер выкатился из огня, вскочил с криком на ноги и, светясь языками пламени, с горячей головой кинулся бежать. Его догнали, повалили, задушили огонь...

Понабежали офицеры с револьверами в руках, окружили Алексева, Разуваева и бородача, повели их в штаб.

— Не трожьте Михалыча!.. — угрюмо и зло гудели вслед казаки.

— Убирайте офицеров! Создавайте свой комитет! Переходите на сторону революции!.. — закричал Разуваев.

И тут же офицеры налетели на него, на Алексева, сшибли с ног, с матюгами и проклятиями стали пинать их, но подбежали солдаты:

— В штаб ведите, а бить не смейте!

Так и шли до самого штаба полка: в центре — Алексеев, Разуваев и солдат-бородач, вокруг — офицеры, а сбоку от них и позади — казаки.

Их привели к командиру полка. Пожилой, лет пятидесяти подполковник с огромными черными глазами на изборожденном морщинами скуластом лице сидел посреди избы на скамье и парил в деревянной шайке раненую ногу. Ему доложили о происшествии.



Н. К. Крупская.

Резолюция о союзах молодежи.

Съ первыхъ дней революціи въ цѣломъ рядѣ городовъ Россіи и въ особенности въ Петербургѣ, началось широкое движеніе рабочей молодежи и рабочаго юношества въ цѣляхъ созанія самостоятельныхъ пролетарскихъ организацій молодыхъ рабочихъ и работницъ.

Русская буржуазія, какъ западно-европейская, великодушно понимая, какое огромное значеніе имѣетъ подрастающее поколѣніе рабочаго класса на весь ходъ и развитіе классовой борьбы, попытается — и отчасти такіа попытки уже сдѣланы — использовать эти организаціи въ цѣляхъ подчиненія молодыхъ пролетаріевъ своей буржуазной идеологіи, вводя въ нихъ умъ и сознаніе понятія объ „обществѣ“, патриотизмѣ и т. п. отвлекая рабочую молодежь хотя бы на время отъ активнаго участія въ экономической и политической борьбѣ рабочаго класса. Партія пролетаріата въ свою очередь отдастъ себѣ отчетъ

Резолюція VI сѣзда РСДРП(б) «О союзах молодежи».



С. В. Косиор.



Э. П. Петерсон.



А. Е. Васильев.



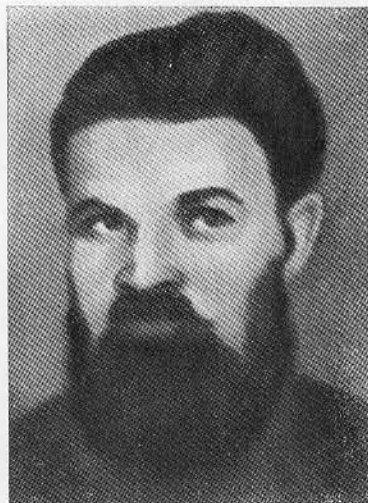
И. Д. Чугурин.



Василий Петрович Алексеев.



В. И. Невский.



Г. И. Самодед.



Л. Лисинова.



Петр Смородин,
генеральный секретарь
ЦК РКСМ, 1922 г.



В. И. Ленин в рабочем кружке.



О. Рывкин.



Е. Пылаева.



И. Тютиков.



И. Скоринко.



Г. Дрязгов.



П. Шевцов.

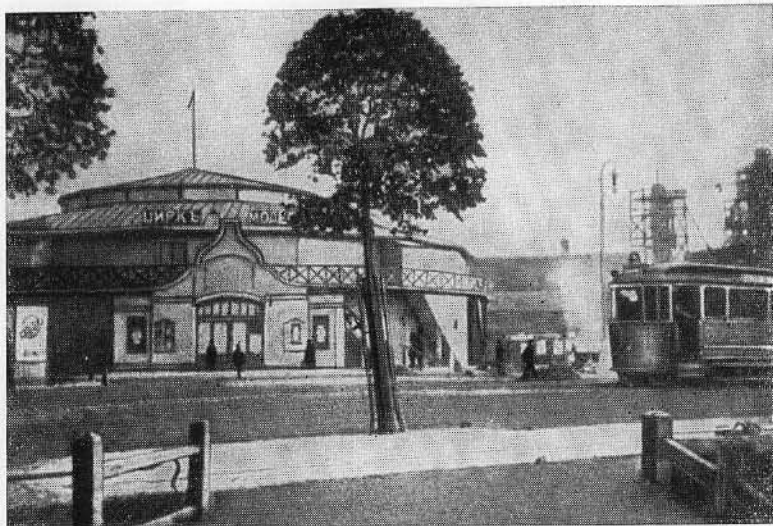


Н. Фокин.



И. Канкин.





Цирк «Модерн»,
в котором
состоялось
общегородское
собрание
петроградской
молодежи.

12-го-17-го.
Р-Б-З-О-А-Ю-Н-И-Я.

Пролетарской юношеской организации
«Труд и Свобода», при заводе «Л. Нобель»,
Заслушав доклад нашего представителя из
района товарища М-у-р-а-ш-е-в-а, и из его
слов узнали, что господин Шенцов ведет нашу
организацию, из дезорганизации, а не из оплошности
и своими действиями вносит раздор и вражду
из нашу среду.

Мы, организация юношей, протестуем против
диктаторства, и требуем строгое порицание
господу Шенцову и требуем чтобы сего удалили
из нашей среды, как не заслуживающего своими
действиями кроме порицания и удаления из
нашей среды.

Сила удостоверена на подписано
Председатель, *М. Орлов.*
Секретарь, *Н. Пугачев.*
товарищ в приходе, *Ф. Мурашов.*



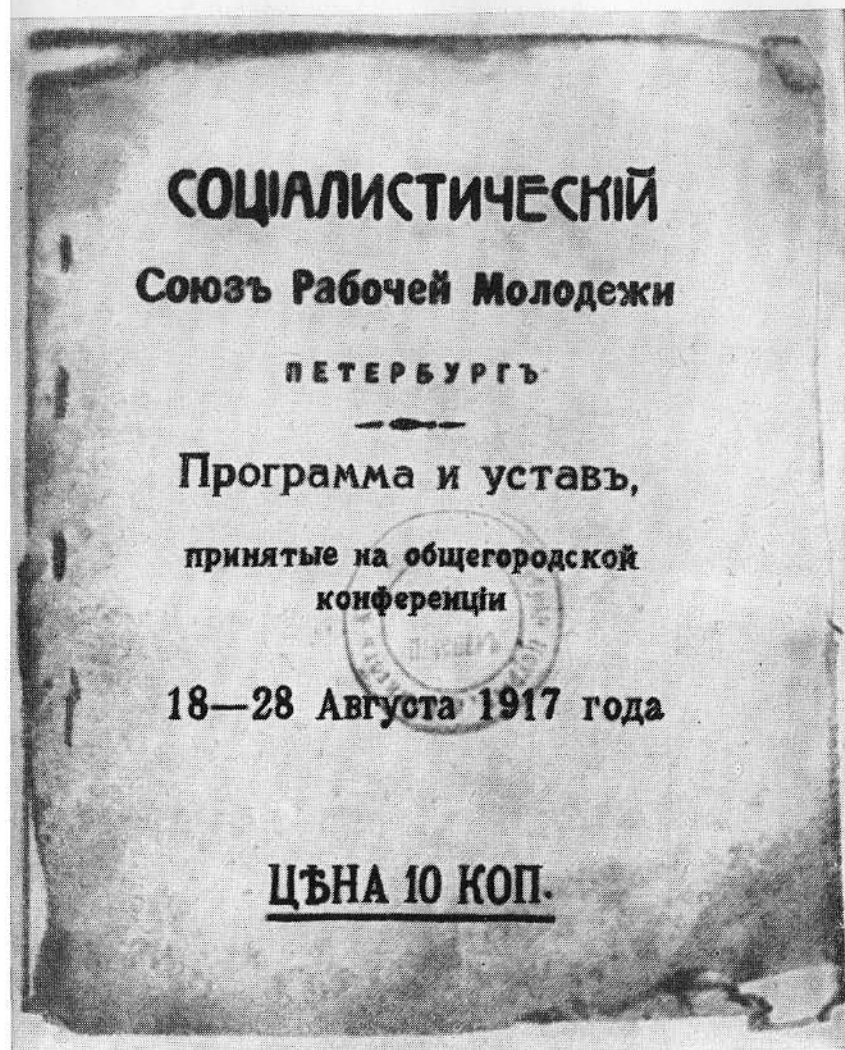
- 1) Знамя, красное, Выборгского районного комитета С. С. Р. М., сделано после конференции 30-18 августа 1917 г.
- 2) Знамя, черное, анархистующей молодежи Выборгск. района, с лозунгом «Трепещите угнетатели, юноши на страже». Сделано к 1-майской демонстрации 1917 г. заводом Пузырева, по инициативе П. Бурмистрова.
- 3) Знамя, красное, сделано к 1-майской демонстрации 1917 г.
- 4) Знамя, красное, завода Новый Леснер, сделано к 1 мая 1917 года.



Демонстрация в Петрограде.



Демонстрация рабочих на Невском проспекте,
18 июля 1917 г.

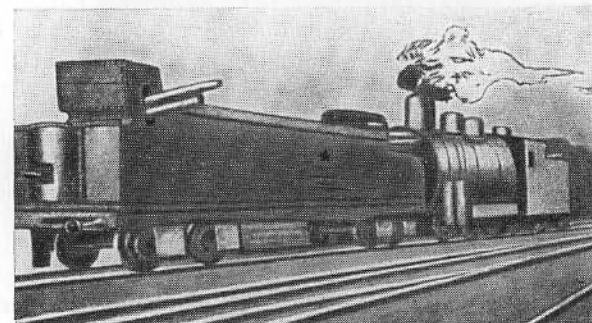




Панорама штурма Зимнего дворца.



Патруль молодых моряков проверяет документы на улицах Петрограда. Май 1919 года.



Бронепоезд № 44 имени товарища В. Володарского.



Аллея почета,
объединение
«Кировский завод».



Улица Василия
Алексеева.



Путиловская молодежь сегодня.

Подполковник обернул ногу портянкой, морщась и постанывая от боли, втиснул в сапог, встал и подошел вплотную к бородачу.

— Да правда ли это, Федор Михайлович?

— Правда, Владимир Григорьевич, — ответил бородач, глядя в глаза подполковнику.

— И ты мог?! Георгиевский кавалер, герой — напасть на офицера? — задохнулся возмущением подполковник. — Мы ж с тобой с четырнадцатого года вместе... Никогда не мог подумать... Ты ж для меня, четырежды израненный, как символ бессмертия нашей России и силы солдатского духа. Я тебя от всех бед берег, а ты... Как можно?

— В невоенного, в безоружного стрелять — не солдатски это, Владимир Григорьевич. Невозможно так...

— В этих, в большевиков — «невозможно»? В изменников, в предателей России — «невозможно»?

— Об этом судить не могу, какие они люди, а говорили они слова подходящие, что стрелять нам друг в друга не гоже. А если смотреть на то, какая наша жизнь пошла, выходит, правду они говорили. А господин есаул за это их застрелить хотели. Не гоже.

Подполковник, сузив глаза, долго смотрел куда-то через плечо бородача. Не сдержался, закричал:

— Они, значит, говорят правду, а ты, выходит, три года кровь проливал за кривду?

— Я за Россию бился. — В голосе бородача была гордость и твердость. — За Отчизну умру, чтоб не извел ее германец. А они, — бородач кивнул в сторону Алексева и Разуваева, — они Отечество не трогали, они только просили не убивать рабочих и революцию.

— И ты согласен с ними? — подполковник так и замер, ожидая ответа.

— Так ведь правда, ваше благородие, она какая ни есть, а все одно правда...

— Да-а... — протянул подполковник. — Да-а... Ну, что ж, вот за эту правду и пойдешь вместе с этими мерзавцами под военно-полевой суд. Ты уж извини, Федор Михайлович, ничем помочь не могу... — И отвернулся от солдата.

— Зря сердаете, ваше благородие. Жизни-то ведь не стало у народа... Прощайте на этом.

В сарае, куда их заперли, лежало немного сена, пахло навозом, конской сбруей и сыростью.

Алексеев упал на сено и забылся. «Спать надо, не-

много поспать, оклематься. И что они, сволочи, все по голове метят? Еще старая боль не прошла, и на тебе... Спать, надо набраться сил, а там посмотрим...»

Но сон не шел. Не спали и Разуваев с бородачом.

— Ну что, Федор Михайлович, плохи наши дела? Как оцениваешь обстановку? Спасибо, выручил. А то бы конец мне, — обратился Алексеев к бородачу.

— Дак ты ж правду гуторил, а правду надо оборонять, — раздалось в ответ сонно. — А про обстановку ты не трусь. Полк меня знает, полк в обиду не даст. Еще посмотрим, как обернется...

На этом разговор и оборвался. Не говорилось...

«Да, крепко влипли, — думал Алексеев. — Главное бестолку».

Повисла тревожная тишина. Где-то далеко ржали кони, доносились голоса, но все реже, реже. Лагерь засыпал. Уснул бородач, замер Разуваев.

Алексееву не спалось. «А ведь может так выйти, Василек, что это твоя последняя ночь, последние часы жизни. Очень даже возможно. Кто тут будет разбираться в тебе — хорош ты или плох, прав или нет... Сейчас цена человеческой жизни упала до копейки. А тем более для военных людей. Стрелять да убивать их работа. Шлепнут тут же в сарае и будешь гнить в этом душистом сене».

Кажется, он забылся на минуту, но это была длинная «минута», потому что, когда Алексеев открыл глаза, в щели крыши и стен уже лезли тусклые рассветные тени. Он очнулся от голосов, что приближались к сараю.

Заскрипел засов. Вошли командир полка и с ним три солдата. Алексеев едва узнал подполковника. Лицо его было землистым, вокруг глаз разлилась мертвяцкая спина, левую щеку подергивал нервный тик. Он долго не мог заговорить. Наконец, выдавил, спотыкаясь на словах:

— Я к тебе, Федор Михайлович... Пока вы тут спали, эти господа... — он кивнул в сторону солдат, — создали какой-то полковой комитет, арестовали офицеров, а меня собираются отстранить от командования полком, если я... черт знает что... будто это их полк, а не мой... если я не перейду на сторону революции... И вот я пришел спросить тебя, солдат, мы четыре года вместе... Я всю ночь терзался — как мне быть? Имею я право? Смогу я ужиться с этой самой народной революцией? Смогу?

Бородач стоял, вытянувшись, и оттого стал еще огромней.

— Как мне знать, Владимир Григорьевич? Что мне про эту революцию ведомо? Ничего. Говорят, что она народная. Так ли? — обратился он к Разуваеву.

— Самая что ни на есть, истинно народная! — выкрикнул тот.

— А коли так, то она мне любя, Владимир Григорьевич. И вы мне любя, как человек геройский, простой, к солдату близкий, а мне как отец родной. А коли вы да я столько лет уживались меж собой, отчего ж с народом не ужиться?

Подполковник стоял с застывшим, будто окаменелым лицом, смотрел вперед тусклыми глазами, и только мускул на левой щеке дергался.

— Спасибо, солдат, — только и сказал, повернулся и, прихрамывая, быстро вышел из сарая.

— Кто из вас тут старший? — спросил один из пришедших солдат.

— Я, — ответил Алексеев.

— Будем знакомы — Амвросов Ерофей, — представился солдат. — Я набран председателем полкового комитета. Большевик. У комитета просьба выступить перед полком с речью и разъяснить ситуацию текущего момента.

...31 августа было официально объявлено о ликвидации корниловского мятежа. Конный корпус генерала Крымова, как и большинство других частей, был разложен большевиками и отказался идти против революционного Петрограда. Вооруженной борьбы не потребовалось.

Поняв, что авантюра провалилась, Крымов застрелился.

Корнилов, Лукомский, Деникин, Марков, Романовский и Эрдели были арестованы. Как говорится, охота смертная, да участь горькая... Сорвалось.

Используя ситуацию, «спаситель революции», «мальчик с гимназическим лицом» вместо развалившегося правительства создал директорию, объявил Россию республикой, а себя фактически диктатором. Но если за пределами тесного круга Керенский еще казался кому-то символом государственной власти, то все, кто соприкасался с ним близко, давно поняли, что это — ничтожество и крайний авантюрист. Ленин писал, что «Керенский был и остается самым опасным корниловцем».

Ближайшие дни подтвердили это. 2 сентября под грифом «весьма секретно» им был отдан приказ о немедленном сосредоточении частей 3-го конного корпуса в районе Павловск — Царское Село — Гатчина: Керенский решил ударить по Петрограду, открыть огонь «налево» — по большевикам, по Петроградскому Совету.

Но было поздно: борьба с корниловщиной показала массам, кто на деле, а не на словах служит революции. Началась быстрая большевизация Советов, они стали превращаться в действительные органы диктатуры пролетариата.

Разгром Корнилова явился началом конца соглашательской политики русской и международной реакции. Это был пролог Великого Октября.

II

В первой половине сентября Ленин послал из Финляндии, куда он был переправлен из Разлива в целях безопасности, письмо Центральному, Петроградскому и Московскому комитетам партии «Большевики должны взять власть» и письмо ЦК РСДРП(б) «Марксизм и восстание». Он требовал от партии поставить в повестку дня вопрос о свержении Временного правительства путем вооруженного восстания.

Вскоре членов Нарвско-Петергофского райкома партии в его тесном зальчике собрали Я. М. Свердлов, Н. И. Подвойский, А. Слуцкий, которые ознакомили большевистский штаб за Нарвской заставой с первым письмом Ленина. «История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь», — писал он.

Нет, речь еще не шла о назначении дня восстания; говорилось о том, что его необходимость должна стать ясной целью, и теперь этой цели надобно подчинить все усилия партии. Письмо вызвало невероятное возбуждение среди собравшихся.

Свердлову, который зачитал его, задавали вопросы, просили разъяснить отдельные мысли и даже заспорили было о том, где же все-таки начинать восстание — в Питере или Москве, хотя в этом ли было главное...

Алексеев молчал. Ленин опять поразил его. «Ну, как это возможно, — быть за сотни километров от города, от центра событий, иметь связь с немногими людьми, довольно скудную информацию о происходящем и делать выводы, недоступные тем, кто стоит в центре этих собы-

тий и, кажется, движет ими. Нет, и в самом деле — движет, но куда? Вот ведь что главное в конце концов. Вот в этом и есть величие этого человека: с высоты своего знания и фантастической интуиции он видит дороги, по которым человечество идет в грядущее».

7 октября, в тот день, когда Ленин, загримированный, в парике, вернулся в Петроград, в домике у Нарвских ворот, где недавно проходил VI съезд партии и I городская конференция Социалистического союза рабочей молодежи, собралась Третья Петроградская конференция большевиков. От семитысячной партийной организации Нарвско-Петергофского района на нее было избрано 18 человек, и среди них Алексеев, Антон Васильев, Володарский, Иткина, Коснор, Невский, Самодед.

Кроме 92 делегатов с решающим голосом, на конференции присутствовало 40 делегатов с совещательным голосом. Почетным председателем был избран Ленин, а основой всей работы стали его тезисы, специально написанные для конференции, его «Письмо Питерской городской конференции. Для прочтения на закрытом заседании». В тезисах и письме Ленин вновь разъяснял и обосновывал необходимость немедленного восстания. К письму прилагался проект резолюции конференции о восстании, которая и была принята 10 октября.

В тот же день ЦК РСДРП(б) принял резолюцию, в которой признавалось, что «вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело».

16 октября, с целью проверки хода выполнения этой резолюции в условиях строжайшей конспирации состоялось расширенное заседание ЦК с участием Ленина. Почти два часа длился его доклад. Резолюция ЦК о восстании, принятая 10 октября, была вновь подтверждена. Был создан Военно-революционный центр по руководству восстанием, разработан его детальный план. Кроме Красной гвардии, которая, по мысли Ленина, должна была стать ведущей политической и военной силой восстания, он предложил создать специальные отряды из рабочей молодежи для выполнения самых ответственных боевых заданий. «Выделить *самые решительные* элементы (наших «ударников» в *рабочую молодежь*, а равно и лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для *участия* их везде, во всех важных операциях...»¹ — писал Ильич.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 197.

И вот он грянул — последний, решительный!..

На долю Алексеева в этом огромном и смертельно опасном деле выпала немалая работа: ему как заместителю председателя Петроградского комитета ССРМ было поручено координировать его действия со штабом Красной гвардии.

В ту октябрьскую ночь, когда отживала свой срок революция буржуазная и начиналась социалистическая, Алексева видели в городском и районном штабах Красной гвардии — отправлял отряды в Петропавловскую крепость за оружием, на штурм вокзалов, Центральной телефонной станции и телеграфа, на охрану Смольного; видели в районных боевых дружинах.

К девяти вечера Алексеев был у арки Главного штаба, где сосредоточились красногвардейцы Нарвского, Выборгского и Петроградского районов, солдаты Петроградского полка, броневики. Разыскал Самодеда.

— Ну, как дела?

Тот улыбался во всю бороду.

— Все: скоро «амба»...

Зимний был оплетен солдатскими и красногвардейскими цепями. Все ближе и ближе, перебежками, ползком занимались исходные углы и прикрытия для последнего броска — по Адмиралтейской и Дворцовой набережным, по Морской улице, Невскому проспекту, Красногвардейскому бульвару, по канавкам Эрмитажа, от головы Александровского сада, от углов Адмиралтейства и Невского. Кольцо сжималось, петля стягивалась... Ожидание великого мгновения, напряжение тысяч людей передались, кажется, даже камням мостовых и гранитным стенам.

Юнкера караулили каждое движение наступающих и на каждое отвечали выстрелом.

В Малахитовом зале Зимнего ссорились, заклинали друг друга посиневшими губами министры Временного правительства, судорожно хватаясь за обещания министра торговли и промышленности Пальчинского, который руководил обороной дворца: «Вот-вот придут войска с фронта. Они идут, они на подходе...» И они взбодрились на мгновение, и вдруг просыпалась надежда, но это было уже не правительство, то была историческая пыль...

А в маленькой комнатке Смольного, в котором должен был начинать свою работу Второй Всероссийский съезд Советов, метался Ленин, слал одну за другой записки

Подвойскому и Антонову-Овсенко, руководившим взятием Зимнего: «Надо открывать заседание съезда, а Зимний все еще не взят...» Ведь еще утром в подготовленном им обращении «К гражданам России» было сказано: «Временное правительство низложено». Зимний нужен был Ленину во что бы то ни стало!..

Волновались солдаты, красногвардейцы.

— Чего ждем? Сбегут министры!

— Спокойно, идут переговоры...

— Не нужно крови.

— Они лили, а мы — нет? Нечего разводить дипломатию.

Странное чувство испытывал Алексеев... События летели с бешеной скоростью, а ему казалось, что время остановилось. Нервы натянулись, как струна. Надо быть в ЦК ССРМ — там сейчас трезвонят телефоны, его ждут и ищут. Надо быть в Смольном, на съезде Советов. И надо просто нельзя не быть здесь, у Зимнего, в атакующих цепях.

В это время закричали:

— Алексеев, к Самодеду!

Самодед приобнял его, кивнул в сторону Зимнего.

— Видишь, замерли, даже огни потушили... Скоро пойдем. Возьми пятерку под команду и слушай задачу. Когда войдем во дворец, вы должны следить, чтобы не было грабежа. Там много всего ценного и прочего. Мало ли кто вотрется в строй. Это первое. А пока вот что... Надо тыл наш осмотреть. Есть скверные слухи. Вдруг кто ударит по нам, а? Вот каша будет!.. Давай, пройдишь-ка, да повнимательней гляди. Особо — Летний сад, Ижорский замок, Михайловский манеж да Садовую... Давай!

Но в это время раздались выстрелы с верхов Петропавловки и еще один правее.

— «Аврора» заговорила. Значит, штурм. Отставить обход, Алексеев.

Со стороны Зимнего застрекотали пулеметы, открылась частая стрельба из винтовок...

Алексеев вытащил «луковницу» — девять часов сорок минут. Натянул поглубже петлю на лоб. Ну?.. Гробовая тишина. И вдруг — грохот, обвал: «Ур-ра-а!»

Штурм начался.

Это было все как одно мгновение, в которое уложились несколько славенных памятью картин...

Вот черным потоком хлынули к Зимнему из-под арки,

из подворотен, из всех укрытий солдаты, красногвардейцы, матросы. Рев голосов. Треск винтовочных и револьверных выстрелов. Плотный пулеметный стрекот...

И уже баррикада из дров, а за пей юнкера, совсем мальчишки, с лицами, перекошенными яростью, ненавистью и страхом... Миг — и победный рев уже по ту сторону баррикад.

Рushатся двери армитажного прохода, звенят стекла госпиталя на первом этаже дворца. Вверх, вверх по лестнице... Из-за угла юнкер с винтовкой... в него не целясь, с ходу, в упор — из револьвера...

Среди пулеметов — группа ударниц женского батальона, обвешанных гранатами, с глазами, полными ужаса. Кто-то плачет, закрыв лицо руками, кто-то падает на колени, прося пощады.

Пробиваться все трудней — в узких боковых коридорчиках юнкерские пули летят плотным роем. И все же шаг за шагом — в глубь дворца, вверх по этажам.

Соппротивление с каждой минутой слабело, но продолжалось.

Перед глазами — огромные часы в углу: 10 часов 15 минут... Прошло уже (всего?) полчаса.

Алексеев остановился перевести дыхание. Как быть? Не увлекся ли? Ведь он не просто красногвардеец, у него есть поручение. И кроме того, надо быть в Смольном, на съезде Советов...

Алексеев едва успел войти в Колонный зал Смольного, как съезд, на котором из 650 делегатов 400 человек были большевиками, начал свою работу. Одним из них от Нарвской заставы присутствовал и Алексеев. Он примчался на съезд, чтоб хватить глоток боевой атмосферы, которая здесь воцарялась, ибо это была атмосфера России. Он изо всех сил тянул вверх руку, и это ему было очень важно, чтобы она была выше всех голов, потому что первым по списку от большевиков в состав президиума съезда было названо имя Ленина. Он вместе с сотнями других делегатов бил до боли в ладоши и кричал: «Да здравствует Ленин!», хотя Ленина в этот день на съезде не было — он руководил восстанием.

Алексеев сидел как на иголках: надо было мчаться по другим делам, в бой, но и тут, на съезде, еще было жарко, тоже шла драка и нельзя было выйти из нее раньше времени...

Эсеры, меньшевики и бундовцы настаивали на том, чтобы в первую очередь съезд рассмотрел вопрос о пре-

ращении восстания в Петрограде... И получили дружный «отлуп». Озлобленные, они кучкой пробирались к выходу — покидали съезд в знак протеста, а зал содрогался от свиста, смеха и улюлюканья: «Позор!», «Дезертиры!», «Предатели!»

Съезд продолжал работу, а Алексеев снова ушел на улицу.

Прочь усталость, бессонные ночи!.. Спя счастливой улыбкой, возбужденный, горячий, он уносился в ночную тьму на бешеном автомобиле, исполненный сознанием важности своей исторической миссии. Слово электрические токи летели в разные концы города его приказы по телефону — из ПК ССРМ, из ПК РСДРП(б), из Нарвско-Петергофского райкома, отовсюду, где он находился хоть минуту и где был установлен телефонный аппарат. Восторг — вот единственное слово, точно отражающее то настроение, которое владело им в те часы. Восторг и некротимое желание делать что-то еще и еще, сию минуту... Молох контрреволюции и гражданской войны уже поджидал его, раскрыв кровавадную пасть, а пока надо было не попасть в руки юнкеров и офицеров, которых выставил Керенский, еще надеясь спастись.

...Около Александровского моста автомобиль закап-ризначал. Сколько ни старался шофер — бестолку, запустить не удавалось. Решили с Юртевым, офицером-большевиком, идти своим ходом. А ночь — глаз коли, ничего не видно. И туман.

Вдруг в упор — яркий свет электрического фонаря и окрик:

— Кто идет?

Алексеев стоял, ослепленный, жмурился и ничего не видел. Скоро стало ясно — каски ударников, уже окружили, офицер:

— Кто такие? Куда идете?

«Что делать? — лихорадочно билась мысль. — В каком кармане удостоверение члена Петросовета? Там не указано, от какой партии. Только б не перепутать с удостоверением ПК ССРМ, не вынуть его».

Все в порядке. Офицер внимательно читает удостоверение, вновь наводит фонарь в лицо.

— От какой партии?

— От меньшевиков, — говорит Алексеев с беспечным видом. — Идем из гостей на Кавалергардскую улицу.

Офицер бросает взгляд на Юртева и, может быть, это и спасает: этот-то наверняка свой, офицер

— Проходите. Да осторожней, вокруг большевистские патрули.

Не торопясь, намеренно медленно Алексеев с Юртевым двинулись. И вдруг до слуха донеслось: «Как отойдут, в спину». «Бежать?»...

— Тихо, — шепнул Алексеев Юртеву, а сам съезжил: вот сейчас грохнет залп... И вздрогнул от оклика:

— Господа, вернитесь.

Снова: «Что делать? Бежать? Возвращаться?»

— Приготовьте револьвер, Юртев. Вернемся, — вновь шепнул Алексеев.

Не торопясь подошли к начальнику патруля.

— В чем дело?

Несколько секунд офицер пытливо смотрел на обоих.

— Дорогу знаете?

— Конечно. Мы ж домой идем...

Офицер козырнул.

— Хорошо, идите.

Крикнул кому-то в темноту:

— У тебя большая фантазия, прапорщик...

Уже глубокой ночью Алексеев снова примчался к Зимнему, и остались в памяти картины.

...Антонов-Овсеенко с командой ведут министров — гладко выбритого, высокого, в английском костюме Терещенко, Вердеревского в новенькой адмиральской форме французского флота, сухощавого Кишкина с роскошной бородой...

— Куда их ведут? — кричали вокруг. — Расстрелять! — и баста! Смерть! Смерть!..

...Стоят солдаты и зычно ржут, слушая своего товарища о случае с бывшим министром иностранных дел Терещенко, которого видел недавно Алексеев. Когда того вели под конвоем по Дворцовому мосту, показался броневик, непрерывно стрелявший из пулемета. Конвойные тут же повалили толстого министра на мостовую, уложили на него свои винтовки и изготавились к защите, полагая, что министр — надежная защита от пуль. Министр ворочался, возмущался, орал от страха, но солдаты давили его винтовками к земле: «Лежи. Должен же ты революции хоть на что-то согнуться...»

— ...А этот-то, как его? — хохотал какой-то матрос. — Как его, а? Кишкин! Вспомнил... Лезет через баррикаду, а у самого глаза от страха как у зайца — в разные стороны. Что впереди — не видит. Зацепил ногой о бревно,

шмяк лапами на мостовую, а ноги наверху. Вспит и мяукает от страха... Министр, туды-т твою...

Он заснул, когда в окнах уж брезжил рассвет, на столе, где заседал ЦК их союза молодежи, не раздеваясь, не укрываясь, не подложив даже книгу под голову, как делал это обычно. И когда утром пришли товарищи, то это никого не удивило: дело обычное, каждый так поступал частенько. Попытались разбудить Алексеева — без всякой пользы... Ему брызгали в лицо водой, усаживали на столе, шлепали ладонками по щекам, терли уши, а он только мычал протестующе, но даже глаз не открыл.

А когда проснулся — разом, будто от удара током, когда соскочил со стола на пол и растер лицо ладонями, то увидел записку: «С победой, Вася! Ура!», а на ней две вареные картофелины, кусок хлеба и луковица: завтрак победителя.

А вечером был снова Смольный, съезд Советов и Ленин, совсем непривычный — без бороды, усов, с большим ртом и таким выдающимся, энергичным подбородком, — но это был Ленин. Он стоял на трибуне, ухватившись за ее края, щурился, обводя взглядом зал, и словно не слышал овации...

Потом сказал, будто не начинал, а заканчивал речь:

— Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!

И снова грохот потряс Колонный зал.

— Первым нашим делом должны быть практические шаги к осуществлению мира...

Ленин говорил голосом с хрипотцой, широко открывая рот, ровно, будто читал, наклонялся вперед, желая сделать ударение на какой-нибудь мысли, говорил просто и ясно о том, что было выстрадано миллионами и оплачено кровью, жизнями миллионов.

Какой-то старый солдат плакал как ребенок, утирая слезы лапшой, и бормотал:

— Господи, господа, неужто, а? Войне конец — неужто?..

Вдруг вспомнился Алексееву зримо, живо — Усачев: как лежит в камере «Предварилочки» лицом вверх, мертвенно-бледный, еще несколько секунд назад живой, кричавший, а теперь его укутывают в рогожу и волокут за дверь... Похороны жертв революции на Марсовом поле... Июльская демонстрация и люди — падают, падают, кто со стоном, кто с воплем, а кто бесшумно, словно осенний лист с дерева... И те, в 1905 году, в телегах, сложенные

штабелями, зачоченные, с выставленными вверх борами... «Сколько времени уже прошло, сколько событий отшумело, а они живут, живут во мне, убитые дети моего жестокого века. Отчего?» — подумалось.

...Потом решался вопрос о земле. И снова говорил Ленин. В два часа ночи Декрет о земле был принят. Крестьянские делегаты кидали шапки вверх от восторга.

И «Интернационал»... «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Медленно, грустно и трогательно до слез, но — черт возьми! — теперь уже торжественно и победно!

В шестом часу утра Алексеев вышел из Смольного. Съезд закончил работу...

У входа в Смольный, под фонарем стоял солдат и, шведля губами, с трудом читал какую-то бумажку.

— Помочь? — предложил Алексеев.

— Никак не можно, сам должен видеть. Это ж — Декрет о земле. — И погладил ласково бумажку.

— А это что? — указал Алексеев на какие-то бумаги под мышкой у солдата.

— А это календарь на семнадцатый год. При Декрете выдают. Очень даже способно на раскурку.

III

Начинался новый мир — первое в истории рабочекрестьянское правительство во главе с Владимиром Лениным работало уже несколько часов. Настроение у всех было чистое, ясное. Но на политическом горизонте уже собирались грозные облака.

Дул порывами холодный, северный ветер. Зловещие тучи плыли со стороны Царское Село — Пулковое... Бежавший из Петрограда Керенский вместе с генералом-корниловцем Красновым еще 26 октября во главе казачьих войск двинулся на Петроград.

27 октября пала Гатчина. Краснов издал и распространил в Петрограде приказ Петроградскому гарнизону: сдать, поднять мятеж и задуть революцию, ее новое правительство — уничтожить.

28 октября взято Царское Село...

Керенский шел к столице, почти не встречая организованного сопротивления, издавал приказы как министр-председатель Временного правительства и Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Российской Республики — один наглее другого.

До Петрограда оставалось двадцать пять километров.

Опасность была реальной и огромной. Скоро она исчезнет, и грядущие историки отметят, что это был лишь эпизод, мелкое звено в истории октябрьских дней.

Но тогда этого никто не знал.

Верилось в скорую победу, а в то, что «наши» могут отступить, что «нас» могут победить — не верилось.

Но — отступали...

Головной отряд защитников города под командованием Чудновского не смог задержать противника, сам Чудновский был ранен, его отряду грозило истребление.

На фронт отправился главнокомандующий обороной Петрограда Антонов-Овсеенко. Но и он не смог внести порядка в царившую неразбериху.

Утомленного неделями бессонных ночей Антонова-Овсеенко на посту Главнокомандующего обороной города сменил Подвойский. Последовали приказы полкам: «Выступать на фронт!» Но солдаты, привыкшие за эти месяцы решать все вопросы по своему разумению, в большинстве отказались их выполнять: «Надобно сам Питер защищать, а не подступы».

Подвойский и Крыленко шли в казармы и почти всюду наталкивались на бесцеремонное «нет».

Ленин, который до того направлял и контролировал ход обороны Петрограда, не отстраняя Подвойского от его обязанностей, фактически взял руководство ею в свои руки. Подвойский воспротивился «параллелизму».

Ленин вскипел как никогда:

— Я вас предам партийному суду, мы вас расстреляем. Приказываю продолжать работу и не мешать мне.

В ночь с 28 на 29 октября Ленин неожиданно приехал в заводом Путиловского завода: нужно было больше пушек против Керенского и Краснова, а еще нужнее был бронепоезд, о котором он вчера говорил с предзавкома Васильевым. Надо проверить...

Алексееву позвонили: «Срочно приезжай! Все члены Нарвского райкома партии вызваны на Путиловский». Он, конечно, опоздал к главному: разговор уже был закончен, собравшиеся вместе с Лениным ели печеную картошку, запивая ее кипятком. Только что и успел Алексеев, так это съесть картофелину, когда Ленин и Антонов-Овсеенко начали прощаться.

— Здравствуйте и до свидания, товарищ Алексеев, — сказал Ленин, пожмая ему руку. Глаза его были воспалены и усталы.

— Так я надеюсь, — сказал он, обращаясь сразу ко всем. — До свидания.

— Не подведем, Владимир Ильич, — заговорили сразу все. — Будьте уверены.

Железная воля Ленина и железный ленинский план действий довели концентрацию сил и средств революции до крайнего предела в считанные часы, и эти короткие часы и дни защиты социалистической революции от первого нападения остались в истории поражающей воображение высотой душевного горения, энтузиазма и жертвенности, с которыми десятки тысяч простых людей по воле Ленина бросились грудью на смерть ради того, чтобы отстоять завоеванное.

Против Керенского и Краснова шли не просто солдаты, матросы и красногвардейцы, нет! — против них шла Армия Революции.

За Алексеевым в эти дни оставалась все та же обязанность: связь ПК ССРМ с Красной гвардией. Опять, не переставая, гремел телефон, опять стояла толпа людей в кабинете и в коридоре и надо было решать сотни вопросов. Где собираться? Кто командир? Где взять винтовки? Патроны? Куда ехать? Где достать грузовики? Как быть с девушками — брать ли в бой? Нужны ли санитарки?

А как хотелось бросить всю эту телефонную мутоту и кинуться туда, где бой, где схватка, чтобы глаз в глаз, штык в штык с этими... с ненавистными...

Но он обязан быть там, где приказано.

...Гроыхая походными кухнями, гремя котелками, с саперными лопатками, тяжело ступая по скользкой дороге, один за другим шли на передовую солдатские полки.

С ревом и гарью от выхлопных труб обгоняли их грузовики. Это ехали на фронт с заводов и фабрик рабочие. У каждого винтовка, десяток патронов — и все. Ни елы, ни санпакетов. Где будет ночлег? Где будет бой? Кто будет кормить? Кто станет перевязывать раненых? Об этом не думалось. Сказано: «Стройся!» Разобрали винтовки, сели в грузовики — и вперед! Победить или умереть... Причем тут ночлег, еда и раны?..

Ехали совсем мальчишки и глубокие старики, девушки и пожилые женщины, горластые и уверенные члены ССРМ. Питер уже знал и любил их. Им улыбались, их приветствовали, и они, сознавая свое историческое значение, тянули вверх подбородки, пели звонко и отчаянно революционные песни.

Кто направляет это безостановочное движение, указы-

вает, где противник, кто руководит этими землеройными работами? Кто вычерчивает профиль окопов? Где специалисты? Саперы? Их нет. Командиров хронически не хватает. Их отбирают и назначают тут же, из общей массы.

Все это Армия Революции.

И вдруг 29 октября — удар с тыла, в спину... Задержан юнкер, а у него приказ о том, чтобы все юнкерские училища Петрограда находились в боевой готовности и в точности выполнили задачи, которые будут возложены на каждое из них. Он шел на совещание в Инженерный замок, где уже собрались заговорщики: полковник Полковников, Пуришкевич, Филоненко, Савинков и другие главарь созданного в эти дни меньшевиками и правыми эсерами контрреволюционного «Комитета спасения родины и революции».

Еще шел допрос задержанного юнкера, а юнкерский мятеж уже начался.

Захвачены почтамт и телеграф...

Занята телефонная станция, Царскосельский вокзал...

В руках мятежников банк, военная гостиница «Астория»...

Юнкера и офицеры овладели броневиками...

Вскоре выяснилось: выступили Павловское, Николаевское, Владимирское военные и Константиновское артиллерийское училища. Около 6000 юнкеров. Немалая сила... Офицеры и юнкера засели также в Инженерном замке, во дворце Кшесинской, в доме на углу Большой Спасской...

Ситуация сложилась критическая: большинство революционных полков и отрядов Красной гвардии были уже на передовой, дрались на фронте против Керенского и Краснова. Какими силами подавить мятеж? Вооружить новые тысячи рабочих — вот единственный выход.

Работники ЦК и ПК, сотни активистов райкомов партии, советов, ПК и райкомов ССРМ были брошены на заводы. На всю агитацию, на вооружение рабочих — считанные часы и минуты.

Вскоре весь двор Смольного был заполнен рабочими. Все активисты союза молодежи, не успевшие уйти на фронт, были здесь, а с ними сотни и сотни членов ССРМ. Не успевали подвозить оружие. Не хватало командиров. Их тут же и назначали...

Уже двор пустел и во все точки мятежа были направлены красногвардейцы, когда Алексеев обратился к подшофе Подвойскому:

— Я — ко Владимирскому, там путиловцы и что-то не ладится. Можно?

— Валяй! — махнул рукой Подвойский.

С группой молодежи Алексеев забрался в грузовик, и они помчались. Едва выскочили со Шпалерной на угол Литейного, как навстречу показался броневик, повернул башенку, и из ее щелей стали выскакивать красные язычки. Засвистели пули, но шофер грузовика уже свернул в переулочек. Пососкакивали наземь, залегли за угол, принялись палить по броневiku. Но он отчего-то не стал ввязываться в бой, развернулся и умчался по Семеновской.

У Владимирского училища шел бой. Со всех сторон оно было обложено солдатами огнеметно-химического батальона, резервного Гренадерского полка, красногвардейцами Путиловского и Петроградской стороны.

— Где путиловцы? — спросил Алексеев у лежащего за газетной тумбой рабочего.

— Где-то там, — махнул тот рукой вправо.

Неожиданно из слухового окна двухэтажного домика раздался крик:

— Алексеев, давай к нам! Это я, Шульман!.. Только сзади или сбоку заходите, иначе подстрелят!..

Всей группой забрались на чердак, где уже сидело и лежало у окна человек десять.

— Сколько ж вы тут сидите? — спросил Алексеев у Зиновия Шульмана, с которым с 1915 года вместе токаричили в пушечной мастерской.

— Да уж часа четыре... Ходили в атаку — бестолку. Наших перебили много. Теперь в них постреливаем, они в нас. Двоих подрали, правда, легко...

В это время вбежал запыхавшийся Максим Мухтар-Ландарский.

— О, Алексеев! Здорово. А я тут команду нашей путиловской братвой... Ты вот что... Мы сейчас пойдем в атаку, а вы вместе с другими, которые вроде как в «блиндажах» сидят, прикройте. Да получше...

И убежал.

Через несколько минут с криками «ура» со всех сторон к училищу бросилось несколько сотен солдат и красногвардейцев. Лежа, сидя, стоя плечом к плечу, все, кто был на чердаке, вместе с Алексеевым били из слухового окна по окнам училища. Но грохот пулеметов с той стороны перекрывал винтовочные залпы и крики. Один за другим падали наступавшие.

— У них этих пулеметов черт знает сколько... А сте-

ны только из пушек можно взять... — растерянно пробормотал Шульман.

— Так что ж вы не раздобудете пушку? — закричал Алексеев.

И бросился вниз, искать Мухтар-Ландарского.

Но что это — из окон училища показались белые полотнища. Одно, второе, третье...

— Ур-ра! — завопили со всех сторон солдаты и красногвардейцы.

И Алексеев кричал «ура» и вместе со всеми двинулся к училищу через площадь, где санитарки уже возились с ранеными.

И вдруг снова ударили пулеметы. Это было так неожиданно, что поначалу многие не поверили: ведь вон же они, белые флаги!.. Как можно стрелять?!

Люди валялись пачками. Истощенно закричали раненые санитарки.

— Где Мухтар-Ландарский? — взбешенно орал Алексеев, кусая от злости и бессилия губы.

Выяснилось, что он в соседнем переулке вместе с прибывшим комиссаром ВРК И. П. Павлуновским обсуждает план дальнейших действий. Алексеев присоединился к разговору. Решили, что надо повторить штурм под прикрытием прибывшего с Павлуновским легкого броневика.

Броневик выкатился вперед и, тихо двигаясь вперед, начал бить из пулеметов... Сотня, а может, больше солдат Гренадерского полка и с ними Алексеев, Мухтар-Ландарский и группа красногвардейцев бросились было к училищу, но они едва добежали до броневика, как он остановился, через несколько секунд захлебнулся и его пулемет. А от училища продолжали строчить пулеметы, и Алексеев с Мухтар-Ландарским, лежа позади броневика, слышали, как там, внутри него, раздавались стоны.

— Павлуновский, что произошло? — закричал Мухтар-Ландарский.

— Убило пулеметчика, шофера тоже... Бронбойными бьют, сволочи, — глухо раздалось в ответ. — Сейчас я буду пятиться, вы не высовывайтесь, кто там сзади.

Грохнул разрыв гранаты, второй, третий... Гранаты не долетали до броневика метров пятьдесят, осколки с визгом отлетали от брони, никого не поражая, но взрывная волна, проходя под днищем машины, больно ударила по перепонкам, по лицу.

За углом броневик остановился. Павлуновский вылез

из него весь забрызганный кровью. К нему подбежали санитарки, но это была кровь убитых в броневике.

— Без пушки нам их не взять, — мрачно сказал Павлуновский, глядя, как из броневика вытаскивают мертвых солдат. — Ждите, я сейчас вернусь.

Сел в броневик и уехал.

Установилась томительная пауза. Видно, и там, в стенах училища, были жертвы...

Наконец откуда-то слева раздался пушечный выстрел и тут же в стене училища между окнами третьего этажа появилась большая дыра. Внутри раздался грохот, вопли.

— Сдавайтесь или разнесем в клочья! — донесся возглас пушкарей. Но ответа не последовало.

Тогда грохнул второй выстрел, еще и еще один... Здание окуталось дымом и кирпичной пылью. Пулеметы на время умолкли и тут, не сговариваясь, без команды, со всех сторон к нему бросились осаждавшие, добежали до стен, стали карабкаться в окна. Вдруг послышались крики:

— Стойте! Они сдаются! Белый флаг!..

Но теперь уже, ученые горьким опытом, наступавшие были осторожней. Группами, перебежками ворвались в главный вестибюль училища и увидели картину: вдоль стены, подняв руки, стояла большая группа офицеров и юнкеров, а в стороне лежало в куче их оружие...

Гренадеры тут же окружили их.

Но бой еще не закончился. На веревках и простынях с верхних этажей спускались юнкера, офицеры, некоторые просто выпрыгивали из окон, пытались прорваться. Наверху стреляли из винтовок, строчил пулемет.

— За мной! — крикнул Алексеев и кинулся вверх по лестнице.

На Алексева из-за угла вылетел юнкер, не смог остановиться, ударился с разбегу об него грудью, отлетел к стене и сполз на пол. Он сидел, русоголовый, розовощекий, медленно-медленно поднимал руки и силился что-то сказать. А в глазах был стыл откровенный, животный страх...

Алексеев стоял над ним, наставив наган, и ему не было жаль этого розовощекого, но он не мог нажать на спусковой крючок.

— Господин комиссар, — простонал розовощекий мальчик, — не убивайте, ради Христа... Мне только семнадцать... Я не хочу умирать, господин комиссар!..

И зарыдал, задержался в истерике.

— А, с-сука, плачешь?! А сколько наших положили? — И выстрелил... в угол, в паркет, рядом с мальчиком...

На третьем этаже посреди одной из комнат на полу сидела молодая ударница и, словно сумасшедшая, повторяла одно и то же:

— Где господин полковник? Где господин полковник?..

На нее никто не обращал внимания.

— Какой полковник? — спросил Алексеев.

— Полковник Карташов, начальник училища, — ответила она вполне осмысленно. — Он, наверное, в кабинете. Убейте его!..

— Показывайте, где кабинет! — приказал Алексеев.

Собрав еще человек пять солдат и красногвардейцев, Алексеев в сопровождении ударницы, добрался до кабинета Карташова. Дверь была заперта. Но как только ее попытались ломать, изнутри загремели выстрелы. Один из солдат тут же рухнул, раненный в живот.

— Давай гранату! — крикнул Алексеев.

Попрытались. Грохнул взрыв, дверь разлетелась в щепки.

Через несколько секунд в проломе появился полковник Карташов. Он был ранен в левое плечо и стоял, привалившись спиной к косяку. Взгляд и все его лицо были сплошь из боли и ненависти.

— Ну, где вы, мерзавцы, мразь!.. — кривил он губы в хриплом полукрике. — Ну, выходите же, я всажу пулю хоть в одну из большевистских рожек...

— Огонь! — скомандовал Алексеев.

С разных сторон раздалось несколько выстрелов...

IV

Контрреволюционный мятеж, организованный эсерами и меньшевиками, потерпел провал. Уже в самом начале все пошло у мятежников не так, как планировалось. Вместо нападения окруженные юнкера были вынуждены обороняться, а не нападать. К двенадцати часам сдались юнкера Михайловского училища, после двух — Павловского, а вскоре после этого и Николаевского. Владимирцы держались дольше всех, но около четырех часов дня и их уже вели в Петропавловскую крепость. Пал Инженерный замок. В пять тридцать — телефонная станция. Чуть позже — очищен от юнкеров Царскосельский вокзал и Петровский корпус.

Лишенное поддержки изнутри, на которую так рас-

считывали Керенский и Краснов, захлебнулось под Пулковскими высотами 30 октября и их наступление. 31 октября в Гатчине вместе со штабом был взят в плен генерал Краснов. Переодевшись в женское платье, главноверх и премьер-министр Керенский в панике бежал...

Образовалось несколько дней затишья. И хотя ясно было, что это ненадолго, что будущее сулит еще много неожиданностей, а все же это был кусочек спокойной жизни. Алексееву не верилось: неужто и в самом деле можно, наконец-то, можно заняться «сладкой работой» — журналом?

Редакция «Юного пролетария» помещалась на третьем этаже дома № 201 на Фонтанке. Сюда Алексей приходил после работы на «Анчаре», в райкоме партии, в райкоме союза молодежи, в ЦК ССРМ или Петросовете, но все ж приходил: ведь на дверях редакции висела табличка: «Прием желающих опубликоваться с 7 до 9 часов вечера».

Они приходили в свой журнал, члены союза рабочей молодежи, ставили в угол винтовки и не гнуцимися от холода пальцами лезли за отвороты шинелей и курток — там лежали их «сочинения». Алексей терпеливо читал все, что ему выкладывали на стол. Читал, тускнел в душе — конечно, все это непечатно, — но виду не показывал. Советовал, как надо писать, что-то переписывал, утешал. Ведь это были свои парни и девочки, готовые умереть за революцию, они уже неплохо владели «грамматикой боя» и «языком батарей», но с языком, на котором говорили, с родным русским языком были явно не в ладах, потому как никто не учил их обыкновенной грамоте, а слова «орфография» и «синтаксис» звучали для них ругательно...

А все ж он должен был во что бы то ни стало выйти, его журнал!

Алексеев упрашивал писать статьи Скоринко, Тютикова, Леске, Смородина, Пылаеву и, надеясь на них, в любую свободную минуту работал сам; а поскольку этих свободных минут не было, писал ночами. Не только по долгу редактора, но и по призванию политического борца, по велению страстной своей души, рвущейся к людям. Слово было его оружием. А тут вдруг — такая трибуна!.. И еще потому, что любил слово, понимал, чувствовал и ощущал его магическую силу. Он любил всякую работу, но из всех работ самой приятной было для него писатель-

ство, момент, когда он брал в руки карандаш, расправлял чистый лист бумаги и укладывал на него первые строчки...

Прошла неделя, вторая и вот, кажется, все готово: найдена бумага, типография, в которой будет печататься журнал, на столе редакции целая куча статей, а среди них несколько написанных им, Алексеевым: передовая «Наши задачи», статьи «Рабочая молодежь и Красная гвардия», «Язвы нашей жизни», поэма «Детство и юность».

Но когда он принес материалы владельцу частной типографии «Сельский вестник», оказалось, что их мало для «книжки». Тут уж надеяться не на кого: к утру материалы должны быть в типографии. За ночь родились еще две статьи Алексева: «Гнойники революции» и «Вниманию социалистов-революционеров».

И вот наступил день, когда надо было получать готовый двухтысячный тираж «Юного пролетария». Дело стало за «малым» — не было денег, которые следовало заплатить за работу типографии. Двадцать пять процентов задатка, которого потребовал владелец «Сельского вестника», были собраны на предприятиях Петрограда. Просить во второй раз совесть не позволяла. Кинулся в Наркомат просвещения — у самих денег нет. Обратился в Госбанк — там сидят саботажники. Позвонил Крупской: «Что делать?» Решили, что помочь должен профсоюз металлистов: ведь большинство членов ССРМ — от этой профессии. И не ошиблись. Большевики, руководившие профсоюзом, выделили пять тысяч рублей. И это было спасение.

Ну, разве не был праздником день 28 ноября, когда заколеченный от мороза Алексеев влетел с охапкой «Юного пролетария» на заседание горкома ССРМ и сорвал его напроць! Он был у него в руках, пахнувший типографской краской журнал — его идея, его мечта! Это был первый, программный номер «Юного пролетария», он должен задать тон на будущее, и это, ей-богу, удалось! И разве это не счастье, когда в этом журнале опубликованы твои статьи и твои стихи?

Это был праздник всего Петроградского союза молодежи. Но самым счастливым в этот день был Алексеев. Его поймет всякий. Но каждый, кто сам написал и опубликовал хоть строчку, поймет по-особенному...

— «Юный пролетарий!»! Покупайте журнал питерской молодежи!.. «Юный пролетарий!»! — кричали на улицах мальчишки-газетчики.

ЦК ССРМ направил в районы обращение, которое за-

канчивалось словами: «Товарищи! Все за перо! Наш журнал должен отражать наши стремления и защищать наши интересы. Он наша трибуна и орудие нашей борьбы.

Да здравствует юношеская печать!»

Могли ли Алексеев, Смородин и Рывкин предполагать тогда в своем голодном и жестоком времени, что их первенец, этот тоненький журнальчик, разовьется затем в целую индустрию молодежной печати нашей страны, равной которой нет ни в одной стране мира? Наверное, они мечтали. Но могли ли поверить, что мечта сбудется?

«Юный пролетарий» разошелся по Петрограду, по многим уголкам страны и там делал свое дело: агитировал, пропагандировал, организовывал. Журнал резко критиковал состояние дел в Петроградском союзе молодежи. Статья Алексеева «Язвы нашей жизни» посвящалась именно этим вопросам.

Причин для критики было много. Еще не был организован учет членов союза. Еще никак не могли наладить сбор членских взносов, а потому не хватало средств на помещения для райкомов, для проведения мероприятий. Еще слабо работал актив на заводах и фабриках, не зная, чем заняться в эти недолгие недели относительного затишья. И мудрено ли? Первый в истории России социалистический союз пролетарского юношества только родился, едва освобождался от пеленок, вставал на ноги и учился делать первые шаги...

«Помните, товарищи, и не забывайте, — писал в этой своей статье Алексеев, — что теперь мы, трудящиеся, становимся полноправными хозяевами страны. Никто, кроме нас, рабочих и крестьян, не устроит новой, здоровой и радостной жизни.

Мы — революционные творцы общечеловеческого счастья и мы должны быть ответственны перед историей за свои дела и работу.

Не поддавайтесь мещанским прозябаниям и позорной бездеятельности своего юного, но могучего пробуждения! Не убегайте от жизни! Не замыкайтесь в личную жизнь и беспринципное мечтательство. Смело взлетайте в вихрях молодых порывов в водовороте борьбы!»

Но дело было не только в этом: резкие разногласия вдруг обнаружились в городском комитете ССРМ. Заспорили — непримиримо, на взаимоуничтожение — Алексеев и Леске, председатель и заместитель председателя горкома.

Схватились не по пустякам, по вопросам для союза молодежи принципиальным.

Сначала по-за углам, потихоньку, потом на заседаниях горкома и все громче Леске стал нападать на Устав ССРМ, вину за все недостатки в работе городской организации валить на низовые организации. А сам, между тем, перестал в них бывать. Все реже собирал заседания горкома и быстро, не по дням, а по часам катился куда-то в анархизм, пока, наконец, не сказал однажды, что союз-де надо бы «почистить» и резко сократить, весь «балласт» безработной молодежи из него убрать, а может, и вообще заменить ССРМ такими бытовыми «анархическими коммуна-ми», где все общее — жилье, деньги, еда...

Когда б такую чушь нес кто другой, ну, хотя бы просто член ПК, дьявол с ним, как говорится: какие только сумасшедшие мысли не приходят сейчас в головы людям... Но это — председатель!.. Когда бы было время для дебатов, можно и поспорить, поубеждать — ведь он же умный парень, этот Леске, рабочий... Но через три дня — Вторая городская конференция ССРМ. Только новой бучи на ней и не хватает в тот момент, когда союз и без того «тает» на глазах: безработица ударила по молодежи так сильно, что у кого отшибла всякую охоту к общественным делам, кого погнала на заработки в деревню. Надо думать, как решать эти и другие вопросы, а не спорить о формах организации.

Снова подняла голову контрреволюция, подогреваемая английской, американской и французской дипломатией. Еще несколько месяцев назад обеспокоенные тем, как бы Россия не вышла из войны с Германией, с помощью своих разведывательных служб они шарили у трона, в ставке Главнокомандующего, в Государственной думе, в министерствах, финансовых кругах, графских и княжеских салонах, высекивая силы, способные помешать отводу русского солдата из окопов. Беда, казалось им, могла прийти только отсюда, сверху, как следствие очередных нелепых решений царя или его окружения, а она грянула снизу...

Огненная лавина революции разлилась по улицам Петрограда так быстро, что застала всю заморскую дипломатию врасплох. В дневниках английского посла в России Джорджа Бьюкенена слово «большевики» появляется только в апреле 1917 года. Французский посол Морис Патеот тоже начинает говорить о большевиках как о реальной политической силе примерно в то же время.

Имя Ленина в его воспоминаниях «Царская Россия накануне Революции», которые были изданы в Петрограде в 1923 году, появляется лишь на последних страницах второго тома. 21 апреля, в субботу, Палеолог сделал примечательную запись:

«Когда Милюков недавно уверял меня, что Ленин безнадежно дискредитировал себя перед Советом своим необузданным пораженчеством, он последний раз был жертвой оптимистических иллюзий.

Авторитет Ленина, кажется, наоборот, очень вырос в последнее время. Ленин отдает на службу своим мессианистическим мечтам смелую и холодную волю, неумолимую логику, необыкновенную силу убеждения и умение повелевать.

...Когда его химерам противопоставляют какое-нибудь возражение, взятое из действительности, у него на это есть великолепный ответ: «Тем хуже для действительности». Таким образом, напрасный труд хотеть ему доказать, что, если русская армия будет уничтожена, Россия окажется в когтях немецкого победителя, который, доволь насытившись и поиздевавшись над ней, оставит ее в конвульсиях анархии. Субъект тем более опасен, что, говорят, будто он целомудрен, умерен, аскет. В нем есть — каким я его себе представляю — черты Саванароллы, Марата, Бланки и Бакунина».

Какая удивительная смесь небрежности и неосознанного признания величия Ленина в этих оценках опытейшего и хитрейшего дипломата! И какой просчет в предсказаниях!.. Теперь этот человек — глава правительства... Такое допустить нельзя.

Дипломатия и разведка бывших союзников России кинулись в бой. Все эти страны, преследуя свои корыстные цели, соперничая и насмерть дерясь между собой, были едины в одном — немедленно уничтожить Советы, Ленина.

Уже готовился фронт внешней контрреволюции, могущественный своими армиями, вездесущностью своих бесчисленных агентов, но пока все силы вкладывались ими в организацию контрреволюции внутри России.

Петроград кишел переодетыми офицерами и иностранными разведчиками, наполнялся все новыми тайными организациями, готовившими заговоры, диверсии, убийства. Меншевицские, эсеровские, кадетские и монархические газеты мutilи сознание обывателя сообщениями о беспорядках на заводах и фабриках, на транспорте.

Буржуазия пустила в ход свое оружие. Локауты больно ударили по десяткам тысяч рабочих. Саботаж в учреждениях парализовал нормальную жизнь города. Сотни закрытых магазинов образовали неимоверно длинные очереди за хлебом, которого с каждым днем становилось все меньше.

Нарушилось снабжение столицы топливом.

Вместе с холодом грянул голод, и вместе они принесли в город тиф. Распоясались хулиганы и мародеры...

Город жил беспокойной, контрастной жизнью. Невский был полон расфранченной публики: торгаши, их жены и содержанки, автомобили, духи, кружева, наряды и смех, слишком много смеха для столь тревожного времени...

Это злило солдат и рабочих: у них нет хлеба, мыла, керосина, соли и гвоздей, а тут... словно исчез фронт, миллионы калек и убитых, осиротевших и овдовевших, будто нет безработных и голодных...

Революция должна была защитить себя. Обесечение в Петрограде революционного порядка стало одной из основных задач. Напряжение в городе достигло предела, когда в ночь с 23 на 24 ноября были разгромлены винные подвалы Зимнего дворца. Затем пьяные погромы перекинулись в другие районы.

Сначала подумалось, что это дело случая. Но вскоре в руки большевиков попали документы, из которых явствовало, что на агитацию за пьяные погромы контрреволюционерами выделены немалые средства, что для этого создана организация и целая сеть провокаторов подбивает рабочих на разгром винных погребов, складов и магазинов по разработанному плану.

Контрреволюционеры разбрасывали по улицам адреса винных складов, звонили по квартирам и армейским частям, приглашая рабочих и солдат допить «роمانовские остатки», даром раздавали населению водку и вино. В одну только ночь на 4 декабря в Петрограде было разгромлено 69 винных складов. Ленин призвал большевиков остановить погромы любыми средствами. Был создан специальный Комитет по борьбе с пьяными погромами, наделенный самыми широкими правами, вплоть до расстрела на месте. Во главе его поставили Бонч-Бруевича. Единственной силой, которая могла справиться с этой задачей, была Красная гвардия.

В первое время, когда она только зародилась, красногвардейцы лишь охраняли райкомы большевиков и Со-

востов. Потом сопровождали демонстрации, как в июне и в мае, стали ударной силой Октябрьского восстания. Теперь Красная гвардия выполняла и милицейские функции. Делая внезапные набеги на гостиницы и воровские притоны, красногвардейцы захватывали хулиганов, сутенеров, аферистов и проституток. Передко в их руках оказывались контрреволюционеры.

Теперь вот эти пьяные громилы... Алексеев своими глазами видел мертвых людей, плавающих в вине, и пьяную до потери сознания, потерявшую человеческий облик толпу, грабившую промтоварный магазин на Гороховой... Может быть, это было самое ужасное, что когда-либо ему приходилось до этого видеть. Ни крики, ни выстрелы в воздух, ни даже то, что в них стреляют, не действовало на этих людей, в которых не было ничего человеческого — стадо, звери...

Конечно, он мог бы и не ходить ночами в патруль по улицам Петрограда, не нарываться на револьверы и финки, когда брали «малины», мог: и красногвардейцев в городе уже было много, около шестидесяти тысяч, и у него обязанностей было столько, что никто не осудил бы. Но в кармане лежало красногвардейское удостоверение, и это было для Алексеева не шуткой, а, главное, ему казалось, что без него не может обойтись ни одно горячее дело. Ну, и — об этом уж он никому б никогда не сказал — было все это до ужаса интересно: рисковать, чувствовать холодок меж лопаток, когда скрадываешь контру или слышишь пулю над головой...

Потому и ходил Алексеев в наряд четко по графику Нарвско-Петергофского райкома партии, а когда было надо, и без всяких графиков. И за эти ноябрьские дни было не в одной переделке. Раз чуть «перо» в бок не подлучил, когда в «Астории» решил проверить документы у, казалось бы, совсем приличного на вид гражданина, а в зрелый случай и вспомнить стыдно...

Появилась за Нарвской заставой новая шайка под предводительством некоего Вовы Прицкера. Рядился Вовик, как его называли попросту, под идейного, имитовал себя анархистом-социалистом, при случае мог речью о светлом завтрашнем дне закатить, а на самом деле был обыкновенным бандитом — грабил, убивал. Смел до дерзости, ловок и хитер необыкновенно. Не то что взять с пепичным, но просто улечить его в бандитизме никак не могли: то дружка «подставит», то так чисто дело обстряпает, что не за что зацепиться.

А тут Зернов, который через пятое на десятое от своих товарищей анархистов разузнал, что Вовик будет «брать» квартиру одного из «бывших» — то ли графа, то ли князя. Вот и решили взять Вовика... Да не учли, что он станет «стремить» аж в три кольца, за два квартала до особняка «бывшего».

Их пропустили через первое и второе кольцо, а потом с двух сторон открыли такую пальбу, что и до сих пор не понять: то ли бандиты новых «мокрых» дел на себя вешать не хотели, то ли просто повезло, что все семейство, кто был в наряде, остались живы. Но как позорно убежали через переулочки...

Сегодняшняя ночь была свободна от всяких дежурств. Журнал вчера вышел. Доклад на городскую конференцию союза молодежи в общем готов. Нечем заняться. Быть такого не может, а вот поди ж...

Алексеев уже собрался поехать домой, к матери, наконец-то отмыться, обстираться и отчиститься, но тут позвонил Скоринко: Вова Прицкер сегодня ночью будет в «Квисасане». Откуда известно? Опять от Зернова. Пропавши бы он пропадом, этот Вовик, да помнилось то постыдное бегство. И еще «Квисасана», где в июне кастетом по голове досталось...

Договорились встретиться в двадцать три на Офицерской, у Литовского замка. А пока Алексеев забежал в закускую, перехватил слегка.

Встретились в назначенное время. Со Скоринко было еще пятеро ребят, все знакомые, путиловцы, в том числе и Зернов.

Шли вдоль Морской к Гороховой. Улица была пустынная и тихая. Но город жил, только скрытой жизнью. Из-за дверей домов раздавались приглушенные голоса и другие звуки, кое-где свет пробивался из-за плотных занавесей на окнах, какие-то тени металась в них. Вот сквозь двуслойные рамы одного из полуподвалов едва слышно доносится шум пьяных голосов, женский смех. Из-за щели штор в нескольких местах пробивается свет, но увидеть ничего нельзя. Что там — дружеская вечеринка? А может, «малина»?.. Проверить?..

Вдалеке раздался хлопок выстрела. Где-то в стороне Нарвской заставы слышались пьяные голоса. Вернуться, глянуть, в чем дело?..

Вдруг откуда-то сверху, прямо над головой, раздался выстрел, и Аркашка Фокин, шедший рядом с Алексее-

вым, остановился, сделал шаг вправо и рухнул навзничь. Снова выстрел, еще один... Стреляли с крыши.

Не сговариваясь, все кинулись врассыпную, прижались к стенам.

— Таранов, Минин — во двор!.. Федунов, Зернов, — остаетесь здесь!.. Палин, за мной, на чердак!.. — командовал Алексеев.

— Да вон же они, вон — по «пожарке» спускаются, двое... — закричал Федунов.

— Тихо, тихо, Палин, — зашептал Алексеев. — В такой темноте углядел... Давай за угол. Пусть спустятся ниже...

Двое были уже у самой земли, когда с разных сторон к ним кинулась вся группа. Отстреливаться было бесполезно.

— Бросить оружие! — командовал Алексеев. Звякнули о булыжник револьверы. — Теперь спускайтесь. Федунов. Палин, обыскать! Я к Фокину.

И только сделал шаг, как в спину ударил резкий выкрик Федунова:

— Алексеев!..

Он инстинктивно бросился наземь, и в то же мгновение раздался выстрел, пуля пискнула там, где только что было его тело.

Короткая схватка, вскрик...

Алексеев вернулся обратно, подошел вплотную к задержанным.

Перед ним стояли два человека в наглухо застегнутых пальто, оба в смушковых шапках и хромовых сапогах. Позади одного, приставив револьвер к спине, сошел Минин, второму заломил руку Федунов. Его лицо было знакомо.

— Гад, второй пистолет имел, — пояснил Федунов.

— Этот стрелял? — спросил Алексеев у Федунова.

— Да, да, я стрелял! — со злобой и вызовом выкрикнул тот, которого держал Федунов. И дернул шеей, забавно скривив нос.

Память Алексеева отчетливо высветила: февраль, «Предварилровка», ротмистр Иванов, а в углу капитан...

— А-а, старый знакомый... Ну, дела, ребята. Это ж «фараон», в «Предварилровке» меня держал. А фамилия...

Алексеев напряг память.

— Капитан Ванаг. Не морщи лоб, мерзавец, все равно не вспомнишь.

Подбежал Таранов:

— Фокина наповал, в голову...

Скоринко кинулся на двоих, но Алексеев ухватил его за рукав, остановил.

— Вы поняли, капитан, что убили красногвардейца?

— Отлично. Жаль, что не тебя, мерзавца. В тебя ведь целил, да темно...

Алексеев удивился.

— В меня?! А как же вы меня узнали, капитан?

— А вон фонарь... У меня абсолютная зрительная память. И голос... У меня абсолютный музыкальный слух, знаете ли. На скрипке играю.

Капитан юродствовал.

У Алексеева защекло в груди, заломило глаза.

— Отыграли. Это абсолютно точно. Предлагаю обоих расстрелять, — сдерживая накипевшее бешенство, говорил Алексеев. — Другие мнения?

Красногвардейцы молчали.

— Минин, Федунов — отойти в сторону. Зернов, Палин, приготовиться! — командовал Алексеев.

В это время пьяные голоса, которые еще недавно слышались вдалеке, вдруг стали быстро нарастать, вырвались из-за угла квартала, из-за стен зданий и превратились в рев. В направлении к стоявшим, грохоча сапогами по мостовой, матюгаясь и кому-то угрожая, неслась огромная пьяная толпа.

Двое кинулись бежать, но через несколько секунд стояли снова с заломленными за спину руками. Капитан злорадно хохотал, глядя на летящую толпу.

— Сейчас они вам покажут...

— Стой! — изо всей мочи закричал Алексеев. — Сто-о-й!

Но и сам уже почти не слышал своего голоса.

— Стрелять вверх голов! — приказал он красногвардейцам. — Огонь!

И кинулся навстречу толпе, на бегу стреляя из гана.

Не сразу, но толпа остановилась. Задние, не видя, что происходит впереди, еще орали, толкали вперед стоящих, но постепенно утихомиривались: продолжавшие греметь выстрелы отрезвляли.

— Стоять на месте! — кричал Алексеев. — Не подходить! Кто двинется — стреляем без предупреждения!

— Ну, чего галдишь, гвардеец? Чего пугаешь? — выступил из толпы один. — Мы ж вас не трогаем. Нам толь-

ко во-он там, за углом, в доме номер 27 магазинчик господина Киселева... это... упорядочить надо.

— Вы приказ начальника особого комитета по борьбе с погромами Бонч-Бруевича знаете? — кричал Алексеев.

Толпа ярилась.

— Какого еще Бруевича?

— Народ свое берет!

— Какой еще приказ?

— Уйди с дороги, гвардеец, добром просим!

Скоринко выстрелил вверх. Чуть притихли.

— В приказе сказано: «Расстрел на месте».

Толпа забушевала.

— Не посмеете в народ стрелять!

— Айда, братва!..

— Ах, не посмеем? — взвился Алексеев. — Ну, так смотрите! Вот стоят два человека, только что убившие нашего товарища. Вон он лежит, видите? Мы приговорили их к смерти... Отряд, становись, слушай мою команду! Именем революции по врагам народа — огонь!

Тишина наступила такая, что было слышно, как в одной из квартир дома, у которого все стояли, начали бить стенные часы.

Алексеев подошел к толпе вплотную. В холодном воздухе разило перегаром, потом и табаком. На него в упор смотрели десятки бессмысленных, испуганных глаз. Но один, тот самый, что кричал про «магазинчик господина Киселева», попытался незаметно отойти за спины других. Алексеев остановил его.

— А ну, поди-ка сюда, гражданин. Прпдержи-ка его, Ваня. — обратился он к Скоринко. — А вы все вот что, граждане... Вот эта левая часть — шаг в сторону...

Он разрубил рукой толпу на две части.

— А эта, правая часть — тоже шаг в сторону. Вы, вот в этот левый, а вы — в правый переулок по домам бегом — марш! И чтоб никаких магазинов! И помните — расстрел на месте!..

И для острастки два раза пальнул в воздух.

Кое-кто и в самом деле побежал, но большинство расходилось медленно, будто что-то поняв или просто не в силах бежать...

Алексеев подошел к задержанному. Тот судорожно, через каждые две-три секунды сглатывал слюну.

Подвел его к расстрелянным. Ванаг сидел у стены дома, уронив голову на плечо, второй лежал на боку, неловко подвернув руку.

— А ну-ка гляньте, нет ли тут ваших знакомых? — предложил Алексеев задержанному и вцепился взглядом в его лицо.

По тому, как сошлись на мгновение брови к переносице, как вздрогнули желваки на щеках, как быстро, но неуверенно сказал этот человек «нет», Алексеев понял, что между ними и расстрелянными есть какая-то связь. Он уронил взгляд на ноги — хромовые сапоги...

— Вот что, Минин, отведи-ка этого... гражданина в комендатуру. Пусть разберутся, кто такой. Скажи, пусть трупы заберут и Аркашку...

Они двинулись к «Квисасане», без Минина и без Фокина, который остался остывать на морозе и которого надо бы отвезти домой, к отцу и матери, но это придется сделать завтра, а сейчас Вова Прицкер, смелый, как гусар, и хитрый, как сто чертей.

...В ресторане стоял гвалт, греховно визжали дамочки, орали песни в дупель пьяные кавалеры. Висел сильный табачный дым. Пахло жареным.

Зернов отошел к швейцару: уточнил ситуацию.

К Алексею, покачивая бедрами, подошла проститутка с молодым, спелым лицом, ворохом каштановых волос. Талия отсутствовала, плоский и вислый зад делал ее похожей на старую клячу, которой привесили красивую гриву и вставили горящие юной страстью глаза.

Зазывно улыбнулась.

— Свободен, комиссарчик?

— А ты что — пристаиваешь? — ехидно огрызнулся Алексеев.

Ребята заулыбались.

— Фи! — хмыкнула проститутка. — Кобелей всегда хватает. С комиссаром переспать хочется. Говорят, они в постели даже очень... Угостил бы водочкой для куражу? Иль денег нет? Так я за так согласна...

Тронул за плечо Зернов, вызвал всех на улицу. Его черные взлет брови улетели от возбуждения на самый верх лба, в черных глазах горел бешеный блеск.

— Значит, так, — начал он. — Шляпу и галоши я сдал на вешалку, потому что будет буча... В общем, здесь Вова, в коричневом зале. Как Михалыч... ну, швейцар, сообщил. У дверей — охломон на стреме. В зале семеро, а нас пятеро да испуг, значит, мы победили. Я подхожу к дверям и кладу охломона — мы знакомы. Врываемся: «Руки вверх!» И мы опять победили.

И Зернов ослепительно улыбнулся и отчаянно тряхнул смолой своих немых кудрей.

Все вроде просто и правильно. Что еще придумать? Коричневый зал был в полуподвале, выйти оттуда, кроме как через дверь, никак нельзя. Выходит, Вовочка сам себя запер в мышеловку.

Но едва Зернов подошел к «охлому», охранявшему вход, как тот выстрелил ему в живот. И хоть сам тут же получил пулю, и хоть ворвались красногвардейцы в зал и в конце концов, поранив двоих бандитов, остальных связали вместе с Вовой Прицкером, но и сами получили крепко: защищался Вовочка с друзьями до последнего.

У порога лежал на спине Зернов. Он был уже мертв.

Вызвали грузовик, положили на него Зернова, а рядом связанных бандитов. Те, что были ранены, стонали, скрипел зубами Скоринко, зажимая ладонью правое плечо, которое полоснули ножом. У Алексеева все перед глазами плыло, а от чего — не понятно.

Когда, наконец, уладили в комендатуре все дела и решили, как быть с телом Зернова, у которого не было никакой родни, ехать в Емельяновку уже не имело смысла, и Алексей побрел в горком — тут было рядом, и надо хоть малость освежиться на улице...

Прошел он совсем немного, всего несколько сот метров, как неожиданно резануло в правое боку, да так сильно, что он вскрикнул. Потом еще... Алексей почувствовал, что теряет сознание.

Видно, пролежал он порядком, потому что, когда пришел в себя, то уже начинал брезжить серый рассвет.

Боль в боку не исчезла, но стала тупой, ноющей, и он, придерживая ее руками, осторожно понес на Фонтанку.

Город просыпался. Прямо на глазах слева и справа желтым светом вспыхивали окна домов. «Это от того, что к работе все встают в одно время, хоть спать ложатся в разное», — сделал для себя Алексей странное открытие и удивился, как это раньше он не замечал, что утром улицы начинают светиться почти враз во всем городе. А просто не приходилось вот так шагать вдоль них ранним утром...

Резким скрежетом полоснул по нервам первый трамвай. Впереди, вдалеке улицу пересек небольшой отряд красногвардейцев. Высунулся из подъезда дворник, зевнул, прикрыв ладонью рот, и начал шваркать метлой по панелям, а в голове отдавалось так, будто скребли прямо по мозгам.

Завиднелись полотнища, спускавшиеся с балконов, с лозунгами анархистов. «Дворники и швейцары! Воры и проститутки! Станьте сынами завтрашнего светлого дня — творите анархию!» — прочитал Алексей и зло сплюнул. С удивлением для себя отметил, что слюна, упавшая в снег, была красной и ощутил соленый привкус во рту. Видно, там в «Квисасане» кто-то крепко задел его по челюсти и в тот миг он просто не почувствовал удара.

Устроившись на стульях, Алексей спал тяжелым, болезненным сном до тех пор, пока не пришел Леске, не начал двигать ящиками стола.

Вяло и натянуто поздоровались.

— Зернова убили, — мрачно сказал Алексей, только сейчас до конца осознав, что уже больше никогда не услышит задиристый голос этого яростного бузотера и отчаянного добряка.

— А-а, — кволо протянул Леске. — Ну что ж... Он, кажется, был анархистом?

— И Фокина тоже убили, — добавил Алексей.

— Фокина? — переспросил Леске. — Это откуда? Не помню.

— Где тебе помнить, если ты в районах не бываешь, активистов союза не знаешь, — раздражаясь, буркнул Алексей.

— Не будем, — отмахнулся Леске. — Об этом мы уже говорили.

— Нет, будем, — стал настаивать вдруг Алексей, не собиравшийся заводить спора с Леске. Ведь все и в самом деле было ясно, обо всем переговорено. Но дух противоречия был в нем силен и там, где встречалось препятствие, оно тут же вызывало в нем желание взять его. — Будем.

— Ну, конечно, «будем», если так Алексей хочет. А как же иначе? Мы такие: или по-нашему, или — никак. Жуткий ты человек, Алексей. Эгоист.

— Я — эгоист? — Алексей так и опешил.

— Да-да — эгоист. И не просто, а самый опасный. Эгоисты ведь делятся на три разряда. На эгоистов, которые сами живут и дают жить другим. На эгоистов, которые сами живут и не дают жить другим. На эгоистов, которые и сами не живут и другим жить не дают. Так вот ты из третьего разряда. Ты всем палишь на глаза свои очки и даже не думаешь о том, что они им не подходят, что можешь испортить им зрение.

Вдруг стало обидно до слез: вот ведь как все можно

повернуть!.. Не ешь, не спишь, лезешь под каждую пулю — и вот: «эгоист»... Алексеев замолчал, хотел что-то ответить на этот обидный выпад, но не нашелся. Да и не в том дело, кто лучше — Алексеев или Леске: завтра конференция, через тридцать-сорок минут сюда хлынут люди и звонки и надо до конца и наверняка знать, как быть с Леске: если его позиции все те же — беспощадная критика. Другого выхода нет.

Заговорил мягко.

— Скажи, Эдуард, куда девалась та страстная жажда строительства новой жизни и желание работать, которые были в тебе совсем недавно? Ведь мы за это, за ум твой избрали тебя председателем союза. Ну?

Приготовившийся к схватке Леске малость растерялся.

— Честно?

— А как еще?

— Если не хочешь говорить правду, то это не значит, что нужно лгать. Можно промолчать.

— Я требую правды!..

— «Требую»... — усмехнулся Леске. — Пока я председатель, а не ты... Повторяю: союз надо реорганизовать; решительно отбросить «балласт», переименовать из социалистического в коммунистический.

— Коммунистический — в каком смысле?

— От слова «коммуна», я ж говорил...

— Уточняю еще раз. Итак: «Долой организации по заводам и фабрикам!» и «Да здравствуют бытовые коммуны!» Так?

— Да. По двадцать-тридцать человек, юношей и девушек, разумеется. Жилье, вещи, деньги, продукты — все общее. Что ты улыбаешься? Вдумайся: это же что-то совсем новое, чего не было никогда! Кто должен показать пример организации новой жизни, если не молодежь?

— Так, ясно. И кого же будут объединять эти твои коммуны? По какому признаку?..

— Вот это вопрос. Здесь есть о чем порассуждать... Это должны быть люди, коммунистически вызревшие, отмеченные особыми способностями.

— Какими?

— Не перебивай... Ты посмотри, куда мы катимся. Мир попадает в руки посредственностей, людей без звезды, без фантазии. Серость ползет, как тесто из квашни, все заливают и забивают... Мыслящая личность — вот что спасет нас. Такие личности должны объединиться и как

можно скорее, по-умному разрушить этот трижды проклятый мир, чтоб на чистом месте построить новую жизнь. Импульс разрушения — это главное в человеке. Разрушение дает ощущение самовыражения, полноты свободы...

Алексеев не выдержал:

— Леске! Остановись!.. Ты болен? Ты вспомни, кто ты — ты председатель Социалистического союза рабочей молодежи Петрограда! Социалистического! Первого в мире в первом в мире государстве рабочих и крестьян!.. Ты где и когда успел нахвататься этой глупости? Тебя что — анархисты к себе затащили? Ты у Дурново, в штабе у них бываешь? Ну, говори же!..

Леске ответил с вызовом:

— Допустим. И что из этого? Они радикальны, решительны, и мне нравится многое из их программы...

Да, такое было в истории Петроградского союза молодежи и его горкома. И это не был спор двух человек. В районных комитетах, на заводах и фабриках, да и в самом горкоме союза у Леске было немало сторонников. Большинство членов ПК ССРМ и руководителей райкомов вели с ними последовательную борьбу, но все же на свою вторую городскую конференцию Петроградский союз пришел в состоянии упадка.

С докладом на ней поручили выступить Алексееву, а не Леске. Это уже было началом победы большевистской позиции, но лишь началом. После доклада развернулась жаркая схватка с «лесковцами». Анархизм он и есть анархизм. Леске и его сторонники использовали все возможные способы, чтобы доказать свою правоту, орали, свистели, топали, когда выступали противники, ну, и конечно, пылко и с пафосом говорили, говорили, говорили... Над ними тоже смеялись, им тоже улюлюкали, но их слушали, до тех пор, пока сказать было уже нечего, пока самим «лесковцам» не стало ясно, что в сказанном много чувства, но мало правды жизни.

Конференция приняла резолюции по многим вопросам экономической и культурно-просветительской работы среди молодежи, решила делегировать представителей ССРМ в те органы новой власти, которые ведали вопросами охраны труда и образования юношества. Утвердили план культурно-просветительской работы, открытия новых клубов, школ грамотности, избрали новый ПК. В состав горкома вошли В. Алексеев, О. Рывкин, В. Соколов, И. Тютников, Л. Левенсон, И. Канкин. И Э. Леске тоже избрали. Председателем ПК ССРМ стал Василий Алексеев, секре-

тарем — Оскар Рывкин. Конференция поручила новому составу Петроградского комитета совместно с Московской и другими организациями созвать Всероссийский съезд союзов молодежи.

Как раз в эти дни из Москвы пришло приглашение представителям Петроградского союза молодежи принять участие в III общегородской конференции Социалистического союза молодежи Москвы «III Интернационал», которая назначалась на 3 декабря. Прилагался также проект Устава ССМ.

Алексеев его внимательно изучил. Что ж, знакомые мотивы о припартийном союзе молодежи... Об этом в апреле и спорили с Люсик Лисиновой, в июле — на II городской конференции РСДРП(б), на VI съезде партии. Ехать в Москву? Но уже не успеть. А приветствие послать надо, ну, и конечно же, сказать кое-что по этому пункту Устава. Вот оно, это письмо Алексеева III городской конференции ССМ города Москвы.

«Сожалая, что мы не имеем возможности присутствовать на вашей конференции вследствие позднего извещения нас о ней, мы позволяем себе указать вам на один пункт вашего устава, который, по нашему убеждению, не может удовлетворить некоторую часть рабочей молодежи и может помешать продуктивности вашей деятельности и организационному размаху, — пункт, заключающий в себе платформу III Интернационала, — как необходимый для вступления в организацию.

По нашему мнению, в этом пункте звучит узкая сектантская нотка, что

Не зная радости и счастья,
В отрпых грязных, всем чужой,
Ни в ком не видит он участия,
Идя тернистою межой.

Товарищи, наш союз также стоит на позиции III Интернационала, как выражающем волю огромнейшего большинства его членов, но этот принцип не является препятствием для вступления в наш союз товарищам, стоящим на несколько иной (организационной) позиции.

Да здравствуют смелые юные борцы!

Да здравствует братское объединение рабочей молодежи!

Председатель Петербургского комитета

Алексеев».

Но, по правде говоря, Петроградскому союзу в тот мо-

мент было не до чужих дел. Разброд и шатания развалили его основательно. Организацию надо было ставить на ноги, многое начинать сначала.

Алексеев раскрепил членов Петроградского совета по районам и крупнейшим предприятиям. Началась агитация в союз молодежи, вступление в который по тем временам было делом небезопасным. Меньшевики и эсеры нападали на членов союза, избивали их, шли на различные уловки, чтобы дискредитировать союз в глазах молодежи. По Петрограду начали распространяться «карточки на поцелуй», отпечатанные в типографии. В них говорилось, что девушка, вступившая в союз, не может отказать в поцелуе тому, кто предъявит эту карточку. На ней стояла печать райкома союза молодежи. «Смешно!» — скажем мы сегодня. А тогда это действовало.

Во всем Петроградском комитете ССРМ, который руководил многотысячной организацией, не было ни одного освобожденного сотрудника. Работа активистов в союзе молодежи начиналась после тяжелого десятичасового рабочего дня на заводе или фабрике. Оторваться от работы на пару часов для выполнения общественных обязанностей означало потерять часть и без того скудного заработка.

И все же — работали, да как!

Россия садилась за парту, склонялась над букварем и миллионами губ неграмотных рабочих, солдат и крестьян — старых и молодых — шептала:

Мы не рабы.
Рабы — не мы.

Надо было учиться, чтоб отстоять завоеванное.

И Социалистический союз молодежи Петрограда начал поход против неграмотности.

14 декабря Алексеев представил на утверждение ПК ССРМ «Инструкцию по организации школ грамотности при фабрично-заводских предприятиях». Инструкцию одобрили, переделали в докладную записку и передали в Наркомат просвещения с сопроводительным письмом, которое подписал Алексеев. «Рабочая молодежь сознает, насколько необходимы для рабочего класса культурные силы, тем более в тот момент, когда рабочий класс стоит у власти...» — говорилось в «сопроводилке».

Вскоре в Петрограде было издано специальное постановление об обязательном обучении рабочих-подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

На предприятиях создавали школы грамотности, общеобразовательные и профтехнические курсы. Не хватало тетрадей, чернил, ручек и карандашей. Писали древесным углем, свинцовыми палочками; чернила делали из сажи и свеклы, из клюквы и шишек ольхи; писали на оборотных сторонах старых бумаг из архивов, на дощечках, крашеных стенах и столах; буквари составляли из газетных заголовков, плакатов и лозунгов...

Буржуазные писаки кричали, что русская культура умерла. Но художественное творчество масс только просыпалось, несмотря на невероятные препятствия, которые ставили ему голод, холод, опасность в любую минуту получить пулю от контрреволюционера, финку в бок от анархиста или хулигана.

По районам создавали клубы, а в них кружки — политические, научно-просветительные, художественные. Образовали лектории, собирали вечера и учились петь, танцевать, декламировать, ставить спектакли. За Нарвской заставой создали струнный оркестр и он пользовался колоссальной популярностью... И все это — рядом с голодом и холодом, безработицей, саботажем и контрреволюцией. Нет, не рядом, а — вопреки и наперекор им.

Тысячи активистов уезжали по приказу большевиков и ПК ССРМ устанавливать Советскую власть в другие края России, а союз действовал.

Тысячи членов союза, гонимые голодом и безработицей, покидали Петроград, а союз работал!

В январе Леске и Дрязгов, перекусившийся из «шевцовца» в «лесковца», выпустили воззвание к «революционной молодежи» с проповедью коренной перестройки союза молодежи. Продолжая свою анархистскую линию, они предложили распустить ССРМ как массовую организацию, оставив в ней лишь «сверхреволюционеров» и «мыслящих личностей», к числу которых относили прежде всего себя. К Уставу ССРМ они предлагали пять новых пунктов, которые коренным образом меняли его характер. Все это было на руку контрреволюции. Но союз молодежи действовал!..

День и все вечера до глубокой ночи Алексеев и его «команда» пропадали на заводах и фабриках, в клубах и кружках. Речи, споры, дискуссии — до хрипоты, до одурь, до кулаков...

Нужен был печатный орган, который бы оперативно информировал молодежь о делах союза. Журнал «Юный пролетарий», конечно, хорош, но медлителен! Нужна

газета! Идея горячо поддержана. Но — опять нет средств... Алексеев предлагает издавать ее на средства членов ПК и начать сбор средств среди молодежи.

И скоро «Листок Юного пролетария», литературно-печатный орган Петроградского ССРМ, стал выходить три раза в неделю. Его редактор — Алексеев.

В пятом номере «Листка» от 18 февраля 1918 года опубликована статья Алексеева «Распыление или организация пужна нашему союзу? (Ответ т. Леске и его сторонникам)», статья большая, обстоятельная, написанная, как сказали бы мы теперь, «на высоком идейно-теоретическом уровне».

Вот выдержка из этой статьи Василия Алексеева: «...В грозную и великую минуту исторической эпохи, когда еще далеко не совсем закончена работа по ликвидации буржуазного общества, звать рабочую молодежь к замыканию в коммунистические группы по меньшей мере странно, если не контрреволюционно.

Уйти с поля битвы великой российской революции боевому и храброму по духу элементу — рабочей молодежи в какие-то тайники неизведанной, романтически мечтательной жизни заманчивых коммун т. Леске — значит сойти со сцены массового движения пролетарской молодежи и откуда-то «подбирать» нужных себе лиц. Для чего это? Не для экспериментов ли в области экспроприаций, что очень нравится группе, вернее, — «коммуне» т. Леске, или для коммунального потребления пищи за одним столом, после чего заняться разговором в области метафизики?

О нет, т. Леске, верующих в чудеса предлагаемых вами коммун не много найдется среди молодых рабочих и работниц, понимающих цели и задачи своего класса, ибо каждый сознательный молодой рабочий и работница знают, что не отдельные лица, не группы, не секты — коммуны двигают историю и революцию вперед, а трудовые классы, спаянные одной общей мыслью — стремлением к социализму...

Ведь перед рабочей молодежью стоят широкие задачи, которые могут быть разрешены в положительном для пролетариата смысле только в том случае, когда борьба за разрешение этих задач будет построена на базе общего участия всей пролетарской молодежи.

...И недалек тот день, когда Всероссийский съезд рабочей молодежи признает правильность нашей линии

поведения и сомкнутым строем встанет в ряды интернационального движения пролетарской молодежи...»

«Реформисты» во главе с Леске вскоре были разгромлены, сам он вышел из состава ПК и образовал для опыта свою «анархическую коммуну». И был этот опыт смешон и печален...

Новый пост председателя ПК ССРМ многократно умножил обязанности Алексева.

20 ноября 1917 года Ленин подписал «Декрет о роспуске государственного комитета по народному образованию». Вместо этого контрреволюционного гнезда саботажников был создан Народный комиссариат просвещения во главе с А. В. Луначарским. В наркомат вошли представители ВЦИК, профсоюзов, фабзавкомов и Петроградского комитета социалистической рабочей молодежи. «...Впредь до создания всероссийской организации», — значилось на документе, подписанном Ильичем.

Этим представителем в Наркомпросе стал Алексеев. К тому ж в великолепном здании на Чернышевой площади, где когда-то саживал царский министр просвещения Кассо, не допуская «кухаркиных детей» до грамоты, теперь вместе с Наркомпросом размещался и ПК ССРМ. Две большие светлые комнаты на втором этаже — это ли не мечта!

Они быстро сошлись с Луначарским, у которого было много забот, схожих с теми, что волновали Алексева. И самая первая — с кем работать? Какими силами налаживать просвещение?

Однажды в коридоре Луначарский, столкнувшись с Алексеевым, остановил его и начал откуда-то с середины тех размышлений, в которые был погружен.

— Ну, разве мы им враги? Мы должны их убедить, завоевать. Двадцать пятого я хочу собрать всех служащих и выступить перед ними: все-таки тридцать дней нашей власти, как-никак юбилей. Прошу — приходите. Хорошо?

И помчался куда-то.

Двадцать пятого ноября прибежала незнакомая девушка и сказала, что Анатолий Васильевич просил напомнить, что в двенадцать собрание работников Наркомпроса. Алексеев помнил...

Он чуть-чуть опоздал. В огромном зале стояла стужа, под высоким потолком едва мерцала единственная лампочка, а на стульях сидела весьма экзотичная ауди-

тория из «новых», кутающихся в старые пиджаки и шинели, кофты и шали, и из «старых» — чопорных, в новой, добротной одежде, в накинутых на плечи пальто и шубах. Обе стороны искоса, опасливо и с любопытством поглядывали друг на друга. А перед ними стоял высоколобый человек в пенсне, борода клинышком, в первосортном костюме, белой рубашке с галстуком — первый нарком просвещения Луначарский.

Он говорил о юбилее, о тридцати днях Советской власти. Как он говорил, этот человек! Какая искрометная мысль, какие знания, метафоры, какая память! «Старые» были потрясены: «Говорящий, мыслящий министр?!». Такого еще не бывало... «Новые» немели от восторга и гордости: «Вот он какой, наш министр!»

«Интеллигент среди большевиков и большевик среди интеллигентов», как шутливо называл себя сам Луначарский, доказывал в тот момент этому странному собранию при полупризрачном свете, что, продержавшись вот уже тридцать дней, Советская власть будет держаться и дальше. Он вспоминал о семи днях, за которые господь создал мир, и о ста днях Наполеона, о семидесяти двух днях Парижской коммуны и десяти днях Октябрьской революции, которые потрясли мир.

Потом Луначарский неожиданно обратился к чиновникам: «Идите же работать с нами, мы не можем обещать еще никому никаких особых благ, но мы обещаем глубокое внутреннее удовлетворение — это осознание причастности к великому строительству». Это было честно и искренне, это вызвало уважение, не в пример прежним красноречивым и доктринерам... Он закончил под гром аплодисментов, был растроган и нескладанно рад, когда к нему после речи подошли десятка полтора чиновников и принесли уверения в своей лояльности к новой власти.

А Алексеву удалось в тот день решить один очень важный «шкурный» вопрос: выпросить у наркома 5 тысяч рублей «на разные нужды».

Алексеев, сам привыкший много работать и многое успевать, буквально шалел от восторга, когда видел, какую кучу невероятных по разнообразию и масштабу дел — от мировых до мельчайших, вроде добычи клюквы для какой-то заболевшей знаменитой актрисы — успевал перемалывать Луначарский. Он шел в маленький кабинет наркома как на прекрасное представление, так, как идут на лекцию к великому ученому, и встре-

чал там Блока, Бальмонта, Вячеслава Иванова и безвестных писателей; изобретателей, художников, всех школ и направлений, философов и балерин, рабочих и педагогов... У всех было дело к Луначарскому и до всех было дело ему. Кажется, он мог объять необъятное. Ворочать все эти дела и делать («на досуге»!) переводы забытых немецких поэтов, составлять методику школьных программ и читать лекции для домашних хозяек о Гёте и Бетховене, произносить вступительные речи на вечерах и юбилеях и писать предисловия к разным книгам... Он всех и все поворачивал к коммунизму и тащил в коммунизм. Это вдохновляло. Это потрясало. Это заставляло жить лучше, работать больше. Нет, работа в Наркомпросе рядом с Луначарским была для Алексеева университетом и праздником.

В Комиссариате труда Алексеева избрали председателем комиссии по делам молодежи и поручили разработать план обследования положения рабочего юношества на фабриках и заводах. Много сил ушло на проверки и опросы молодых работников и работниц, на подготовку проекта декрета о труде молодежи, который был рассмотрен, затем частично исправлен и узаконен Народным комиссариатом труда в 1918 году.

Алексеева ввели в «Пролеткульт», центральный орган широкой сети просветительских организаций — библиотек, читален, школ и кружков грамоты, литературно-художественных кружков. Помочь пролетариату критически освоить культурные достижения прошлого — вот в чем была главная задача «Пролеткульта». Во главе его стояли А. В. Луначарский, М. И. Калинин, Н. К. Крупская, П. И. Лебедев-Полянский, С. И. Шуйга.

Это дело было Алексееву близким и родным. Речь шла все о том же, чем он занимался всю сознательную жизнь: о пропаганде марксистского мировоззрения среди пролетариата, а значит, и среди молодежи. Его опыт руководства политическим клубом Нарвско-Петергофского района здесь был как нельзя кстати: ведь в столице к тому времени таких клубов было уже более 120. Пролеткультовские организации действовали уже в 147 губерниях, районах и фабрично-заводских организациях. Движение ширилось, и большевики стремились всемерно использовать его для воспитания политического сознания масс.

Это было невероятно, просто фантастично! Он, рабочий парнишка двадцати лет от роду, стал членом

коллегий сразу нескольких министерств... И всюду надо было поспевать, потому что, кроме наркомов, в их учреждениях было по несколько только что назначенных ими же работников да низших служащих, которые решились «пока что» поддержать новую власть. Огромное большинство чиновников бывших министерств читали манифесты новых вождей, посмеивались («Долго ли продержитесь?») и открыто саботировали все начинания.

Алексеев ходил из комиссариата в комиссариат и всюду видел одно и то же: вороха разбросанных бумаг, столы без людей, с пустыми выдвинутыми ящиками, а в коридорах толкались десятки людей, делая вид, что все это их не касается...

— Где найти наркома? — спрашивал он.

Они с презрительной улыбкой пожимали плечами: «О чем это он? Непонимаем» — и не устаивали даже ответом, ибо видели: он — из «этих».

Нет, не разрушение, а созидание было главной задачей революции, не принуждение, а убеждение. Да, революция имела свои карательные органы, она создала ВЧК. Но вот «деталь», о которой многие, особенно наши враги, «забывают»: до июля 1918 года ВЧК не расстреляла ни одного контрреволюционера, ни одного открытого врага Советской власти. Чекисты, которых первое время вместе с Дзержинским было всего несколько десятков, видели главную задачу в том, чтобы предупредить преступления, проявляли величайший пролетарский гуманизм. Буржуазная государственная машина была уничтожена, и следовало немедленно заменить ее новой — аппаратом пролетарской диктатуры. Враг внутренний между тем свирепствовал. Не только контрреволюционеры и саботажники, но также голод и безработица сеяли ужас и панику, умножали воровство, мародерство и спекуляцию. Именно этим же было вызвано и решение Советского правительства о создании в районах Петрограда народно-революционных судов, руководить которыми партия доверила лучшим большевикам.

В середине декабря Алексеева вызвали в ПК партии и сказали, что он рекомендуется Комиссаром юстиции и председателем I-го Народно-революционного суда Нарвско-Петергофского района. В удостоверении, выданном ему вскоре в связи с новым назначением, было сказано: «Дано сие тов. Алексееву Василию, рабочему

завода «Анчар», в том, что он делегирован Российской коммунистической партией (большевиков) в Народные Революционные суды Петергофского района в качестве Комиссара по судебным делам и является председателем 1-го Народного Революционного суда, в чем и утвержден Петергофским Советом Рабочих и Крестьянских депутатов».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Новое назначение Алексеев принял с восторгом. В те дни молодежь — да только ли молодежь? — горела одним желанием: немедленно, завтра же построить новое общество, полное правды и справедливости. Алексеев не был исключением. Он бросился в незнакомое дело со всей неистовостью своей неутомимой натуры.

Революции претило беззаконие. И хотя старые законы уже были отменены, а новые еще не созданы, хотя грабежи, бандитизм, спекуляция и хулиганство росли, умножая в сознании обывателя и без того великий страх от хозяйственной разрухи, саботажа и контрреволюционных выступлений, хотя все это вместе взятое укрепляло уверенность врагов новой жизни в том, что дни Советской власти сочтены, эта власть не желала насилия и крови. Ленин требовал: «По мере того, как основной задачей власти становится не военное подавление, а управление, типичным проявлением подавления и принуждения будет становиться не расстрел на месте, а суд»¹.

Большевики спешили с принятием Декрета о суде, но и тут, как повсюду, натыкались на саботаж и организованное сопротивление. Декрет был готов, но его «торпедировала» сильная оппозиция левых эсеров во ВЦИК, во главе которой стоял нарком юстиции Штейнберг, тоже левый эсер. Профессиональные крючкотворы топили дело в юридической казуистике, а время шло, беспорядки в столице принимали угрожающий размах... Тогда Совет Народных Комиссаров утвердил Декрет о суде и ввел его в действие, минуя ВЦИК.

Тут же последовала ответная мера контрреволюции: Правительствующий Сенат вынес решение о непризнании этого декрета и о продолжении своей деятельности

впредь до созыва Учредительного собрания. По указанию Сената в стране развернулся открытый саботаж мероприятий Советской власти по проведению в жизнь Декрета о суде. Зачинщиками и подстрекателями его были сотрудники министерства юстиции, из состава канцелярии которого, как вспоминал потом ставший вскоре наркомом юстиции П. И. Стучка, только трое согласились продолжать работу, причем один из них был большевиком.

А суд народный, суд выборный, суд революционный, между тем, уже действовал. Как и всякий суд, он призван был карать и карал, но — и это было совершенно ново и невиданно еще в истории — он же, этот суд, и воспитывал. Он воспитывал подсудимых, преподнося им уроки правды и справедливости, уважения человеческого достоинства и веры в то лучшее, что есть почти в каждом, даже падшем человеке. Он воспитывал тысячные массы людей, потому что был судом открытым; судом, на котором ежедневно присутствовали сотни людей; судом, где обвинители и защитники выбирались зачастую на самом процессе из числа этих сотен присутствовавших; судом, где постоянной фигурой был только народный судья, которого утверждал районный Совет рабочих и солдатских депутатов, а два народных заседателя назначались Советом только на неделю и все время менялись; судом, где каждый, кто хотел, мог задать вопрос, выступить, высказать по делу свое мнение; судом, где приговор нередко утверждался собравшимися в зале.

Суд учил зал. Зал учил суд. Творили вместе виды и формы наказания: общественное порицание, освобождение под честное слово, присуждение к заглаживанию нанесенного вреда, к прохождению курса политграмоты, условное осуждение, штраф. Это — за легкие проступки. Более тяжелыми и тяжкими преступлениями — посягательство на революционные завоевания, мародерство, хищничество в особо крупных размерах, саботаж — занимались ревтрибуналы. Но на каких весах взвесишь: это дело — легкое, а это — тяжелое преступление? И в конце концов вышло так, что народно-революционный суд 1917 года стал одной из самых первых школ самовоспитания масс новой, Советской власти, он творил и формировал новое, народное правосознание, превращал каждый процесс в урок новой, социалистической нравственности.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 384.

Но как непросто было вести уроки в этой школе!.. Ведь за дощатой загородкой, которая отделяла судью, заседателей и сидевших в зале людей от тех, кого охраняли милиционеры, находились не школяры, не мальчики и девочки с распахнутыми навстречу свету и знаниям душами, а воры и убийцы, спекулянты и проститутки, отпетые хулиганы и профессиональные шулеры. В этой школе спрашивали не о выполнении домашних заданий, а допрашивали за совершенные преступления, и оценка выставлялась не за выученный урок, а за всю прожитую жизнь. Решались человеческие судьбы и никак нельзя было точно определить тяжесть совершенного преступления или проступка и строго соответствующую ему меру наказания. Ведь именно в этом-то и заключена суть справедливости: каждому — по заслугам. Правда, тут слово «заслуга» бралось в кавычки...

Теперь, когда бывшие рабы стали господами положения и судьями своих господ, все понятия справедливости буржуазного суда, обоснованные в тысячах книг учеными мужами и до самых мелких мелочей уложенные в уголовные и гражданские кодексы, во множество законов, глав, статей, параграфов и пунктов, полетели вверх тормашками, к чертовой матери. И негде было посмотреть, как поступить в том или ином случае, хотя вроде бы не случалось ничего нового — все уже случалось сотни тысяч и миллионы раз — люди крали, обманывали, лгали, дрались, оскорбляли, убивали, прелюбодействовали, продавали и покупали, изменяли и предавали... Все было так же, как и тысячу лет назад. Изменилось — всего-то! — понятие справедливости: то, что вчера было морально в глазах буржуа, сегодня с точки зрения пролетария было безнравственно. Но где те законы и уложения, статьи и параграфы, с которыми судья мог бы соотнести свое понятие справедливости по конкретному случаю? Их нет. Где те параграфы и пункты, которые можно толковать так и этак, растягивая их смысл, как гармошку, или выстраивая из них частокор, за который можно спрятать свое незнание или малодушие, но которые все-таки гарантируют некоторую справедливость решения и освобождают душу от сознания вины, которая возникает у всякого, кто творит несправедливость? Их нет. И не будет еще целый год ничего, пока не появится тоненькая книжечка «Народный суд в вопросах и ответах», которую напишет П. И. Стучка, хотя и она будет поименована всего лишь «неофици-

альным руководством для народного суда». Заметьте: «неофициальным»...

А пока дела валили в суды валом, ибо росли кражи, грабежи, хулиганство и насилие над гражданами, и их надо было решать, не дожидаясь инструкций.

О работе, произведенной петроградскими народными судами, дают представление цифры, по которым можно представить о неимоверном напряжении жизни Алексева... За пять месяцев (январь — май 1918 года) в двенадцать районных судов Петрограда поступило 40 385 уголовных и гражданских дел, рассмотрено 35 828, разрешено 33 478...

С помощью несложных арифметических действий можно установить, что в среднем Алексеву в месяц приходилось разбирать до 600 дел, а в день, стало быть, по двадцать...

И что не дело — загадка... И море вопросов, иначе не скажешь, начиная с самого главного: «Что такое «народный суд»? Как он должен строиться, какие дела рассматривать, кто в нем может и должен работать, каковы задачи народного суда? Какова власть народного судьи? Кто стоит над народным судом? Ведь судов второй, более высокой инстанции нет... Какие гражданские дела подсудны народному суду? Что означают слова «стороны», «истец», «ответчик», «отвод о неподсудности»? Как вызываются свидетели, в каких случаях их могут отвести? Может ли свидетель отказаться от явки в суд и от дачи показаний? Как допрашивается свидетель, надо ли приводить его к присяге, необходим ли протокол допроса свидетелей? Что такое очная ставка? Является ли молчание признанием? Чем руководствуется суд при решении дела? Что понимается под словом «предположение»? В чем отличие апелляционной жалобы от кассационной? Чем отличается уголовное судопроизводство от гражданского? Что такое «преступление», а что — «проступок»? Как возбудить уголовное дело?» И так далее и тому подобное...

Это все — вопросы. Но каждое утро надо было слышать слова секретаря суда, обращенные к залу и подсудимому: «Встать! Народный суд идет!», говорить стандартное: «Прошу садиться. Слушается дело...» И никто не должен был усомниться в том, что ответов на абсолютное большинство этих вопросов ты не знаешь и вообще знаешь мало, ибо тогда скажут: «Какой ты судья? Какое право имеешь судить?»

Однажды он задал всю эту кучу вопросов заехавшему в суд Я. М. Свердлову. Тот выслушал его, буравя пристальным взглядом из-под стекол пенсне, и сказал всего три фразы: «Это хорошо, что у вас возникают такие вопросы: значит, в вас не ошиблись. Читайте, думайте. А пока судите по классовому чутью, по совести — по пролетарской, революционной совести».

I

В свою совесть Алексеев верил.

Так и появился над столом, за которым сидел суд, плакат: «Здесь судят именем народной революции по законам пролетарской совести и классового чутья». Это не вымысел, это — факт исторический. Такие же плакаты висели и в других судах Петрограда.

Совесть, чутье — эфемерные понятия, а вопрос шел о судьбе, а нередко и о жизни человека, которую легко «по нечаянности» отнять, но ни при каком старании нельзя вернуть ему обратно. Какой же чуткой должна была быть совесть Алексеева и каким совестливым — его классовое чутье! Иногда он чувствовал — ошибается, но решение — хочешь не хочешь — надо было принимать, а значит, приходилось ошибаться... Иногда хотелось спрятаться за расхожую в то время фразу: «Юридически, может, и неправильно, зато революционно», но его совесть, в которой сконцентрировалось, казалось, все яростное стремление многомиллионного рабочего класса к правде, честности и справедливости, эта совесть, от которой он страдал еще в школе и много раз в жизни вообще, теперь, в новых условиях, стала его богатством и критерием, по которому именно его, Алексеева, а не кого-нибудь другого из многих честных и преданных делу революции большевиков отобрали на эту работу, и та же самая совесть — этот беспощадный инквизитор — не давала ему покоя и сна, снова заставляла мучиться...

Каждый день Алексеев шел в суд с таким чувством, будто судит не он, а его судят. Он терзался, когда слушал показания — ну, как же так могло случиться, почему? Мучился, когда определял меру наказания — прав ли, не ошибся ли? Переживал после вынесения приговора — что скажут люди о твоей справедливости, Алексеев? Страдал за тех, кто осужден, хотя многие уже не стоили этого. Уже... Но они были люди, они

могли стать прекрасными людьми, но кто-то изуродовал их, и вот теперь не кто-нибудь, а он, Алексеев, должен засвидетельствовать печальный факт, что их единственная и — увы! — неповторимая жизнь не удалась, не состоялась...

Алексеев был совестливым, он старался быть совестливым, и она, эта его совесть, заменяла ему порой тысячи свидетелей. Но почему именно он должен был решать это?... Оказалось, что он имел и немало другого, кроме совести, что так необходимо судье... Еще совсем недавно он ругал себя, что его чтение книг беспорядочно. Теперь вдруг эта беспорядочность обернулась достоинством — ведь жизнь-то, поступки людей, они бесконечно хаотичны! И, казалось, совсем ненужные знания теперь прикладывались к самым неожиданным ситуациям, помогая объяснить и понять их. А это нередко значило — и оправдать поведение или решение человека. Поднолье научило быть наблюдательным и осторожным, замечать мелочи, не спешить с выводами и в то же время принимать мгновенные решения. А допрос, а суд — это дуэль, это схватка... Пропагандистская работа в массах научила мыслить логично, говорить доказательно и конкретно... Дарованные природой задушевность, жестокая честность, поэтичность и страстность натуры — все теперь сгодились в этом новом, судейском деле.

О судье Алексееве летела добрая слава, принимали его за большого грамотея и профессионала. И только сам Алексеев, все потому же, что был безмерно совестлив, знал, что новую работу ему надо постигать всерьез. Кто знает, может, это и есть его призвание, его судьба?

Тогда он и зарылся в книги, чтоб найти в них ответ на один вопрос: «Что это такое — юриспруденция?» Их были сотни, учебников, монографий и статей, он находил в них немало полезного, а все ж это были книги вчерашнего дня, и он был должен переосмыслить прочитанное, чтоб применить его к новым обстоятельствам...

С каждым днем он чувствовал себя все уверенней. Больших провалов не случалось, хотя многое зависело от того, кто присутствовал на процессе в зале. Если свои, рабочие — не страшно. Эти, если что не так, тут же поправят, подскажут, а ошибешься — простят. Страшны были другие, «бывшие» — мировые судьи, присяжные заседатели, адвокаты и прокуроры. Они едва ль не каждый день бывали в этом зале среди рабочих, солдат и до-

мохозяек, злорадничали, ехидничали, а в общем-то хотели убедиться в единственном и самом главном — без них, без «бывших», новой власти не устоять, что отлаженное веками судопроизводство рушится — и было б слава богу! — ибо под его обмотками, под рукой ворья, грабителей и хулиганов, в хаосе и беспорядке погибнут «новые порядки».

Иногда в роли защитников здесь появлялись знаменитые адвокаты. И начиналась юридическая казуистика... То требование медицинской экспертизы для здорового «больного», доказательства «невменяемости» подсудимого. Метод защиты в таких случаях был один — запутать суд в процедурных вопросах. Истеричные дамочки и студенты-белоподрядчики бросались на суд и охрану, самочинно пытались закрыть заседание... А ты — судья, ты — совесть новой власти, но действуешь, говоришь от ее имени голосом твоей собственной совести...

Да, в этот маленький зальчик на двести мест, где теперь каждый день с утра до вечера заседал Алексеев, была перенесена вся борьба, что кипела на улицах города и фронтах войны, здесь продолжалась революция и уже шла еще не объявленная гражданская война. Здесь в непримиримой схватке сходились старые нравы и принципы только нарождающейся новой морали нового общества. Здесь бурлили кипятковые страсти...

Нет, Алексеев не мог позволить, чтобы «эти» порадовались. Тут речь уж не о нем и его чести, это было делом чести всей новой власти — судить справедливо.

В тот первый день своего судейства он только и появлялся, что за ночь ввалили на его плечи...

Алексеев готовился к нему, как ни к какому другому событию. Купил белую рубашку, взял напрокат у кого-то из друзей пиджак поновей. Речь для вступления написал и выучил наизусть.

Встал из-за стола торжественный и говорить начал торжественно:

— Граждане революционного Петрограда! Сегодня в нашем Нарвско-Петергофском районе, где сотни лет по рабочим спинам «ходили» нагайки казаков, где нас били в морду «фараоны» за самый малый пустяк или за ради собственного удовольствия, сегодня радостный и удивительный день. Вместо мировых судей и Правительствующего Сената начинает действовать суд народный... Начинает работу первый в истории пролетарский суд, суд свободный и справедливый. Сколько раз мы слышали. «Спра-

ведливость да царствует в судах!» Но едва ли можно было придумать горшую насмешку над справедливостью. Где, когда и кто видел ее в царском суде? Теперь же...

Его перебил злой и ненавидящий выкрик:

— Не смешите народ, гражданин... или как вас там... комиссар... Не мелите чепуху. Вчера вы были рабами царя, а завтра мы все будем рабами ваших Советов. Не трогайте святых слов «свобода» и «справедливость»!.. Творите ваш суд, а мы посмотрим, какая она у вас, эта «пролетарская справедливость»...

Того крикуна осалили, Алексеев упрямо договорил свою речь, и начался суд. Уже сразу возникли ситуации, в которых было легко запутаться. Алексеев просил помочь зал найти справедливость, ему помогали и, ко всеобщему удовольствию, все шло не так уж плохо, но крикуны, а их оказалось немало, измотали до того, что он велел милиционерам вывести их из зала. Уходя, они злобно орали:

— Что и требовалось доказать: вот она — ваша «пролетарская справедливость», вот она — ваша «свобода»...

Жизнь Алексеева и без того трудная, теперь, когда он стал судьей, стала трудной невероятно. Ведь ни одной прежней обязанности с него никто не снимал. Он оставался членом Нарвско-Петергофского райкома РСДРП(б), депутатом того же районного и Петроградского городского Совета рабочих и солдатских депутатов, председателем Нарвско-Петергофского районного и председателем Петроградского городского комитета Союза социалистической рабочей молодежи, по-прежнему представлял его в Наркомпросе, в Наркомтруде, в Пролеткульте... Надо было успевать везде. Жизнь Алексеева обрела жесткий порядок: днем — суд, вечером — партийные и депутатские дела, работа в горкоме и райкоме союза молодежи, в журнале, ночью — облавы, патрулирование, чтение. И так — день за днем. Порядок этот можно было бы называть буднями, только не подходит это слово к 1917 году: все в те дни задумывалось и делалось впервые и хотя потому было особенно трудным, но безумно интересным, ибо было исполнено высочайшего смысла.

Работы все прибавлялось, а сил уже не было. Что делать? Оставался единственный выход: организовать, лучше мобилизовать весь ресурс, какой только есть в организации...

«Самодисциплина» было словом, которое Алексеев проносил крайне редко, но успевал он многое только по-

тому, что был предельно организован. Нет, он не вычерчивал никаких графиков, не составлял даже распорядка дня, потому что было невозможно планировать что-нибудь заранее. С вечера думалось одно, а утро приносило столько новых событий, что все задуманное летело прахом... Просто на любое дело он отводил минимум времени и старался уложить в его рамки как можно больше дел. «Извините, спешу», — говорил он, едва закончив говорить, председательствовать, писать. И, быстро попрощавшись, уносился к новым делам. И никто не сердился. Все знали — Алексеева где-то ждут, он где-то очень нужен. Опоздания, когда они случались, прощали без обид: значит, не смог. Говорил коротко, ибо мыслил ясно и тоже организованно. «Во-первых... во-вторых... В-третьих... Итак, общий вывод...» Он вбивал свои мысли в головы слушавших его людей, будто заколачивал гвозди в доску...

И все-таки, даже при таком образе жизни, он должен был что-то не успевать. Он не успевал то позавтракать, то пообедать, то поужинать. И совершенно хронически не успевал выспаться — ходил с красными, воспаленными бессонницей глазами.

Постыдная картина: иногда он начинал засыпать и валиться то в одну, то в другую сторону прямо за судебским столом. Опускались веки, клонилась на грудь голова помимо всяких волевых усилий, и даже то, что он елозил на стуле, опирался то на левую, то на правую руку, щипал себя за ляжку — не помогало. Он боролся со сном на глазах сотен людей, и это было невыносимо трудно и мучительно.

Клялся, что вот придет домой и — пропади все пропадом! — завалится спать. Ложился, засыпал. И вдруг — вскакивал. Чаще всего будили недочитанные и непочитанные книги. Вот ведь какое дело: чем больше читал Алексеев, тем сильнее тянуло его к книгам. Под руки попадались книги по истории, философии, экономике, военным наукам. Спасало одно: читал он поразительно быстро и удивительно много запоминал. Он всегда любил книги. Но теперь он относился к ним, как верующий к святым мощам, брал в руки с благоговением, держал осторожно, будто иконы.

Однажды, пролистывая сочинения Канта, куда его занесло необузданное любопытство, вычитал мысль, обрадовавшую его как собственное открытие. Мудрый немецкий философ писал: «Закон, что живет в нас, называется совестью. Совесть есть собственное применение наших по-

ступков к этому Закону». Это была формула его жизни, ставшая теперь формулой решения судебных дел. Значит, все идет правильно!..

Целый день Алексеев жил счастливым этим книжным открытием.

Книги и сделали его счастливым до конца...

Однажды, так, к слову, он спросил у Егорова, которого недавно назначили комендантом Нарвско-Петергофского района, какую-то книгу. Книги этой у Егорова не оказалось, но он посоветовал обратиться к его новой машинистке, которая стала недавно работать в приемной.

— Этакая красатуля, но умна, образованна, чуть минута свободная — нос в книгу...

Когда Алексеев вошел в приемную Егорова, она стояла у окна, спиной к двери, и смотрела на улицу.

— Извините, — начал Алексеев.

Она обернулась — и он обомлел, стоял истуканом, не в силах оторвать от нее глаз. И она смотрела на него неотрывно, и два снопа света и радости летели навстречу друг другу...

Он ни о чем ее не спросил больше. Зашел к Егорову и через несколько минут, весь какой-то встревоженный, уехал.

А на следующий день Алексеев с удивлением увидел ее в зале судебных заседаний. Она смотрела неотрывно, и Алексеев сбивался, путался в словах. И еще дважды в этот день она встретила его: вечером, во время лекции, которую читал на Петроградской стороне, и на встрече с ранеными красноармейцами, после лекции. Удивился — как нашла? И понял: это судьба.

Его любовь была красивой и юной, со смешной фамилией Курочко и таким прекрасным именем — Мария.

В тот вечер они бродили по Летнему саду, и Алексеев впервые в жизни забыл, что его где-то ждут — в горькоме, в журнале...

Одета Мария была просто, но так, что было видно, как она стройна, как высока ее грудь. Широко расставленные голубые глаза держала опущенными к земле, словно зная их волшебную силу... Пухлые губы на фоне иссиня-черных, гладко зачесанных волос казались измазанными земляникой — до того были алыми. Открытая, лукавая улыбка, два полукруга жемчужно-белых зубов. Ямочка на подбородке, низкий певуче-гортанный голос. Да, в ней было много красоты, но еще больше очарования. Рядом с Марией Алексеев казался себе серым воробышком, но

она держалась так просто и непринужденно, так ласково смотрела на него, что он не знал, что и подумать: вероятно ли это, что он правится ей?

Мария медленно шла, опустив голову, поглядывала исподлобья с улыбкой и все спрашивала шутливо о серьезном:

— Ва-си-лий... Как красиво звучит твое имя... Кто ты? Нет, это я знаю: ты хороший. Что ты? Что ты умеешь делать?...

— Я? Пока ничего. Но научусь делать все, веришь?

— Верю.

— Хочешь, я стану певцом?

— Ты умеешь петь?

— Не знаю. Люблю.

— Я — тоже. Пой.

Он спел про Нарвскую заставу и Путиловский завод, где «жил-был мальчишечка двадцать один год...».

Мария смеялась.

— Получается. Будь певцом.

— А хочешь, я стану танцевать? Вот так...

И, подхватив Марию за талию, он закружил ее в вальсе.

Она хохотала рассыпчато, колокольчато и пела в такт:

— Хочу, хочу... хочу... танцевать... танцевать... танцевать...

Остановились, запыхавшиеся.

— А хочешь, Мария, я стану поэтом? Вчера я написал тебе стихи. Прочитать?..

Мария цвела первым цветом женской красоты, ждавшей своего почитателя, и вот он явился... Она звала, манила, туманила, и он неся навстречу ее зову, все в нем пело от неумейной страсти, словно не было бессонных ночей, смертельной усталости и бесконечных забот.

— Будь поэтом, Василек, — сказала она. — Ты написал хорошие стихи. Но ты же судья? А еще я слышала, как ты речь говорил на городской конференции молодежи... А еще...

— Ах, Мария, если бы я мог успеть всюду, где мне хочется быть, стать всем, кем хочется стать... А знаешь, о чем я мечтаю сейчас больше всего? Хочу стать солдатом, уйти на фронт, драться за революцию и умереть, чтоб потом, через тысячу лет, пробиться сквозь землю тонким тополем и посмотреть, что там творится в России и в мире, как там... Веришь?

Она посмотрела на него долгим взглядом, прошелестела растерянно:

— Верю.

— А еще я люблю тебя, Мария. Отныне и навсегда. Все, что останется во мне от революции, все до капельки принадлежит тебе. Пока я жив... Я люблю тебя, Мария...

Ничего не сказала на это Мария, только тихо и счастливо засмеялась, покачав головой. И вдруг попросила:

— А ты можешь позвать меня завтра в суд? Завтра я свободна. Хочу быть рядом.

Алексеев задумался на миг, вспоминая, что за дела будут разбираться завтра утром... Ничего интересного. Правда, впереди была еще ночь, патрулирование по улицам Нарвской заставы, и невозможно сказать, что она принесет, какие «дела» наберет он себе на день.

— Хорошо. Я найду за тобой. Пока, правда, ничего интересного не предвидится...

...До начала суда Алексеев с Марией заглянули в своего рода «предварилку» районного масштаба, где за широким деревянным барьером в сером табачном дыму содержались те, кто был задержан во время последних облав. Люди орали друг на друга и на милиционеров, матерились, угрожали, требовали начальство, били вшей и резались в карты.

Уже в который раз наблюдая эту картину, Алексеев удивлялся, пожалуй, лишь человеку свойственной способности мгновенно приспосабливаться к любым условиям жизни и жить, несмотря ни на что. Кучкой в стороне держалась «чистая» публика, безглаголиво морща носы, прикрывая их батистовыми платочками.

— Ти-ше! — закричал дежурный милиционер, увидев Алексеева. Встал, застегнул френч, вытер мокрые от пота лоб и щеки и после этого, пытаясь перекрыть шум, доложил Алексею о количестве и составе задержанных. Те, поняв, что перед ними и есть долгожданное начальство, которого они добивались, подняли такой ор, что Алексеев заткнул пальцами уши. Постоял так, а потом крикнул на высоченной ноте:

— Ти-и-ше! — И все смолкли разом. — Граждане задержанные и случайно изъятые! Тиш-ше! Прошу не галдеть и не гоношиться, вы в милиции, а не в пивной. О чем просить будете — знаю, не первый раз... Значит, так. Воров, спекулянтов и всяких демагогов будем судить, а саботажников и тех, кто похуже — в трибунал. Случайно задержанных отпустим с извинениями. На допросах и

в суде всех прошу соблюдать сознательность и говорить правду... Вас много, нас мало, а времени вовсе нет. Мы торопимся — революция. Чье дело первым идет?

Дежурный не то чтобы вытянулся «во фронт», но знак слегка обозначил свое желание встать по стойке «смирно» и понимание, что перед ним начальство.

— Мы тут первым Дудку поставили, товарищ Алексеев, да конфуз вышел — зал уже набился до отказа всяческими господами и бывшими благородиями. Требуют, чтобы спервоначала слушать дело графини Фаниной, потому что потом, дескать, говорят они, когда мужичье поналезет, то им в суд не попасть.

Дело графини Фаниной Алексеев знал хорошо. Случай был не рядовой: графиня, работавшая в министерстве просвещения последнего состава Временного правительства, обвинялась в присвоении крупной суммы денег, принадлежавших министерству. В этом смысле все было ясно: уголовное дело, подсудное народно-революционному суду. И суд был назначен на сегодня.

Но вчера к вечеру при последнем допросе графиня дала показания, из которых явствовало, что украденные деньги используются на поддержку саботажников и контрреволюционеров. И, стало быть, дело это уже не уголовное, а политическое и его надо передать в ревтрибунал. Но Алексеев забыл отменить суд — спешил на свидание с Марией. Кому об этом скажешь? Теперь надо выкручиваться.

Зал был забит расфуфыренной публикой. У входа толпилось человек сто простолудинов, возмущенных тем, что им негде сесть. Они и накинулись на Алексеева первыми.

— Это как же получается, товарищ Алексеев? Суд народный, а народ в него не пускают?

— Успокойтесь, граждане, — остановил укоры Алексеев. — Через несколько минут зал будет очищен.

Но он погорячился, сделав такое заявление. Зал встретил его воплями, угрозами:

— Позор!

— Как вы посмели?!

— Немедленно освободить графиню Фанину!

— Узурпаторы! Душителю свободы!

А тут еще, как назло, ввели графиню. Ей устроили овацию.

— Кто дал команду ввести подсудимую?! — шипел взбешенный Алексеев на милиционеров. — Еще не вошли в зал заседатели! Я вас самих отдам под суд!..

Алексеев объявил, что слушание дела гражданки Фаниной отменяется ввиду передачи его в ревтрибунал. Зал взревел взбешенно.

— Нет уж, позвольте, позвольте! Я защитник многочтимой Анны Павловны Фаниной и я скажу, хоть вы меня убейте...

С первого ряда встал молодой человек лет тридцати, Проклов Петр Власович, назначенный по его личной просьбе защитником по делу Фаниной. Однажды он уже выступал здесь, и Алексеев знал, что он умен и речист, считался одним из тех, кому прочили громкую славу на адвокатском поприще, но революция стала ее пределом. Еще при слушании того первого дела стало ясно, что его распирает лютая ненависть к новому строю, что он ярый враг Советской власти, но его нельзя было лишить права выступать в суде.

— Господа! — обратился Проклов к залу. В голосе были боль и пафос. — Они отменили слушание дела в суде, они передали его в ревтрибунал. Какая разница, где они расправятся с уважаемой и любимой Анной Павловной Фаниной? Мы должны защищать ее всеми средствами, вырвать из рук этих...

Проклов умолял, как бы ища слова побольнее.

«Эти» угрюмо молчали. Милиционеры сжали винтовки в руках с такой силой, что побелели суставы. «Те» вместе с Прокловым наливались злобой.

— Какая разница, где они будут судить Анну Павловну, ибо где тот закон, что является основанием для суда? — продолжал Проклов. — Где он, я вас спрашиваю, как вас там именовать... Его нет. Судить людей по вашей «р-ре-волюционной совести»... — тут Проклов воздел руку к лозунгу над головой Алексеева, — ...по вашему «классовому чутью» вы не имеете права. Ибо что вы можете чувствовать вашими глупыми, необразованными сердцами и душами, вы, у кого на троих семь классов церковноприходской школы? Да-да, я все разузнал про вас, гражданин судья и граждане народные заседатели. Ваше классовое чутье — это чутье зверя, который скрадывает свою добычу!..

Алексеев грохнул кулаком об стол, вскочил, бледный, решительный.

— Гражданин Проклов, прошу соблюдать приличия и не оскорблять суд...

Проклов изобразил на лице крайнее удивление:

— Я оскорбляю суд?.. Да возможно ли вас оскорбить?

Есть ли в вас нечто, что может скорбеть и оскорбляться?

Проклов паясничал, распоясывался.

— Как можете вы судить графиню Фанину, которая и для многих из нас, людей высшего света, служила и служит воплощением благородства и доброты, вы, о просвещении которых она пеклась всю жизнь? Где ваша совесть при этом? Что говорит она вам?..

Графиня Фанина, как представительница кругов либерального просветительства, в свое время была одной из учредительниц на окраине Петрограда «Народного дома», воспетого буржуазной печатью, как чуть ли не идеал благодетельства. Алексеев знал об этом. Но это было вчера. А сегодня она была открытым и злобным врагом народа.

Алексеев бросил взгляд в зал. Большинство настроено враждебно.

Он подманил к себе одного из милиционеров, шепнул ему на ухо:

— Собери всех из охраны, кто есть на месте, и бегом сюда. Быстро! И рабочим скажи, чтоб были наготове. Всяко может обернуться.

А Проклов продолжал с пафосом:

— Вы называете «судом» и обставляете атрибутами судебного процесса то, что никак нельзя назвать судом. Это — политический произвол, обыкновенная расправа большевиков, обманом, ложью и коварством захвативших власть, над своими политическими противниками. Что ж тогда церемониться? Вешайте и расстреливайте всех не согласных с вами под звуки «Марсельезы»! Творите свой постыдный суд под маркою «народного», зовите в Россию гражданскую войну, но знайте, что меч справедливости и возмездия уже занесен над вашими головами и его удар неотвратим!..

Проклов был экзальтирован до крайности, лицо налилось кровью, стало багровым, и можно было подумать, что его сейчас хватит апоплексический удар.

Зал неистовствовал.

— Чего смотреть? Бей их!

— Освободим графиню!

Алексеев чувствовал, что еще несколько секунд — и две сотни разъяренных врагов кинутся на него, на заседателей, милиционера, сомнут, разорвут в клочья. Что делать?

И вдруг увидел, что по проходу, держа перед собой в руках стул, идет Мария. Видели это и сидевшие в зале, ждали, что же сейчас произойдет. Кажется, любопытство

перебороло на несколько секунд, напряжение немного спало.

А Мария вошла на сцену, приставила стул к судейскому столику, расправив платье, села, потом оправила прическу и, подняв глаза, широко улыбнулась в зал.

А по проходу уже неслись милиционеры, рабочие, выставили винтовки, револьверы, прикрыв собой судейский стол.

Наступила гробовая тишина.

Алексеев раздвинул цепь, вышел вперед.

— Сейчас вы, господа и граждане, очистите зал, но прежде я скажу несколько слов. Да, у нас еще нет законов, которые написаны на бумаге. Это правда. Но совесть народа, совесть революции чиста и высока. Это закон всех законов. Этой совестью — ее рабы и слуги — мы и судим... А что касается семи классов на все наше судейское собрание, господин Проклов, то и тут вы ошиблись. Не в классах дело. Без совести и при большом уме и при высшем образовании не проживешь. Вот как вы, к примеру, господин Проклов, или как госпожа Фанина. Ведь деньги, которые она украла у Советской власти, — это хлеб, одежда, тепло, от нехватки которого так страдают люди. Но это еще что... Деньги эти умножают страдания, льют кровь сотен и тысяч людей, потому что отдаются на поддержку саботажников, заговорщиков и террористов. Где же совесть госпожи Фаниной, которая творит это, где ваша совесть, господин Проклов, когда вы говорите слова в ее защиту?

— Полно, господин комиссар! — хорохорился Проклов. — Нам недоступна ваша проповедь. Это или слишком умно, или слишком глупо.

Алексеев усмехнулся.

— Воистину прав поэт Крылов: «Да плакать мне какая статья: ведь я не здеинного прихода». Вам трудно понять нас: мы творим добро, которое непримиримо со злом, творимым вами.

— У нас слишком разные понятия добра и зла! — выкрикнул кто-то из зала.

— Тут вы правы, — ответил Алексеев. — Но обратите внимание: мы говорим на языке той доброты и справедливости, который не могут не слышать и глухие. И если кто-то в самом деле нас не слышит, значит, он просто мертв уже. Говорите: новый суд несутражен, не умеет судить, нет законов? Но спаси вас бог от собственно народного суда, от суда на улице, от самосуда, проще гово-

ря. Не доверяете нам, господа волки буржуазного правосудия? А нам — плевать! Мы — русские робеспьеры. Нам история, нам народ вложили в руки карающий меч, и он найдет и поразит каждого, кто пойдет против нас. Не сомневайтесь. Вот почему мы просим всех, кто хочет жить: выньте паклю из ваших ушей, посмотрите на мир открытым взглядом. Мы зовем в новую жизнь всех, у кого есть совесть. А остальных...

Алексеев умолк. Постоял, опустив голову, сказал со вздохом:

— Я думаю, все понятно. Господина Проклова за подстрекательство и враждебные Советской власти речи — арестовать. Гражданку Фанину — передать в трибунал. Остальных — разойтись. Объявляется перерыв.

Мария и Алексеев вышли на улицу.

— Ты понимаешь, что могло произойти, Мария?

— Это ты о чем? — беспечно тряхнув своими вьющимися волосами, ответила вопросом на вопрос Мария. И тут же изменила тон. — Я все поняла еще гораздо раньше тебя. Ведь они, когда я подседа, меня за свою, видно, приняли. Перешептывались между собой. И я поняла, что готовится что-то недоброе. Но потом они замолчали. А потом... Потом я пошла к тебе.

— Нет, ты все-таки, кажется, не понимаешь. Они могли убить нас и тебя вместе с нами. Это ты поняла?

— Поняла, Василек, а как же, не маленькая.

Алексеев почувствовал, как теплая волна нежности окатила его, затопила всего, сжала горло.

Он все же заговорил:

— Мария, а я ведь даже не знаю, сколько тебе лет. Ты выглядишь совсем девочкой.

— А я не девочка. Мне семнадцать с половиной.

— Прости, я тогда все рассказывал о себе да о себе.

— Тебе есть что рассказывать. А я что — просто девushка, просто живу. Родилась и выросла в Литве, в Виленской губернии. Мама — полька, папа — украинец. Наша деревня очень красиво называется — Дуботравка. И вокруг красота неопишная. Потом война... И вот уж три года мы в Питере. А вообще я — «маменькина дочка», делать ничего не умею, даже стирать и обед готовить. Это ты учи.

И Мария засмеялась своим гортанным смехом, от которого у Алексеева кружилась голова.

— Мне пора, Мария. Ты домой?

— Нет, я с тобой. Я боюсь за тебя.

— Зря. Такое случается редко. А так вот, как сегодня, первый раз.

— Все равно. А сейчас кого судить будете?

— Егора Дудку. И грех, и смех, а не дело. Позавчера вечером патрулили. Смотрим — повозка едет. Так, для порядка остановили. Куда, мол, едешь, да что везешь. Смотрим — гроб везет. Дело обычное, народу мрет много сейчас. Так бы и отпустили мужика, да он, бедолага, так ерзал на сиденье, так глаза на нас пучил, что мы крышку у гроба приподняли. А в ней — мешок с мукой. Оказалось, что этот Дудка работает на продовольственном складе, а муку украл, там же и сознался. Пришлось задерживать...

...Теперь зал был совсем другой, простонародный — говор громкий и грубый, смех открытый, несло махрой, овчиной, потом.

Привели Дудку. Алексеев спросил, не желает ли кто выступить в роли защитника гражданина Дудки. Желающих почему-то не оказалось.

Сам Дудка, бородатый мужик лет тридцати пяти, не больше, сидел, положив руки на перегородку и опустив на них голову, в зал не глядел. Было в его большой фигуре что-то жалостливое и обидное.

— Ну что, гражданин Дудка, признаешь себя виновным? Украл муку? — начал Алексеев.

— Брал, вышкородие... — ответил Дудка виноватым голосом, не поднимая головы.

Алексеев засмеялся:

— Какое я тебе «сковородие»? Я — гражданин судья. Не сердь меня. Значит, признаешь?

— Признаю...

— Теперь скажи главное: почему стащил муку? Только честно. И встань, когда с судом разговариваешь.

Дудка встал.

— Так что тут, вашско... гражданин судья, что тут говорить... Детки у меня, две дочки, двойняши: Нюра и Шура, а жена от нас ушедши по причине нашего с ней душевного и телесного разлада. Голодно живем, как все...

— Вот именно — «как все»... — вставил Алексеев назидательно.

— Учатся двойняши мои, по девять годков им. Читают энтот... как его... букварь: «Маша ест кашу» и слюнки сглатывают, плачут и спрашивают: «Где, батя, эта Маша живет, мы к ней в гости пойдем». Эх, думаю, пропади все пропадом. А тут мука, век бы я ее не выд-

вал... Вы простите меня, я человек малограмотный, может, я рассуждаю всякую глупость, но я не смог удержаться...

— А не врешь про детей? — спросил Алексеев.

Встала в зале женщина, заговорила горячо, запыленно:

— Правду говорит, двое дочек у него. Я соседкой буду... Два года, как из деревни в Питер приехал.

— Назовите фамилию, имя и отчество, — попросил Алексеев.

— Комлева Пелагея Васильевна я. Лично знаю Егора Дудку с детства.

Из задних рядов раздался мужской голос:

— Жена у него, простите за выражение, гулящая была... Моя фамилия Касаев Степан, из одной деревни мы. А мужик Дудка справный, товарищеский.

— Товарищ секретарь, ознакомьтесь с документами гражданина Касаева... и гражданки Комлевой, — приказал Алексеев. — Ну, так что же мы будем делать с «товарищеским мужиком» Дудкой, товарищи заседатели и присутствующие граждане?

Снова встал Дудка, проговорил угрюмо...

— Отпустите меня, вашкородие... Позору-то сколько, сам себе не рад.

Зал заволновался:

— Отпустить надо.

— Помрут дети-то. А Советская власть разве детей не любит?

— Любит, даже очень любит, — ответил Алексеев, — и это его, Дудку, оправдывает: не для себя, не для обогащения украл он у революции муку, а для детей, которые есть хотят... Но разве только Дудкины дети голодают? Какой у нас сейчас паек?

— То осмущка, то полушка, на зуб положил, не жевавши проглотил, — сказала женщина из первого ряда.

— Вот именно, — согласился заседатель справа от Алексеева. — А теперь представьте, граждане, что одни себе по мешку муки стащут, запас образуют, а другие? Другим — помирать. Сознательные пролетарии, бойцы революции голодают. И если мы не покончим с воровством — революция погибнет от голода. И что мы должны сделать в свете вышесказанного с гражданином Дудкой?

— Расстрелять, чтоб другим неповадно было! — выкрикнул кто-то. Зал вдруг затих от неожиданности. Даже Алексеев опешил. Покачал головой.

— Нет, граждане, расстреливать Василия Дудку революция не может. Во-первых, потому что он признает Советскую власть, служит ей и вину свою полностью признает. Во-вторых, потому что воспитывает детей, учит их, хотя сам, конечно, проявил несознательность. Причина тому — его дремучая темнота. И если он еще совершит преступление, пощады ему не будет. А сейчас предлагаю: считать, что мы его осудили на три года тюрьмы, но условно. Тем более, что муку вернули на склад. Я думаю, так будет по совести.

Уже смеркалось, когда Алексеев с Марией вышли на улицу. Алексеев был усталым и удрученным.

— Иногда мне кажется, Мария, что судить нельзя никого. Любой человек может оступиться, пасть низко. В человеке столько всякой дряни, животного, скотского, не зря ж говорят: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся». И потом — как судить о том, чего не знаешь? Ну, вот судили мы сейчас этого Дудку... Я сидел и думал: «Ну хорошо: сам ты знаешь, что такое голод, что значит не есть день, два, три. Но знаешь ли ты, как это невыносимо тяжело, наверное, когда в твою душу жадно смотрят голодные глаза твоих детей, девчоночек? Ведь у тебя, Алексеев, нет детей и ты не знаешь, что это такое — дети вообще. А голодные дети, твои голодные дети... господи, это, может быть, самое страшное. Что тут за грех тогда — украсть ради их спасения и как тут не украсть?..» А мне судить этого человека надо. Это мука, поверь.

Помолчал, кусая губы.

— А еще... Человек в горе, в унижении становится сам похож на ребенка. Вот этот же Дудка. Уж не молодой. Я его спросил вчера: «Крал?» — «Крал», — ответил он. И посмотрел на меня, ну, так виновато, как мальчишка, снизу вверх, исподлобья, как-то по-детски... Никогда не забуду. И заплакал: «Деткам не говорите, стыдно...» Ты понимаешь: стыдно перед детьми своими, из-за которых он украл эту распрятую муку. Значит, совестливый он человек. А я должен его судить. Нет, нет — это ужасно. Сердце жалостью обливается. Сил нет. Знаешь, порой странные и мучительные мысли приходят мне в голову. Мне жаль собаку, которую я обидел, и не жаль тех, кого застрелил в бою. А ведь они — люди. Отчего так происходит? Мне вот этого Дудку до слез жаль, а того, что крикнул: «Расстрелять!», я засадил бы в тюрьму без всяких сомнений. Нет, самая трудная в мире работа — судить людей. Это каторга и, если я не сбросил этот тяж-

кий крест со своих плеч, так лишь потому, что знаю, что кто-то должен его нести. А если «кто-то», почему не я?

— А ты не бойся показаться слабым. Тебе это не страшно: ты сильный. А то, что ты понять не можешь, милосердием называется, Васенька. А оно вовсе не означает, что любить надо всех подряд. Есть люди, которые для людей в сто крат хуже зверя... Это я в книгах читала, об этом и у Ленина есть, между прочим.

Алексеев даже остановился от удивления:

— Ты читала Ленина?

— А как же? Я ведь тоже член РСДРП, большевичка, Васенька.

И вдруг резануло по глазам, будто пожом. Алексеев вскрикнул от боли, схватился за лицо ладонями.

— Что? — спросила испуганно Мария.

Боль прошла. Алексеев опустил ладони, но вокруг был мрак, он ничего не видел. «Не паникуй, успокойся, сейчас все пройдет, так уж бывало», — говорил он себе. Но зрение не возвращалось...

II

В январе 1918 года Алексеев оказался в больнице. Такого еще с ним не бывало, хоть в детстве он переболел многими болезнями: удавалось перемучиться в домашней кровати, обойтись отварами, примочками, маминой заботой. Теперь — больничная койка. На глазах — тугая повязка, а сами они горят так, будто на содранную кожу насыпали горячей соли.

Кругом были люди, по голосам Алексеев высчитал, что, кроме него, еще четверо. Но он ни с кем не заводил знакомства, хоть приставали с вопросами. Странно, но ему, привыкшему быть среди людей, жизни своей без них не представляющему, сейчас не хотелось ни с кем и ни о чем говорить. Было страшно. Да, страшно, и он не хотел делиться своим страхом ни с кем, боялся его выказать, боялся бояться...

Он лежал и думал... Да, он много раз слышал, что у каждого человека есть свой тайный мир, но не был согласен с тем, что у каждого. До недавнего времени у него этого мира не было, он считал, что обо всем можно сказать всем и все можно спросить. Сегодня ему не хотелось, чтобы другие, даже самые близкие, знали его жуткую тайну о том, что ему страшно. Он прятал свой

страх, и вот в его душе образовалась область неизвестного другим, которая именуется этим самым тайным миром. Теперь появились мысли, которые он мог доверить только себе...

Попытался писать, но карандаш соскакивал с листа, а строки лезли одна на другую, и он подумал, что вряд ли разберется в них потом. И горько усмехнулся: «Если оно будет, это «потом»...»

Он думал о самом главном: стоит жить или нет, если все останется так, как продолжается вот уже больше недели, — если зрение не вернется. Слова врачей «все будет хорошо» его не утешали, ибо в их голосах он улавливал нотки неуверенности, соболезнования и плохо скрытой безнадежности. А если предположить худшее, то это значило... Уйти из жизни, оставаясь живым?

«Человек смертен»... Чтобы опровергнуть эту истину, нужен сущий пустяк: всего один-единственный человек, который живет себе уже тысяча девятьсот восемнадцатый год и строит планы на следующее тысячелетие... Увы... Такового нет. Человек физически смертен — истина абсолютная. А не хочется, нет, не хочется исчезать в никуда, откуда нет обратной дороги...

Вспомнились строки Пушкина:

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

Жить, чтобы страдать... Какой парадокс! Но сказал это великий Пушкин. И вдумавшись в смысл парадокса, Алексеев впервые понял вдруг, как огромен этот смысл. Страдания заставляют размышлять, отсеивая зерна от плевел, они требуют решить для себя основной вопрос — зачем ты живешь, что в твоей жизни главное, найти это главное и взять его за стержень своего бытия. В сытости, легкодоступной радости и удовольствиях человек теряет себя. И закаляется, и растет — на страданиях. Черт возьми, у него их в жизни было более чем достаточно... Но какие это разные вещи — размышления о смысле жизни человека здорового, которому открыты все пути, и человека, пораженного недугом, у которого выбора практически нет... Что это значит? Лишь то, что есть множество подходов к одному вопросу, но ответ, действительный ответ на вопрос о смысле жизни может быть только один, ибо конечная истина во всем одна.

Да, каждый отдельный человек смертен. Но у него

есть шанс остаться бессмертным, «переселившись» в «тело» человечества, которое бессмертно не только духовно, но и физически, слиться с его умом и душой, оставаясь хотя бы маленькой их частицей с именем и фамилией. Что же это за место, где человек может «поселиться» в человечестве и жить этой второй, нетелесной жизнью? Это — память человечества. И сколько же продлится эта вторая жизнь? Ровно столько, сколько человечество будет помнить о человеке. А сколько оно будет помнить? Это зависит от значительности дел, которые совершил человек во благо человечества. «Тот, кто жил для себя, все теряет с последним дыханием. Тот, кто жил для других, после смерти живет среди живых...»

Пришло известие, что совершено покушение на Ленина. К счастью, неудачное. Известие потрясло Алексева. Стрелять в Ленина?! Это могли сделать только варвары — другого слова для этих людей он не находил. Ибо не было и нет в мире большей ценности, думалось Алексеву, чем Ленин. Его рождение и жизнь — плод всей человеческой истории. Революция подготовила себя рождением Ленина, но океан этой революции — сегодня это ясно всякому, у кого нормальная голова, — стал бы всесокрушающей стихией, после которой остаются лишь груды развалин, не будь Ленина, его огромного мозга и необъятных знаний, его страдающего сердца, вмещающего в себя горе, счастье и веру всей трудовой России, его фантастической силы духа, титанической воли и нечеловеческой энергии.

Кто из ныне живущих людей, кроме Ленина, в состоянии объять во всей полноте весь хаос событий, которые творятся в Питере и Москве, во всей России, все хитросплетения политических интриг десятков партий, замыслов всех контрреволюционных групп и организаций, коварство иностранных разведок. Нет такого.

А он? Он из маленькой комнаты — по телеграфу, по телефону, ежедневно, круглосуточно дает сотни приказов командующим фронтами, шлет ноты дипломатам и письма в Коминтерн; думает о том, как по-новому организовать труд, превратить Россию лапотную в Россию электрическую, Россию полевую — в Россию индустриальную: построить шахты, домны, печи, наладить работу мертвых железных дорог; как создать Красную Армию, покончить с беспризорничеством, как одеть, накормить и обучить страну...

Алексеев вдруг подумал о Ленине и о себе. «Я и

Ленин» — можно ли так ставить вопрос? И решил — «да, можно». Ведь и самые малые речки и ручейки бегут неприметно среди лугов и лесов для того, чтоб когда-то стать притоками великих рек, пополнить их, а с этим обрести и более высокий смысл своего существования. И вот уже по этим «малым» рекам, которых не различишь, ибо они слились в одну «большую» реку, бегут пароходы, сплавляют лес, вдоль их берегов гнездятся села и города. Они уже не малые, их воды отмечены знаком величия.

Вот он, Алексеев, — что он такое? Ручеек, каких множество. И есть Ленин — великий, великая река, вытекающая из океана человечества и впадающая в этот океан. Они неразрывны теперь — Ленин и человечество. И его, Алексева, жизнь обрела особый и высокий смысл, потому что есть Ленин и ленинизм.

«Все мы, большевики, вытекаем из Ленина и впадаем в него, — думал Алексеев. — Мы — это он, а он — это мы. Не «я», «ты», «он», «она», «они», а величественное «МЫ». Это единение, эту гармонию, эту слитность почувствовать непросто. До этого состояния надо дорасти — знаниями, умом, сердцем, борьбой — всем существом. И только тогда скажешь: Россия — наша, завод — мой. И только тогда поймешь, что мир неделим, что не бывает на земле чужого горя, что все люди — братья, что они обязаны дружить, ибо на другом полюсе — вражда, а с нею — кровь, несчастье, смерть. И лишь тогда поймешь, что борьба — не цель, а момент и средство жизни, условие счастья в будущем и в настоящем, ради которого и умереть не страшно. Потому что миллионы маленьких и великих «я» остаются вечно в необозримо большом и бессмертном «мы». «Мы» — вечны. А всех нас в это целое цементирует Ленин».

И заказал себе не забыть эти мысли, записать, когда поправится...

Приходили друзья, товарищи, говорили бодрими головами, хлопали по плечу, желали «скорейшего», а в словах таились неуловимые жалостливость и сомнение, которые Алексеев все же улавливал своим обострившимся до крайности сознанием. Он был рад их появлению и не рад. Единственно, кого он ждал, была Мария. Но она не шла. Обиделась...

В тот день, когда она привезла его на извозчике в больницу, когда боли спали и можно было говорить

о чем-то, кроме болезни, между ними состоялся тот обидный для обоих разговор. Она упрекала его:

— Разве можно так жить, Василий? Ты столько читаешь, пишешь, работаешь, не спишь сутками, неделями, питаешься чем попало, ешь не вовремя. Врач так и говорит: «Истощенный организм, истощенная нервная система, «усталое сердце»...» А тебе — всего двадцать два.

Алексеев злился.

— О чем ты говоришь, Мария? Пишу много, потому что писать некому. Мотаюсь по заводам, потому что другие не хотят. Ты про Леске слышала? Так о чем разговор? На суде ты была, сама все видела. Я вынужден так жить, да и не знаю уже, как можно жить иначе. «Питаешься чем попало»... Смеешься, что ли? Будто не знаешь, что творится в городе...

Мария не соглашалась.

— Выходит, ты самый незаменимый, что без тебя революция остановится. Ты только посчитай свои нагрузки: комиссар юстиции района, председатель суда, член райкома партии, депутат района, депутат города, председатель ПК союза молодежи, председатель районного союза, редактор журнала, редактор «Листка», красногвардеец, представитель в Наркомтруде, в Наркомпросе, в Пролеткульте... Я только сейчас это все подсчитала. Это же ужас! Где ты только не состоишь! Зачем ты стараешься поспеть всюду? Выходит — ты самый сознательный, самый передовой...

— Прекрати, Мария! — закричал Алексеев и застыл от нахлынувшей боли. По глазам будто иголками стрелянули. Закусив губу, переждал наплыв боли, сказал тихо, устало:

— Прости... Ведь говорили мы уже об этом тогда, в Летнем саду. Что еще сказать? Конечно, можно жить и по-другому... Ничему полезному не мешать, ничего вредного не позволять. Пусть все идет как идет. В конце концов добро победит зло. В конце концов мировая революция случится, рано или поздно. В конце концов «медленным шагом, робким зигзагом»... Но сейчас — революция. Революция. Все — вверх тормашками! Все старое — к черту! А новое — где оно? Что поставить вместо старого? Где новые законы? Где новая мораль? Где новый человек? Где новая промышленность, новая деревня? Где? Кто все это создаст? Это должны сделать мы, кто позвал массу рушить старое и строить новое, мы — большевики. Да, вместе с массой, но — впереди нее, впереди,

понимаешь? Но дело все, родная, в том, что нас пока — мало, катастрофически мало. Ну, что такое тридцать тысяч большевиков Петрограда на миллион жителей? Мало! К Питеру нельзя сейчас относиться географически, как одному из городов страны, пусть и столице. Питер — это сердце революции. Сердце! Понимаешь? Ударят в сердце — погибла революция... Против нас все старое всей России — старые привычки и обычаи, старые идеи, что вдалбливались в головы накрепко сотни лет, против нас религия с ее догмами, против нас контра внутренняя, контра внешняя, против нас тридцать две партии — эсеры, меньшевики, анархисты и прочая сволочь... Да и внутри у нас в партии не все едины... Работы — невероятные горы, трудности — жуткие, а нас так мало. Теперь ты понимаешь, что остается делать каждому? Работать за двоих, а можешь — так за пятерых, за десятерых. Понимаешь? Вот я и тяну, пока тянется...

Мария упрямо спорила:

— Все это я понимаю. Я с тобой в одной партии, тоже стараюсь изо всех сил... Но так, как ты «тянешь» — нельзя... Ты скоро выдохнешься. Вот уж звонок... Кому ты нужен будешь слепой?.. — Мария вскинула, закрыла ладонью рот: вот и сказала вслух самое страшное для себя и — она знала это — для Алексеева. Прошптала вдогонку за трудной правдой:

— Только мне...

Но вышло это как-то неубедительно, ложно.

Алексеев угрюмо молчал. В уголках его губ засветилась горькая усмешка и тут же погасла.

— Пусть будет так — я выпаду из строя. Но я не стану в тягость никому, тебе тоже. Да и кто я тебе — случайный знакомый, чужой человек. Жить буду, как жил, пока свой ресурс до капли не выработаю — буду двигать мою работу из последнего. У меня есть перо, я могу писать, это факт!.. Я могу говорить — это факт! Что же ты меня списываешь? Рано... И обидно. Уходи, я не хочу с тобой разговаривать. Мне больно... Доктор, мне больно!.. — закричал Алексеев.

Там, под белыми повязками вскипели и выкатились две слезинки, большие и ранящие, они опалили его больные глаза новой болью и одно было хорошо — никто их не видел...

И Мария ушла.

Ах, Мария, Мария... Как ударила она его, как ранила. Что боли физические в сравнении с болью души? Она

ушла. Что осталось? Воспоминание о прошлых делах и будущей работе. Но будет ли она? Вот что мучило его больше всего.

Одолевали стихи, словно демоны, они будили его ночью, не давали засыпать с вечера, спасали от дурных мыслей, от хандры, а не хандрить в его положении — можно ли? Рождались его стихи из тоски и любви — по Марии, из надежды на верность друзей, из всего потока чувств и мыслей, которые накопил он за долгие годы борьбы и страданий в подполье, в тюрьме, в голоде и нищете. Они теснились в нем, как порох в патронной гильзе. И вот жизнь, неожиданная слепота, обострившая чувства до последнего предела, словно боек, ударила в капсюль и все — нет удержу, газ вытолкнул пулю, она понеслась... Стихи наплывали откуда-то из глубин его души, о которых он и не подозревал, торкались в мозг, в череп, словно невылупившиеся цыплята, сжимали сердце, выдавливали слезы, рождая тоску, восторг, отчаяние и радость — то порознь, то все вместе сразу... И одно было обидно — не упомянуть их, нет, не упомянуть.

Он ждал Марию. И она пришла. Пришла, когда он лежал, забывшись тяжелым, полубредовым сном...

Подошла, приложила руки к его щекам, припала лбом к лицу, замерла.

Под белыми повязками будто светом полыхнуло во всю алексеевскую душу. Он замер. И так они молчали долго.

— Я совсем не могу без тебя, Василек. Совсем. Ни дня. Я не шла, я терпела, я мучилась, пока не поняла: больше не могу. Я пришла к тебе навсегда, как ты — помнишь, там, в Летнем саду? И не уйду от тебя никогда. А будет суждено умереть, так и умру вместе с тобой. Веришь?

Он молчал, гладил ее по волосам, прошептал:

— Ну, вот — я снова счастлив. Да, счастлив, даже в моем бедственном положении. И в самом деле: если человек слеп, глух или без рук, разве он не может быть счастлив? Я счастлив моей любовью, она заполняет меня до самых верхних берегов моей души. Я люблю и — боже мой, неужто правда? — я любим... Ты молчи, Мария, не перебивай... Возможно, когда-нибудь будет создана специальная теория счастья. А все ж и она не сделает всех счастливыми, ибо человек не бывает счастлив полностью и навсегда — оно убегает от него, его представление о счастье, и в этой погоне за ним человек и все че-

ловечество мчатся навстречу самим себе. Но эта наука в качестве главной части своей поставит во главу угла несомненно любовь. Без любви человек никогда не получит — даже на миг! — представление о том, каким оно может быть, это счастье.

Через несколько дней повязки с глаз сняли. Сначала серым и размытым предстал мир перед Алексеевым. Но все же он видел!.. Прошло еще несколько часов, и окружающие предметы обрели контрастность и цвет.

Дед Федор, рокочущий голос которого Алексеев слышал за эти дни всего несколько раз, оказался маленьким старичком с непропорционально длинными для его тела руками и неестественно большими ладонями. Учитель Поварков, который лежал на койке справа, оказался совсем молодым человеком, со страдальческим взглядом. Студент Володя смотрелся гимназистом, был длиннющего роста, тощий. Некто Мяскин, которого Алексеев уже ненавидел за его высказывания о жизни и большевиках, был именно таким, каким он его себе представлял: маленький, лысенький, дохленький, с длинными змеиными губенками, суетливый.

Зрение вернулось. И это событие переживал не только Алексеев, но вся палата.

А еще через несколько дней Алексеева выписали из больницы.

III

Он снова был в строю, вернулся вовремя.

18 февраля пришла тревожная весть: Брестский мир сорван, немцы идут на Петроград. Ночью 21 февраля Совнарком обратился к народу с написанным Лениным воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!». На следующий день со всех сторон города к Петроградскому комитету ССРМ на экстренное собрание спешили представители районов.

Алексеев был собран, суров, говорил коротко. На лицах его товарищей лежала та же печать. Каждый сказал по несколько слов, суть которых была одинакова: немедленно всем разойтись по заводам и фабрикам, поднять на защиту столицы всю молодежь. Руководству ПК поручили написать воззвание к молодежи. И только разошлись, Алексеев вместе со Смородиным и Рывкиным принялись писать его.

Утром на стенах домов Петрограда белели листки:

«Шайка немецких бандитов — белогвардейцев приближается к Красному Питеру. Она несет с собой все ужасы капиталистического порядка и во имя восстановления этого порядка в союзе с русской буржуазией она кровью зальет улицы революционного Петербурга...

Революционная молодежь не может допустить гибели власти рабочих и крестьян... Вся петербургская революционная молодежь станет под развевающиеся знамена Красной социалистической армии. На смертельный бой с буржуазией зовем мы вас всех, молодые пролетарии Петербурга. Все на борьбу!.. Под красные знамена революции!

Да здравствует революционный рабочий класс и его социалистическая армия!»

Родилась идея: создать молодежный полк и там, на фронте, показать, на что способна революционная молодежь в борьбе с врагом. И был еще тайный смысл у этой затеи: Алексеев рассчитывал на то, что когда полк сформируется, ему удастся отпроситься вместе со всеми на фронт. Но затея осуществлялась трудно. Мобилизация шла в спешном порядке, фронту нужно было как можно больше полков, а какого возраста в них бойцы, значения не имело.

А все же отряд из членов ПК и районных комитетов ССРМ сколотить Алексееву удалось, но на фронт его не пустили — нужен в Питере.

И вот опять, в который уже раз, Алексеев на Балтийском вокзале: отряд из 109 парней и 11 девушек, самых лучших активистов союза, уезжает на фронт. Сказана прощально-напутственная речь и ноет ладонь от крепких рукопожатий. Петр Смородин, назначенный помощником командира по строевой части, отдавал последние команды перед посадкой в теплушки. Он бегал веселый вдоль строя с саблей на боку, путался в ней, придерживал правой рукой деревянную кобуру маузера, и нет-нет поглядывал в сторону Алексеева, который, обняв за плечи мать Петра, как мог успокаивал ее тем, что, дескать, это совсем не опасно — ехать на фронт, что это всего на несколько дней и скоро все вернутся домой, а сам-то знал, что впереди у ребят, надо думать, смертельные бои, что не все они вернутся назад, хотя в том, что вернутся, что скоро он обнимет своего друга, не сомневался.

Но они уже не увидятся никогда.

Через год, наваевавшись досыта, вернется Смородин в Петроград, станет секретарем Петроградского губкома

только что созданного комсомола, в известном смысле его, Алексеева, преемником, а еще через два года — первым секретарем Центрального Комитета РКСМ. Пройдет много времени, и назовут его замечательным человеком, а через несколько десятилетий напишут о нем и издадут в «Молодой гвардии» хорошую книгу в серии «Жизни замечательных людей».

Алексеев не знал этого и с грустью смотрел вслед уходящему поезду: друзья-товарищи уезжали, а он оставался. Опять не сбылась его заветная мечта — уйти на фронт.

А друзья без тени сомнений и колебаний кидались в самую гущу классовой сечи, уезжали с песней «Соловей-соловей, пташечка», потому что еще не написал Дмитрий Покрасс свою «Комсомольскую прощальную», а когда он ее напишет, то это будет песня про них — первых молодых рабочих, выставивших свои кандидатуры на бой и гибель ради власти Советов. Уходили, расставались...

Это в те дни забелели на дверях райкомов листки с ныне знаменитыми надписями «Райком закрыт. Все ушли на фронт»... Жизнь союза молодежи на многих заводах и фабриках замерла, остановилась, и дело было не только в том, что на фронт ушла почти половина его состава, а в том, что ушли лучшие, самые боевые работники ССРМ. И снова Алексеев валился с ног от усталости, от недосыпания, но ранним утром все видели быстрого Алексеева, веселого Алексева, брызжущего идеями и оптимизмом Алексева. Его карие глаза смотрели в души людей честно и горячо, высвечивали глубоко. Его любили, ему удивлялись.

Вопреки всему и вся, жизнь продолжалась, она требовала и брала свое. Разве можно «закрыть» любовь?..

В те холодные и голодные, в те жестокие дни, когда брат шел на брата, а сын выступал против отца, когда было немало таких, кто не жил, а выживал один за счет другого, Алексеев и Мария поженились.

Они поселились в доме бывшего лесоторговца Захарова по Старо-Петергофскому проспекту № 27, в гостиной, обставленной роскошной мебелью. Было жалко ступать разбитыми и грязными ботинками на блестящий паркет, садиться в потрепанной одежде на обитые шелком диваны и кресла, есть воблу на пикрустированном столе, но что поделать — в этот дом из подвальных и полуподвальных помещений, окраинных «завалюх» бы-

ли переселены многие работники Нарвско-Петергофского райкома партии и районного Совета. Новые соседи дома бывали так же редко, как и Алексеев, но все же иногда женская половина своеобразной «коммуны» собиралась у камина в комнате Алексеевых. А когда дома были еще и мужчины, тогда устраивались пирушки: ели «дурандовый бисквит» из жмыха подсолнечника, пили из жестяных кружек чай с сахарином. Мария набрасывала на плечи «Васенькину кожанку», забиралась с ногами в кресло, и в лучинном свете влажно светились ее глаза. Он пел — она слушала. Он молчал — она слушала. Он был рядом — она грустила: вот-вот уйдет. Он уходил — тосковала: сейчас, ну, вот еще немножко — и он появится.

В один из таких вечеров Алексеев вернулся домой после патрулирования. Мария встретила его возбужденная, с горящими глазами, в которых стояла нескрываемая радость. Он едва успел снять пальто и кепку, сесть к столу, как она поставила перед ним небольшой ларчик:

— Глянь-ка, Вася, что я нашла!..

И открыла крышку.

В наполненном доверху ларчике лежали драгоценности: кольца, серьги, золотые цепочки и еще какие-то украшения, названия которых Алексеев не знал.

Мария выхватила из ящичка серьги и ловко прицепила их к своим ушам, одела на пальцы одно кольцо, другое, повесила на шею тяжелый медальон с красивым камнем.

— Ну, как я тебе, а?

Алексеев любовался Марией.

— Теперь мы не будем голодать, Василек! — радостно сказала она. — Ты понимаешь?

Он понимал.

— Где ты это взяла?

— А вот где, смотри! Иди сюда!

Мария подбежала к камину.

— Ты же знаешь, из камина сажа все время летит. Вот я и решила сегодня его почистить. Укуталась в мешок, залезла внутрь и стала сажу соскребать. Смотрю, какая-то ручечка. Я ее повертела, да и перестала. А когда вылезла из камина, смотрю один кирпич как бы отвалился, висит, а внутри вот это... Да ты сам смотри, вот...

— Стой! — придержал Марию Алексеев. — Это надо немедленно сдать.

— Сдать? — В голосе Марии была растерянность.

— А ты что думала?

Он смотрел жестко, подозрительно.

— Я? Господи, да не смотри ты на меня как на врага революции! Я думала... ну, хоть часть, хоть небольшую мы можем оставить себе? Чтобы продать, а? Ты посмотри на себя, ты же еле живой.

Алексеев побледнел, опустил глаза в пол.

— Немедленно сними эти цапки. Ну!..

И, проследив, как Мария уложила серьги, кольца и медальон в ларчик, как захлопнула нервно крышку, сказал медленно, с несправданием:

— Мы зачем революцию делаем? Я почему недоедаю, недосынаю, по ночам по улицам шаранусь? Чтоб навсегда со всем вот этим покончить, чтоб вещи не разделяли людей. Разве ж суть людская в побрякушках, в этой мишуре? Разве я люблю тебя меньше без этой дребедени? Нет же! И наоборот, они пугают меня, отталкивают...

— Ах, Алексеев, а ты ограниченный человек, — перебила его Мария. — Ты разве не видишь, как это красиво? Разве красота не пужна нам? Почему вещи должны разъединять? Платье носят не только потому, чтоб тело прикрыть. Его еще стараются сделать красивым. Что видишь ты в этих вещах?

Мария распахнула крышку ларчика.

— Золото? Бриллианты? Да. Но ты глянь, сколько в них музыки, света, как они поют, эти вещи! А какие они теплые, чувствуешь? А людей, их сотворивших, их руки, согбенные спины и вдохновенные лица ты видишь? А теперь сомни все это в один комок — и он мне не нужен, разве для того и годится, чтоб хлеба купить... Нельзя смотреть на вещи узко...

— Ты брось мне затуманивать мозги, Мария! — зло выкрикнул Алексеев. — Мы, кажется, несколько по-иному видим мир. Я тоже кое-что вижу и чувствую... Например, я вижу кровь, которая пролита из-за этих побрякушек, чую запах пота, слышу стоны моих собратьев по классу, погибших из-за них. Это все вызывает у меня безразличность и усиливает классовую ненависть к моим врагам.

Мария стояла, сцепив пальцы рук, смотрела на Алексеева с болью и сожалением.

— Боже мой, слова-то какие: враги... кровь... пот... классовая ненависть... Неужели это в тебе на всю жизнь?

— Да, на всю. И если тебя это не устраивает... А я свой класс и революцию ни на что не променяю.

Она стояла и ждала новых слов, но он молчал, и она

молчала. А между ними стоял ларчик с золотом и бриллиантами.

— Я есть хочу, Алексеев, — сказала Мария. И заплакала.

— Я тоже, — ответил Алексеев.

Потом он взял ларчик и ушел.

Вернулся, когда Мария уже спала. Он положил на стул у ее изголовья пачку печенья и кусок колбасы, а сам, не раздеваясь, лег на диван и долго думал о том, прав ли он, что принес домой так много еды... Вчера вечером они с патрульной группой во время облавы на квартире одного бывшего генерала обнаружили целый склад продуктов. Реквизировали. Решили, что сдадут все до крошки: каждый грамм продовольствия был на учете, ибо подвоз хлеба в двухмиллионный город, который в ноябре был в четыре раза ниже нормы, в январе прекратился совсем. В феврале паек жителей города составлял от 50 до 200 граммов хлеба в день.

Теперь, после этой стычки с Марией, после того как Алексеев сдал ларчик в комендатуру, он зашел на генеральскую квартиру, где находился поставленный им часовой, взял печенье, колбасу и даже съел немного по дороге. Завтра надо сказать обо всем товарищам, и еще неизвестно, как они к этому отнесутся.

IV

Контрреволюция переходила в отчаянное наступление. 20 июня 1918 года был убит любимец петроградских рабочих, пламенный трибун революции, редактор «Красной газеты» В. Володарский. Утром 30 августа в здании Петроградского ЧК убит ее председатель М. Урицкий. Не успел Ф. Дзержинский доехать из Москвы до Петрограда для расследования этого убийства, как стало известно, что вечером этого же дня эсерка Каплан тяжело ранила Ленина. Это были победы контрреволюции, которые стоили многих побед на фронте. Враги радовались. Но рано. В 10 часов 40 минут вечера 30 августа ВЦИК издал обращение ко всем трудящимся и принял решение о красном терроре.

Гильотина пролетарской диктатуры была заряжена энергией классовой ненависти к врагам и безмерной любви к своему вождю. «Ты должен жить — такова воля пролетариата!» — писали рабочие Ленину. Алексеев стал ча-

стью грозного орудия — он вступил в ЧК. Ночной работы namного прибавилось.

А вскоре он был назначен заместителем председателя Петроградского окружного совета народных судей, в задачу которого, согласно Декрету ВЦИК и СНК, входило рассмотрение дел, превышающих подсудность местного суда, иначе говоря, особо опасных преступлений.

Однажды в начале 1919 года в ворохе дел, которые теперь с утра до вечера приходилось Алексееву читать и от которых он, привыкший к живой работе с людьми, казалось, сойдет с ума, встретилось дело гражданина М. Н. Феофанова по поводу группового ограбления квартиры со взломом и применением насилия над ее хозяином — старым и больным врачом. Но не само «дело» было интересно, а фотография: на Алексеева смотрел жандармский ротмистр Иванов, два года назад допрашивавший его в тюрьме. Алексеев попросил доставить арестованного к нему. Утром следующего дня привели человека, одетого в потрепанную одежку, заросшего буйной щетиной.

Алексеев ждал появления Иванова с нетерпением и даже злорадством. Да, он радовался зло — и что тут кривить душой? — в руки, наконец-то, попался тот, с кем спорили не о пустяках, а о высших политических и жизненных материях, кто стрелял в него — враг идейный, враг революции, личный враг, наконец. И когда Иванова ввели, он не отказал себе в удовольствии быть учтивым, почти галантным: вышел из-за стола, поздоровался за руку, сел напротив на стул в нарушение инструкций.

На лице Иванова не было ни страха, ни страдания, ни удивления, ни смущения. Ничего, кроме седоватой щетины. «Узнал или нет? — подумал Алексеев. — Кажется, не узнал». Спросил:

— Не узнаете, господин Иванов? Я — Алексеев. Помните: «Предварилка», 1917 год, роскошный кабинет, едва отмытый от дерьма рабочий парень и наш спор о смысле жизни и прочем тому подобном?

Иванов бросил на Алексеева быстрый взгляд, но молчал.

— Размышляете о том, признаваться или не признаваться, что вы не М. Н. Феофанов, а ротмистр Иванов? Зря. Вы же понимаете, что на доказательство этого требуется два-три часа, не больше. Знаете, почему я вас вызвал? Не верю, что вы пошли на ограбление просто так, а не по какому-то сильному мотиву. Здесь что-то го-

раздо большее кроется, чем уголовщина. «Святое дело сыска» и вдруг... Не вяжется. Будете говорить?

— Вас я узнал сразу. Говорить буду. Но сначала вопрос: вы — заместитель председателя окружного суда?

В голосе Иванова Алексеев уловил смятение и удивление.

— Да.

— Сколько ж вам лет?

— Двадцать два.

— С ума сойти! По прежним временам — это должность действительного статского советника. Если сравнить с военным ведомством, выходит, что вы — генерал-майор. Генерал в двадцать два года — с ума сойти. Такое раньше только с великими князьями и царскими особами возможно было. Н-да!.. И то хорошо, что хоть генерал допрашивает.

Алексеев усмехнулся.

— Да нет, я вас, господин Иванов, допрашивать не буду. Это дело следователя. Я о главном спрошу: кто вы — уголовник или?..

— «Или», конечно же, «или»... Я — член организации «Белый орел», ее Дальневосточной секции...

— Дальневосточной? — удивился Алексеев.

— Да, я служу у атамана Семенова. В Петроград был по заданию. Явки оказались проваленными. Закончились деньги, решили добыть таким вот образом... Викулова, врача этого, я знаю давно. Богатый, но либерал, знаете ли... Такой нелепый случай — засада. Откуда вы узнали, что мы придем?

— Действительно, случай. Ждали совсем других. Они не пришли, а вы вот...

— Какая обида! Вам везет, господин Алексеев.

— Нет, это не нам везет, а вам не везет, господин Иванов. Зовите меня лучше «гражданин Алексеев». И давно вы у Семенова?

— Близко сошлись в девятьсот семнадцатом, когда Семенов с помощью курсантов военных училищ пытался организовать переворот, арестовать членов Петроградского Совета и расстрелять их.

— Любопытно... Я, между прочим, и в то время был членом Петросовета. Продолжайте.

— Семенов предложил Керенскому сформировать отряды из забайкальских казаков, тот согласился, и мы уехали в Забайкалье. С тех пор я с ним. То в Маньчжурii, то в Чите...

Иванов сидел, опершись руками на колени, опустив тяжелую седую голову.

— Если бы мы взяли власть, я б знал, что делать теперь. Я б никогда не отпустил ни одного вашего брата из тюрьмы, я не судил бы вас, а просто перестрелял прямо в камерах. Я весь сыск уголовный и политический поставил бы на ноги, но поймал вашего Ленина и прикончил бы тут же, в первую минуту, ни о чем не спрашивая. Пулеметов, пулеметов — только их мне и хочется. Ибо только язык пулеметов доступен толпе... нар-роду... только свинец и петля могут загнать в берлогу этого стотысячерукого зверя...

Алексеев смотрел, сощурившись, на сильные плечи сильного врага и понимал, что все, что он говорит, — правда: нет, не выпустил бы, да, перестрелял бы. И чувствовал, как печет в груди, как хочется встать и грохнуть стулом по этой красивой голове.

— Во всех ваших словах, Иванов, самое важное слово «если». Именно это слово лишает какого-либо смысла дальнейший разговор на эту тему, — сухо сказал он.

— Это правда, — тихо подтвердил Иванов. — Он умен, ваш Ленин. В нашем воинстве такой фигуры нет. Да и прежде не было. Фокусники, тихие ничтожества, и не политики. И только поэтому вы возьмете верх.

— Это правда, — в тон Иванову сказал Алексеев. — Только говорить надо не в будущем, а в прошедшем времени. Мы уже взяли верх, уже победили.

— А этот, — Иванов кивнул головой на фотографию Дзержинского, — этот тоже умен?

— И честен, — ответил Алексеев.

Иванов замолчал. Молчал и Алексеев, глядя на него с сожалением, доступным бесспорному победителю. «Вот умный человек, а его надо убивать, — думал он. — Надо. Иначе убьет он, как убил уже многих. Но есть в этом какая-то нелепость и даже жестокость, есть, что ни говори. Ну, был бы немец или француз какой, завоеватель. Нет же, свой, русский человек, на Руси родившийся, на Руси выросший, за Русь умереть готовый. Но никогда нам не понять друг друга, а значит, и не жить рядом».

— Скажите, Алексеев, — заговорил Иванов, — почему мы разговариваем как враги? Ведь оба мы — русские, за родину радеем. Что стоит между нами?

Алексеев внутренне вздрогнул: об одном и том же по сути думали. Сомкнул брови на переносице.

— А вы как считаете?

— Россия между нами, — тихо сказал Иванов. — Моя Россия.

— Да, пожалуй, так можно сказать: «Моя Россия». Но не точно это будет. У каждого из нас своя Россия.

— Ну, ясно, — качнул уныло головой Иванов, перебив Алексева. — Для точности надо сказать «народ».

— Да, народ. Потому что вы и вся ваша камарилья — не народ, хоть и россияне, в России живете и Россией правите. Вы так, нашлапка над народом, как крест над церковью.

— А что за церковь без креста? Крест — знак веры нашей, — возразил Иванов.

— Вот тут вы в точку попали. Вера, точнее, идея — вот что нас прежде всего разделяет. Мы другую веру людям дадим. Коммунистическую.

— И вы верите в то, что народ вашу веру примет?

— Убежден.

— На костер пойдете ради этого? Впрочем, это мне было ясно еще там, в «Предварилровке». Фанатик вы, гражданин Алексеев.

«Черт возьми, он не первый говорит мне: «фанатик». Шевцов о том же говорил. Мария намекает. По-ихнему, это, видно, должно звучать очень обидно, должно быть, во мне что-то такое нехорошее, смешное или страшное. А я не чувствую себя ни страшным, ни смешным».

— А что, господин Иванов, вы и в самом деле считаете меня фанатиком?

— Безусловно. В совершенном виде.

— И какие ж для того основания? Не стесняйтесь, говорите.

Иванов хохотнул.

— Я давно разучился стесняться... Основания, спрашиваете? Ваша слепая приверженность Марксу и Ленину — раз. Ваша предубежденность, исключаяющая всякий разумный подход по отношению к другим учениям и вере — два. Полная нетерпимость к инакомыслящим в сочетании с крайней жестокостью — три. Довольно?

— Успокоили, господин Иванов. А то я уж переживать начал, думал, вы в чем-то нехорошем меня подозреваете. Диспут открывать не станем на сей раз, а все ж скажу, что и теперь вы ошибаетесь. К Марксу и Ленину я привержен не слепо, а по убеждению, ибо их учение убедило меня в своей истинности. Как это в Евангелии от Матфея: «Светильник тела есть око, и если око

твое будет устремлено на единое, вся плоть твоя исполнится света». Так вот, марксизм и есть то «единое», чему служу я и чем полна душа. Что ж тут предосудительно-го?.. Другие учения и взгляды допускаю и признаю. Нетерпим к идейным противникам? Да. Но на крайние средства решаюсь в крайних случаях. Как-то: стреляю, когда стреляют в меня. Как тогда, в октябрьскую ночь, когда вы с капитаном Ванагом хотели грузовик захватить. Не помните? Ну, да бог с вами, не об этом речь сейчас. Что там еще? Жестокость? И это неверно. Большевик ищет свой рай на земле, а не на небе, это правда. Но за свое право делать революцию, за свою работу он не требует платы и благ, а сам платит за это. Чем? Сном и отдыхом, здоровьем, жизнью. Что же тут-то обидного для меня? Это мне в радость — и дело мое, и оценка ваша, господин Иванов... Вы на ЧК намекаете? А знаете ли вы, что ЧК не расстреляла ни одного человека до тех пор, пока не был объявлен «белый террор»? Что даже Пуришкевич и провокатор Шнеур остались живы? Знаете ли, что когда ВЧК эвакуировалась из Петрограда в Москву, в ее составе было всего сто двадцать человек? Что эти единицы гибли сами, но не смели пролить кровь таких вот ярых врагов революции, как эти и им подобные? До поры, до поры... Теперь уж что поделывать — вынудили.

Алексеев с трудом остановил себя. Ходил по комнате. Иванов сидел.

— Вот вы, господин Иванов, говорите о моей жестокости. А ведь на ваших руках, должно быть, много крови, не так ли?

— Много.

— Расстреливали?

— Расстреливал.

— Вешали?

— Вешал.

— Мы передадим вас в ЧК. Это их дело.

— Меня расстреляют?

— Думаю, да. Вот и конец нашему диспуту, господин Иванов... Пуля ставит точку вашей жизни, а не моей.

Иванов покусал губы.

— А вы издеваетесь, мстите... Хотите, чтоб я, старый служака, сказал вам, мальчишке, что моя жизнь прошла зря? Пуля — еще не аргумент. Она могла достаться и вам, окажись вы где-нибудь в Бурятии, где

наша власть... Сколько их я вколотил в вашего брата, но много вас, много. У вас закурить не найдется?

— Не курю, но махорку на всякий случай держу. Вот, пожалуйста, и спички... Скажите, Иванов, и не страшно было — стрелять, вешать? Людей не жалко?

— Страшно? Жалко? Кого жалеть — эту мразь? Что не занялись этим тремя годами раньше — вот об этом жалко. В конце января девятьсот восемнадцатого, помню, повеселились на станции Маньчжурия. Атаман наш остряк. Звонит ему представитель Читинского Совета: «Атаман Семенов, что произошло у вас там, на станции Маньчжурия?» А он отвечает: «Ничего особенного. Все успокоилось. Ваши красногвардейцы мне больше не мешают». Тот: «Как это понять? Вы их расстреляли?» А он: «Нет. Я их не расстрелял. Я дорожу патронами. Я их всех перевешал». И отправил в Читку платформу с трупами повешенных. Вот так и надо было действовать с самого начала.

Иванов умело сделал самокрутку, жадно затянулся, пустил струю дыма.

— Несколько дней не курил, знаете ли. К нашему диспуту в «Предварилровке»... я не помню, о чем мы говорили. Я со многими о жизни говорил. Это, знаете ли, придавало осмысленность работе, этакую остроту, злобу служебную... В одном признаюсь: обидно мне, русскому человеку, по указке японцев идти походом по русской земле на русскую столицу, пускать русские пули в русских же людей и слышать, как они надо мной свистят... Тоже русские. Больно это... Однажды, где-то на заимке, под Читой, в лесу, во мху, в тмутаракани заговорил я с мужиком. Стоит, зарос бородищей, ни глаз, ни носа не видно, ну, быдло, да и только. Спрашиваю его: «Керенского знаешь?» — «А как же, знаю», — говорит. «И что же думаешь о нем?» — задаю вопрос. «Пустозвон», — говорит. «А о Врангеле слышал?» — спрашиваю. «Как же, слышал о Врангеле», — отвечает. «Что думаешь?» — спрашиваю. «Пан», — говорит. «А Семенов — кто?» — спрашиваю. «Семенов? Зверь». И рукой махнул. Меня глубочайше, до глубины души ранила, просто убила эта встреча, знаете ли... Так точно, одним словом — и полный портрет каждого. Поразительно! А ведь быдло быдлом...

Алексеев усмехнулся.

— Это, господин Иванов, и есть народ... Вы фарисей, ротмистр, крайний фапатик, иначе говоря, ибо вы сле-

пой во всем. Вы лицемерным благочестием не прикрываетесь. «Горе вам, фарисеи и лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь». Помните Библию? Горе вам, ротмистр Иванов. Что-нибудь еще хотите сказать?

— Нет. У меня все.

— У меня тоже.

Алексеев нажал на кнопку. Вошел красногвардеец.

— Уведите, — приказал Алексеев.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Страшный 1919 год был в зените опаснейших для Советской власти исторических событий. Едва отбив первые удары белогвардейщины и интервентов, Советы вновь оказались перед угрозой губительного нашествия разъяренных белогвардейских орд. Контрреволюция внутренняя и внешняя собрала огромные силы для уничтожения рабоче-крестьянского правительства. США, Англия, Франция и Япония на Парижской конференции согласовали план нового наступления на Советскую Республику силами белогвардейских армий Колчака — с востока, Деникина — с юга, Юденича — с северо-запада. Оружие, обмундирование, продовольствие, деньги, советники поступали к ним в изрядных количествах.

Особое место в планах Антанты и белогвардейщины занимал Петроград. Он имел крупнейшее стратегическое значение, ибо здесь была сосредоточена большая часть советской военной промышленности, находились корабли Балтийского флота. Петроград играл исключительную по важности политическую роль: здесь начиналась революция, здесь билось ее сердце и поныне, хотя столицей республики теперь была Москва. Падение Питера тяжело отразилось бы на хозяйственных и военных делах страны, облегчило бы наступление Колчака, могло иметь самые катастрофические последствия.

Еще в декабре 1918 года американский посол в Стокгольме Моррис одобрил представленный Юденичем план наступления на Петроград. К штабу Юденича был прикреплен американский подполковник Даули. Плацдармом для наступления на Петроград были избраны Финляндия и Эстония. Буржуазия этих стран добровольно и под нажимом Антанты была втянута в подготовку этого наступления. В Финляндии были созданы пункты по вербовке

всевозможного отребья в Северо-Западную белогвардейскую армию. Здесь же была организована Олонецкая добровольческая армия, которой командовали финские и немецкие офицеры. В Эстонии формировался белогвардейский Северный корпус. Для борьбы с большевистской Россией вербовались добровольцы в Скандинавских странах. В Таллин прибывали датские и шведские отряды...

Во второй половине апреля 1919 года все силы белогвардейского Северного корпуса, служившего основной ударной силой контрреволюции на Петроградском фронте, сосредоточились в верховьях реки Наровы. Направление главного удара: Ямбург — Красное Село — Петроград. Отряд Булак-Балаховича и 2-я белоэстонская дивизия нацелились на Гдов — Псков, Олонецкая добровольческая армия — на Петрозаводск и Лодейное поле. Действия сухопутных войск Юденича поддерживались морскими силами интервентов. В Финском заливе сосредоточилось 50 военных кораблей, в составе озерных флотилий финнов и англичан было еще 14 военных кораблей и 6 гидросамолетов. Общий план белых по захвату Петрограда предполагал также организацию контрреволюционного мятежа в городе и его окрестностях, использование шпионской сети в штабах советских воинских частей из числа бывших офицеров, теперь служивших новой власти в качестве военспецов.

Защищали Петроград части 7-й Красной армии и Балтийский флот, боеспособность которых была невысокой и понижалась. В армии и на флоте действовала вражеская агентура, они плохо снабжались. Партийно-политическая работа находилась в запустении. На главном направлении удара — Нарвском участке — противник при этом имел двойной численный перевес, а на левом участке фронта перевес сил был семикратным.

21 апреля началось отвлекающее наступление белых, которое принесло им легкий успех. В первый же день было занято село Видлицы, а 24 апреля — город Олонец. Одновременно вдоль Мурманской железной дороги с севера на Петрозаводск начали военные действия иностранные интервенты.

В руководстве партийной организации Петрограда возникла паника. Секретарь губкома РКП(б) Г. Е. Зиновьев дал командованию 7-й армии распоряжение снять часть ее резервов с Нарвского направления и перебросить их на Олонецкий участок, не догадываясь, что именно на это и рассчитывал Юденич. Было принято решение

об эвакуации из Петрограда части заводов и фабрик, о затоплении Балтийского флота. В массах рождалось неверие в то, что город может быть спасен от белых.

Военная и политическая ситуация мгновенно стала крайне острой и ухудшалась с каждым часом.

I

Алексеев шел на толкучку: надо было обменивать золотой медальончик Марии — единственную фамильную драгоценность семьи Курочки — на хлеб. Уже вторую неделю Мария лежала с воспалением легких, совсем ослабла, врачи предписывали усиленное питание, а где его взять? Алексеев выворачивался наизнанку, чтобы достать хоть немного продуктов, но вот все законные возможности были исчерпаны. Прежде он делил свой паек напополам с Марией, теперь отдавал ей его полностью, но это не спасало. Тогда он снял с шеи лежавшей в забытьи Марии вот этот самый медальон, который сжимал сейчас в кулаке, и, проклиная себя за беспринципность, двинул на толкучку: иного выхода нет.

Он шел и по привычке просматривал на ходу газеты. Сообщение с Южного фронта... С Восточного... Ничего утешительного. Юденич под Петроградом... Голодные обыски в городе. «Русские ведомости», захлебываясь от восторга, сообщали о продовольственном кризисе: «Революция умирает! То, что именовалось великой революцией и что на самом деле было Великим Уродом, подыхает с голоду и, слава господу, скоро отойдет в мир иной. Догорает, угасает в дыму и чаду, в зловонии и беспамятной ненависти Великий Гад...» «Да, — подумал Алексеев, — видно, дела наши на всех фронтах и в самом деле неважные. Иначе б не осмелились так писать эти господа. Еще недавно, совсем недавно рычали по-за углом, а теперь обнаглели... И все ж торопитесь хоронить нас, ой, торопитесь, господа паршивые!»

От газет пахло войной, порохом, варевом походных кухонь, крепким солдатским потом, кровью и бедой.

Навстречу тек людской поток, и Алексеев, словно лодка на реке со сплавом, маневрировал между пешеходами — обгонял, отступал влево, вправо, тормозил — и все вслепую, не поднимая глаз от газеты. Его толкали, поругивали, но и это не обижало — чтение на ходу было его давней привычкой.

Рядом рывкнул клаксон. Алексеев вздрогнул, глянул

вправо. Мимо мчались грузовики с рабочими и матросами. Они сидели молча, напряженно, держа между ног винтовки, смотрели вперед сосредоточенно, словно пытаясь разглядеть в неизвестности свою судьбу, которая ждала их в окопах. «На Юденича идут», — отметил про себя Алексеев. И еще подумал, что многим из этих людей суждено умереть, что едут они, заклиная судьбу о жизни. Только никакими заклинаниями пулю не остановишь: она тебе и кротость, и мудрость. Точка всему. А все же ему хотелось быть среди этих людей.

Вспомнился недавний разговор в губкоме партии в связи с просьбой отпустить на фронт.

— Тебе что, товарищ Алексеев, работы в Питере мало?

— Достаточно. Хочу воевать.

Товарищ из губкома непонимающе пожал плечами.

— Хорошо. Доложу. Посоветуемся. Вызовем.

До сих пор так и не вызвали. «А вот возьму да после толкучки и зайду снова в губком. Ужель не настою на своем, не докажу...», — подумал Алексеев.

Толкучка оглушила какофонией звуков. Звон проезжающих трамваев и ржание лошадей смешались здесь с выкриками торговцев, носильщиков, агентов по сдаче мебелированных комнат, убожество и ницета — с богатством и блеском; бархатные салоны и хорьковые шубы нарастали от повеявшего майского тепла, меховые капоры — с рваными зипунами, бараньими бекешами и солдатскими шинелями, крестьянскими треухами, ветхими шальями и платками. Вчерашних господ всех сословий в одну компанию с работным людом, красноармейцами и деревенщиной согнал голод и, как хотел, правил ими, заставляя вступать в разговор с теми, кого недавно презирали и ненавидели, обходили стороной.

Деревня скупо продавала, город щедро платил, но покупателей было неизмеримо больше.

Алексеев старался не смотреть по сторонам — на жирных кур, дымящиеся пирожки, на хлеб в руках торговцев. От запахов кружилась голова, он не успевал сглатывать слюну.

Завидев мужика, державшего в одной руке буханку хлеба, в другой — кусок сала, Алексеев подошел к нему и предложил обменять все это на его медальон. Мужик оскалил черные зубы, куснул медальон, подкинул его на ладони, как бы определяя вес, завел вдруг никчемный разговор.

— Газеты пишут, Юденич движется. Вовсе спокойно мужику и правил для торговли тако же. А еще так же само желаю сказать...

— Будешь менять или нет? — нетерпеливо и зло перебил его Алексеев.

Мужик положил хлеб из правой руки на сало в левой, с треском высморкался, вынул из кармана огромный грязный платок, распустил его, утер нос, посмотрел на Алексеева сонно.

— Смейшно.

И повернулся к Алексееву спиной.

В конце концов они сговорились: фунт сала и полбуханки хлеба перешли в руки Алексеева, медальон — в красноватых веснушках руки мужика.

Толкучка бурлила, продавала, покупала, зазывала, угрожала. Звон, треск, шум, гам несколько стихали, когда в толпу врезались кожаные тужурки красногвардейцев. Завидев их, салоны, капоры, зипуны и бекешы настораживались, сбавляли напор в своих голосах и на некоторое время принимали почти смирный вид.

Алексеев выбрался из толпы с облегчением, с чувством совершенного греха, который оправдывался единственно безмерной нуждой, и, словно желая очиститься от этого своего греха, отправился в губком партии — проситься на фронт.

Наскок оказался снова неудачным.

Но решение было принято, и Алексеев уже не отступал от него, методично бомбардировал губком своими просьбами. И дело начало сдвигаться с мертвой точки. Тем более, что обстановка на Петроградском фронте становилась все более катастрофической.

2 мая Совет рабоче-крестьянской обороны под председательством Ленина принял решение объявить Петроград, Петроградскую, Олонецкую и Череповецкую губернии на осадном положении и обязал Петроградский областной военный комиссариат призвать в Красную Армию столько рабочих и крестьян, сколько нужно для обороны города. На следующий же день и вплоть до шестого мая все работники партии и союза молодежи были раскреплены по предприятиям и учреждениям города, красноармейским частям, кораблям и фортам Балтийского флота для организации митингов и собраний. «Все на защиту Петрограда!», «Все на разгром внешней и внутренней контрреволюции!», «Не допустим, чтобы окопавшиеся в Петрограде враги помогли бандам Юденича!» —

эти лозунги выдвинула партия, они звучали на рабочих собраниях.

13 мая белогвардейский Северный корпус под командованием Родзянко перешел в наступление на главном направлении.

15 мая отряд Булак-Балаховича занял Гдов.

17 мая пал Ямбург.

25 мая Красная Армия оставила Псков.

Белогвардейские части быстро катились к Петрограду. Революционному сердцу России грозил смертельный удар...

17 мая ЦК РКП(б) командировал в Петроград в качестве чрезвычайного уполномоченного Совета обороны И. В. Сталина. Было предложено мобилизовать на фронт всех лучших партийных и государственных работников Петрограда. Двадцать второго мая ЦК РКП(б) опубликовал воззвание «На защиту Петрограда!». «Питерский фронт, — говорилось в нем, — становится одним из самых важных фронтов республики».

В эти дни Алексееву наконец-то удалось осуществить свою мечту: он был назначен на должность помощника (по-нынешнему — заместителя) начальника Особого отдела 7-й армии. Ему, привыкшему очищать от паникеров, жуликов и воров тыл, теперь предстояло бороться с мародерами и паникерами, предателями и шпионами в войсках. Партия требовала решительно повысить боеспособность 7-й Красной армии.

В новенькой форме, в скрипучей портупее, с револьвером на боку справа и шашкой на левом боку, Алексей выглядел совсем непривычно и неожиданно мужественно. Мария смотрела на него влюбленными глазами и, наверное, восхитилась бы, если бы не знала, что они расстаются, что он уходит туда, где стреляют и убивают, туда, откуда многие не возвратятся никогда. Она не плакала и не могла говорить, а молча шла рядом до ждавшей Алексеева машины, молча сидела, прижавшись к нему, пока добрались до вокзала, молча обняла, припала долгим поцелуем, прежде чем он вспрыгнул на подножку уносящего его в неизвестность поезда...

По прибытии в штаб 7-й армии, который располагался в Гатчине в помещениях Гатчинского дворца, Алексей представился командующему армией А. К. Ремезову. Разговор длился минут пять, не больше. Спрятав взгляд куда-то под стол, за которым сидел, Ремезов сказал несколько общих фраз о сложной обстановке на фронте, о

том, что армию надо очищать от вражеского элемента, и предложил получить подробные инструкции у начальника Особого отдела Пурышева. Вот и все.

Пурышев подробно расспросил Алексеева о происхождении, семье, о работе в подполье, в союзе молодежи и обрадовался тому, что Алексей имел опыт в судебных делах: на фронте, как и в тылу, не было людей, готовых для работы в военном трибунале. Он пытливо смотрел на Алексеева и не спешил посвящать его во многое.

— Не выявим, не уничтожим предателей — дело наше гиблое. Такие неожиданности вдруг выявляются — балдеешь просто, начинаешь подозревать даже тех, о ком вроде и думать-то плохо нельзя...

И он замолчал, не желая, видимо, углубляться в ту область, где лежали тайны, пока недоступные Алексееву. Может быть, он молчал о том, что не так скоро, только осенью, станет известно точно, а в тот момент лишь для некоторых было смутным подозрением — о предательстве начальника штаба одного из участков фронта, а вскоре начальника штаба 7-й армии Люндеквиста? А может, о чем-то другом? Начальнику Особого отдела было о чем молчать...

Потом Пурышев сказал тоном приказа:

— Пока возглавите летучий трибунал, товарищ Алексеев. Сегодня же ночью выедете на фронт. Фамилии двоих членов трибунала и части, в которые надлежит выехать, назову через час.

И опять внимательно, как бы заглядывая внутрь алексеевской души, сказал:

— Дело опасное. За последнюю неделю мы в частях потеряли несколько составов таких трибуналов. Один из них белогвардейцы захватили в плен спящим. Пытали зверски, потом застрелили всех троих... Вам предстоит заменить погибших товарищей. Работы будет много. Желаю успеха. Через неделю прошу быть на месте. Начнем работать.

В душе Алексеев усмехнулся — как неаккуратно проговорился его новый начальник: если работа — через неделю, значит, поездка в части во главе трибунала — это что-то вроде проверки... Хотел сказать об этом Пурышеву, но сдержался: теперь он в армии — получил приказ и надо его выполнять.

Трудная неделя выдалась в эту пору на долю Алексеева, может, самая трудная за всю жизнь...

Судили иногда по несколько человек в день, и внеш-

не все вроде было похоже на то, как происходило раньше в Нарвско-Петергофском суде. Так же собирались на суд сотни людей, только не в зале, а где-нибудь на поляне, не гражданских, а военных; так же выступали они в защиту и с обвинениями нарушивших закон Советской Республики, и Алексеев заключал: «Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики летучий Революционный трибунал...» Все было похоже на прежние процессы, но это было не одно и то же. Здесь судили шпионов, предателей, перебежчиков, мародеров, дезертиров, и редко кому из них выпадало прощение, возможность искупить свою вину в бою. В большинстве случаев приговор был один: расстрел. И приводился он в исполнение немедленно.

Звучали приговоры и выстрелы, падали враги — с проклятиями и тихо, без слов, а только сжав до скрежета зубы от ненависти, умирали враги, но с каждым днем это было все невыносимей — произносить приговоры, зная, что с твоим последним словом обрывается чья-то жизнь. Да, конечно, — жизнь врага, который, не раздумывая, влепил бы тебе пулю в лоб, искромсал ножом, проколол штыком твое тело, врага, врага... Но — человека. Чьего-то отца, мужа, брата, сына. «С твоим последним словом в чей-то дом приходит горе, — говорил себе Алексеев. — А если ты ошибся? Есть ли тебе прощение лишь за одну ошибку? Представь, что цена этой ошибки — твоя собственная жизнь или жизнь твоей Марии?» Думать об этом было невыносимо, но чего не может человек — так это запретить думать. Даже самому себе.

Нервы Алексеева были натянуты до боли, до звона в ушах, до бессонницы по ночам, до кошмарных сновидений в короткие часы полубредового забытья. Он уже считал часы, которые остались до конца отведенной на эту работу недели, когда встретил красноармейца Шевцова, бывшего председателя Петроградского союза молодежи «Труд и Свет» Петра Григорьевича Шевцова, своего идейного врага Шевцова. Встретил в красноармейской форме.

— Шевцов?! — спросил Алексеев обалдело.

— Шевцов, собственной персоной, — ответил спокойно тот.

— Красноармеец?!

— Так точно. Рядовой. А ты и тут в начальниках, опять, слышал, караешь...

— Караю, — ответил Алексеев. — Именем революции...

— Кошмары по ночам не видятся? — язвительно усмехнулся Шевцов.

Они схватились в споре. И столько, видно, злобы на Алексеева накопилось у Шевцова за те долгие месяцы после отъезда из Петрограда, столько раз, наверное, он убивал, уничтожал его в своем воображении, что, забыв о различиях в званиях, об окружающих, обо всем позабыв, слов и тона в споре не выбирал, а лепил и лепил в лицо Алексееву обвинения, упреки, угрозы. И так, видно, устал, истрепал свои нервы Алексеев, что почти не мог говорить, а только все больше пекло в груди, мутнел рассудок, дрожало все тело от ненависти и обиды, что только и смог вымолвить пересохшим горлом:

— Сними звезду с фуражки, сволочь!

И столько тяжести и воли было вложено в эти слова, что умолк Шевцов, побледнел и, закричав испуганно, выхватил наган. Тут-то Алексеев и ударил его в челюсть, да так, что Шевцов без звука брякнулся оземь, а он отошел, как лунатик, в сторону, потом выхватил пашку и с криком кинулся к лежащему без сознания Шевцову, и зарубил бы его, но его схватили проходившие мимо красноармейцы, заломили руки. Но и тогда он в истерике кричал, угрожал, стонал и плакал...

Потом врач сделал Алексееву успокоительный укол, и он уснул, будто умер, на целые сутки. А когда пришел в себя, никак не мог понять, почему руки и ноги его привязаны к кровати, почему он в лазарете, не сразу вспомнил, что произошло сутки назад. Потом он вспомнил, осознав, что случилось.

Душила обида за все случившееся и за то стыдное, что предстоит пережить, оправдываясь и доказывая свою правоту... «Правоту — в чем? — подумал Алексеев. — В том, что Шевцов — сволочь? Это доказать невозможно. Мало ли, что был председателем «Труда и Света». Здесь нет криминала. Расходимся в политических взглядах? Так что же. Меньшевики и эсеры в правительстве имеются. А то, что он мерзавец и враг нашей власти, этого я не докажу. Для этого надо послушать хоть раз то, что он говорил мне наедине. Наедине! Вот в чем загвоздка. Он скажет: «Не говорил ничего такого» — и все. Свидетелей нет. И я — в дураках, я просто псих и хулиган в глазах товарищей, которые меня не знают, этакий распустившийся начальничек из «новых». За рукоприкладство

сейчас, как пить дать, можно пойти под расстрел. Это красноармейцы не прощают. Что изнасиловал, истрепал все нервы за эти годы, сорвался от ненависти — кому это объяснишь, отчего такое? Изнасиловал? Не берись за такую работу, а взялся — держи себя в кулаке. На это и Особый отдел, особая должность у тебя...»

Потом было недолгое разбирательство, из которого явствовало, что Шевцов — хороший красноармеец, за время службы ничем себя не запятнавший, и что заместитель начальника Особого отдела 7-й армии Алексеев допустил недопустимое, опозорил звание красного командира, которое он не достоин более носить. За грубое нарушение воинской дисциплины и рукоприкладство Алексеев был откомандирован в первый взвод 2-й роты запасного полка, что стоял в городе Торжке Тверской губернии. Рядовым красноармейцем...

7-я армия терпела поражения, откатывалась к Петрограду. Тысячи людей погибали ежедневно, становились калеками, кровь лилась ручьями, и что тут за трагедия — случай с Алексеевым? Жив, руки-ноги целы? Благодарить судьбу. Но Алексеев ходил, словно неживой, все в жизни было ему не мило: он был не у дел, его лишили доверия. Это было больнее всего. Вместе со всеми учился стрелять, ползать, ходил в наряды, но стыд за совершенное мучил. Одно было хорошо: в полку его никто не знал — он пополнялся из глубинных губерний. Снова Алексеев ждал боя...

И вдруг жизнь его опять закрутилась в бешеном темпе, по которому он тосковал. Помог случай, хотя, как сказать...

Обучение закончилось, и перед выходом на фронт полк построили для митинга. Комиссар напутствовал бойцов. Говорил долго и нудно, словно не в бой, не умирать уходили люди, а картошку полоть. К строю, неожиданно для самого себя, обратился Алексеев, и нашел верные слова, которые хотели слышать люди. И в те же минуты стал «знаменитостью» — полк кричал «ура», а маршевая рота несла его к вагонам на руках.

На следующий день Алексеева назначили руководителем школы политграмоты полка.

А вскоре избрали в состав полкового бюро РКП(б), хотя для этого пришлось вести двухнедельную переписку с политотделом армии — там помнили о проступке Алексеева.

Полк прибыл в Гатчину, и так совпало, что шли вы-

боры в Гатчинский городской Совет рабочих и солдатских депутатов. От полка в Совет избрали Алексеева, а исполком Совета назначил его своим секретарем. Новая должность, новый поворот в судьбе.

II

Утром 4 октября из Петрограда вернулся Григорий Хоружий, привез кучу новостей, привет и шерстяные носки от Марии, свежий номер «Правды» со статьей Ленина «Пример петроградских рабочих». Ильич призывал трудящихся Советской Республики следовать примеру петроградцев в борьбе с интервентами и белогвардейцами. Статья Ленина, как всегда, была на злобу дня: дела на Южном фронте были плохи. Деникин, заняв 20 сентября Курск, усиленно развивал наступление на Москву. Над столицей нависла смертельная опасность.

И тут, совсем не случайно, 28 сентября Юденич начал свое новое, второе наступление на Петроград. Благодаря помощи США и Англии он быстро оправился от недавнего августовского тяжелого поражения. На Северо-Западном фронте белая армия снова насчитывала 34 тысячи штыков и 2400 сабель при 47 орудиях, 500 пулеметах, 4 бронепоездах, 6 танках и 6 самолетах.

Первыми же ударами белые прорвали фронт красных 10-й и 19-й стрелковых дивизий. И вот еще одна новость, которую сообщил Хоружий: войска Юденича заняли железнодорожный узел Струги Белые, перерезав железную дорогу Псков — Луга.

— Быстро идут, гады. Всего неделю, как начали наступление, а уже в Стругах. А под Ямбургом затаились. Тут что-то не так, нутром чую. Нет, не могу больше сидеть в Совете, я должен быть на фронте, ты понимаешь?

Хоружий понимал своего товарища. И прежде всего потому, что сам желал того же. Но что поделать? Доверено работать в Совете — сиди и не дергайся. Да и разве пустячными делами они заняты? Взять хотя бы последние дни, когда 25 сентября в числе других был образован Гатчинский сектор Петроградского укрепительного района: Ораниенбаум — Гатчина — Тосно. По всей этой линии силами местных жителей и воинских частей по плану командования 7-й армии шло рытье окопов и пулеметных гнезд, устраивались лесные завалы. Организация этой работы была возложена и на Гатчинский Совет. Верхом на коне, в дождь и непролазную грязь осени

1919 года Алексеев мотался от одной точки к другой, добывая лопаты, ломы и топоры, там, где их не было, выгоняя из теплых изб кулаков и подкулачников, желавших не помогать красным, а, совсем наоборот, мешать им, чтоб скорее вернулись долгожданные господа офицера и старый, дорогой сердцу порядок. И тогда приходилось доставать наган, сбивать злую накипь силой. Что делать, если главное сейчас — любыми средствами укрепить оборону? А там, где не привыкшие к холоду и грязи граждане-интеллигенты прятали заочневшие руки в муфты и под мышки, топтались на месте вместо того, чтобы орудовать киркой и лопатой, он соскакивал с коня, хватал лопату, ту, что побольше, и рыл ямы с таким остервенением, будто через пять минут и начнется это самое наступление превосходящих сил противника, о котором он только что им рассказывал. Он хватал на лопату земли побольше, швырял ее подальше, со стонами и криками, без остановки, пока от него не начинал валить пар и перед глазами не начинали мелькать белые мухи. Иные граждане-интеллигенты ворчали в силу своей невысокой сознательности, но все же, поскольку были совестливы, глядя на этого неистово и быстро, будто крот, вгрызавшегося в землю большевика, с ворчанием и проклятиями, но все же брались за орудия труда.

Были и другие дела под стать фронтовым: мобилизация населения в части 7-й армии, чистка города от заставшей в нем агентуры белых, ну и конечно же, работа среди молодежи. Алексеев не был бы самим собой, если бы не добавил этот «довесок» к своим служебным обязанностям.

Комсомольская организация Гатчины во главе с шестнадцатилетним Костей Рачковским была еще слабой, малочисленной, и Алексеев каждую свободную минуту проводил в горьком комсомола, на собраниях ячеек, которые уже действовали на железнодорожном узле, товарной станции, при военкомате, в соседних деревнях. Около трети своего состава гатчинская организация РКСМ выделила на фронт, остальные комсомольцы вместе с партийцами готовили город к обороне. Это их руками были размонтированы станки и оборудование меднолитейного завода в Мариенбауме, погружены в железнодорожные вагоны сырье и готовая продукция, это благодаря им завод был полностью эвакуирован и спасен от Юденича, сбережено десять тысяч пудов меди, несколько вагонов медных изделий.

Да, все это был, собственно говоря, фронт, но не бой, в котором Алексею так и не удалось побывать до сих пор. А ему во сне не раз даже виделось: он в штыковой агаке, в разведке в тылу врага. Ну, что тут поделать — мечталось! Двадцать два года — это все-таки двадцать два: молодость, удаля, жажда подвига...

Рассказал Хоружий о митингах, что прошли в Петрограде в знак протеста против злодейской акции анархистов, бросивших бомбу в помещение Московского комитета РКП(б), об отправке петроградских коммунистов на Южный фронт, о том, что завтра, 5 октября, Петроград будет хоронить комбрига А. П. Николаева, геройски погибшего от рук белогвардейцев в Ямбурге. И еще сообщил о том, что в Гатчину из Петрограда вот-вот должен прийти бронепоезд, отремонтированный путиловцами.

— Как?! И ты молчишь об этом до сих пор?! — вскричал Алексеев. — Вот на нем я и уйду воевать. И черта с два меня кто-нибудь удержит.

И кинулся к телеграфному аппарату, приказал телеграфисту срочно выяснить, когда прибудет бронепоезд. На том конце провода попросили времени и через час сообщили: «Секретно. Сегодня вечером Гатчину прибудет бронепоезд номер сорок четыре имени Володарского зпт командир Евдокимов тчк Обеспечьте прием тчк».

И еще ни с того ни с сего телеграфист вдруг отступал, что в Петрограде хлещет ливень с градом, тучи двинулись в сторону Гатчины...

Пока же здесь ярко светило солнце и не было даже намека на непогоду.

Изнемогая от собственной тяжести и усталости, тучи добрались до Гатчины только к вечеру, заглотили остатки дня и, зависнув над самыми крышами домов, стали сваливать на них со своих плеч воду, холод и темень. Будто английские аэропланы, они кружили над городом часа два и, отбомбившись, двинулись дальше в сторону Ямбурга, швыряя из своего хвоста одну за другой длинные ленты ярких молний в залитый водой и присмиривший город, угрожающе рыкали, как победивший, но не добивший свою жертву зверь, который может еще вернуться.

А к ночи Алексею сообщили, что бронепоезд прибыл. Алексеев кинулся на железнодорожный узел — родные путиловцы! Ему повезло: в пулеметном расчете бронепоезда № 44 было свободным место пулеметчика, а он в Торжке, в запасном полку, обучился этой работе, управлялся не только в «максимом», но также с «лыюи-

сом» и «гочкисом». Командир бронепоезда Владимир Михайлович Евдокимов, бывший офицер, тут же опросил Алексеева на предмет знания материальной части пулемета, засек время на его разборку и сборку, остался доволен результатами. Теперь дело было за пустяком: добиться разрешения на перевод в команду бронепоезда.

На это ушло два дня: ценный руководящий кадр — и вдруг рядовым пулеметчиком? При нехватке комсостава? Неразумно. Спасло то, что бронепоезд как-никак был самым грозным оружием, что команда на него формировалась из людей исключительного воинского мастерства, мужества и преданности революции. Но такой человек к пулемету нашелся бы, несомненно, и потому неизвестно, чем бы все закончилось для Алексеева, если б не были получены разведанные о том, что в ближайшие дни Юденич двинется со стороны Нарвы на Ямбург, от которого до Гатчины рукой подать; что в Финском заливе приведены уже в полную боевую готовность английская и финская эскадры; что удар на Петроград через Гатчину и есть главное направление движения белых войск и что снятие с Нарвского участка бригады 6-й стрелковой дивизии и конной бригады — ошибка руководства обороны Петрограда, именно то, чего добивался Юденич: ослабить Нарвский боевой участок. Не было ясно только, когда начнется наступление — сегодня, завтра?

В срочном порядке бронепоезд отправили на Ямбург.

Алексеев занял место в пулеметном расчете.

Пулеметное гнездо находилось в носовой части бронепоезда, а чуть сзади и выше располагалась пушка с боезапасом, и от того было тесно до невозможности, пулеметчику еле удавалось развернуться на те сорок градусов сектора обстрела, что были вырезаны в броне. Но бронепоезд — не салон-вагон, машина боевая, потому и заботились не об удобствах, а о том, как разместить побольше патронов и снарядов, которые — все это понимали — с минуты на минуту понадобятся. А пока стояли в Ямбурге, ждали...

Алексеев осваивался с обстановкой, знакомился с командой, в которой многих знал, и почти все бойцы, кроме командира бронепоезда, знали его. Что удалось понаблюдать на бронепоезде, он был рад теперь еще больше, чем ожидал. От того, что все вокруг, как родные, это, конечно, главное. А еще от того, что родилось в душе какое-то новое, особое чувство силы и уверенности. Может, потому, что твое незащищенное тело прикрыто толстой

броней, что огромная масса, оснащенная шестью пушками и четырьмя пулеметами, тяжело несущаяся по рельсам, неотвратимо могуча и, казалось, несокрушима? И ты пеотделим от нее, ты так же могуч и непобедим? Может...

Все жаждали боя. И он грянул.

10 октября Юденич бросил на Ямбург, Волосово и Гатчину свой 1-й корпус. При поддержке танков и ураганного артиллерийского огня белые стали быстро теснить 6-ю дивизию красных. Километр за километром они сдавали позиции, а бронепоезд прикрывал их отход огнем своих пушек, пятясь к Ямбургу.

Неожиданно с тыла наскочила белая кавалерия, взорвала рельсы, отрезав путь к отступлению, пошла в атаку, пытаясь захватить бронепоезд. Вот уж где отвел наконец-то свою душу Алексеев, хоть наблюдать за результатами работы не было возможности: в бешеном галопе кони неслись на бронепоезд, и по разверстым ртам их всадников было можно догадаться, что они орут зло и ненавидяще, но все заглушал грохот собственного пулемета и уханье пушки, от выстрелов которой болели перепонки в ушах и ело глаза от дыма.

Измотавшись, белые ушли за лесок и притаились там, ожидая, когда команда примется за ремонт путей. И лишь только появилась первая группа у развороченных взрывами рельсов, из леска раздались выстрелы. Ранили Иванченкова. Но выхода не было: близился вечер, темнота, которая была на руку белым. Так, под прикрытием пулеметов и орудий несколько часов шла эта смертельная работа: двое в команде были убиты, трое ранены, но бронепоезд вырвался из западни. И в самое время — вдали уже показался вражеский бронепоезд и начал пристреливать цель. Теперь, когда маневренность была восстановлена, дуэль продолжалась на равных...

В ночь на 12 октября Ямбург пришлось сдать.

15 октября бои уже шли на подступах к Гатчине, Павловску, Детскому Селу, к Стрельне и Петергофу.

Было ясно, что Гатчину удержать не удастся. Спешно велась эвакуация семей всех, кто работал в органах Советской власти, вывозилось наиболее ценное оборудование.

17 октября белые ворвались в Гатчину и уже половина города была занята ими, когда Евдокимов получил приказ из последних сил держать Варшавский вокзал, поддерживать огнем отступающую роту, на плечах которой висели белые, растекаясь по улицам.

Но что может бронепоезд в городе, когда все цели закрыты стенами зданий? Только ждать, когда выкатят белые орудия и расстреляют его прямой наводкой. Глупо.

Евдокимов снял с бронепоезда половину команды, разбил на тройки и отправил в разные концы для скорой разведки. Через полчаса все должны были вернуться. В любом случае бронепоезд в это время покинет вокзал: выстрелы слышались уже и в той стороне, куда предстояло отступать.

Не успели Алексеев вместе с Женькой Людкевичем и Павлом Гервинским выйти из здания вокзала на площадь, как увидели отступающих красноармейцев. Их было около сотни, они пятились, стреляя на ходу. И вдруг, наклонив штыки к земле, с криком «ура», с отчаянием погибающих кинулись навстречу белым.

Раздумывать было некогда.

— За мной! — крикнул Алексеев и кинулся вслед за красноармейцами.

Он несся в гущу рукопашного боя, на ходу срывая с себя длиннополую, мешавшую ему бежать шинель, и уже слышал лязг штыков, и бешеные крики дерущихся, их мат и глухие револьверные выстрелы в упор, и запах крови, и предсмертные хрипы и молил об одном: только бы они выстояли, эти тверские и тульские мужики, совсем недавно одевшие красноармейские шинели, только бы выстояли, пока он добежит до них, словно он и два его товарища что-то могли изменить в этой неравной схватке...

Они не выстояли, побежали назад, и Алексеев орал им: «Стойте!», но даже сам себя не слышал, стрелял из револьвера вверх, но звуки выстрелов рассеивались в рыхлом октябрьском воздухе и были не громче хлопка в ладоши...

Серой массой налетели на него отступавшие красноармейцы, захватили, поглотили, и Алексеев стал пятиться вместе с ними, отстреливаясь из револьвера, а когда кончились патроны, подобрал чью-то винтовку и продолжал стрелять.

У самого вокзала он увидел, как на них мчатся несколько всадников, и понял, что если не успеет добежать до здания — это конец...

Удар пашки пришелся по винтовке, которую Алексеев выставил над головой, она вылетела из рук, а самого Алексеева отбросило к стене — так силен был удар... Вновь блеснула занесенная над головой пашка, Алексеев дернулся вправо, пытаясь увернуться от удара, и это

вряд ли удалось бы ему, но вдруг вскинулся в седле казак, завалился назад, и конь с ржанием понес застрявшего в стремени мертвеца.

Алексеев рванулся к двери, пронесся через вокзал, вскочил на платформу. Бронепоезд, медленно набирая скорость, уходил со станции...

— Стойте! Стойте! — кричал Алексеев, а ноги не бежали, подгибались, словно подрубленные.

— Берегись, Алексеев! — крикнул Евдокимов, протягивая ему руку.

«О чем он?» — подумал Алексеев.

Совсем рядом визгнула пуля — одна, вторая.

Он тяжело остановился, оглянулся.

Из-за водокачки показались белые. Целился из пагана офицер. Стоя на колене, целился солдат в папахе. К ним подбегали еще несколько человек, стреляя на ходу. Все — в него, в Алексеева. Он отцепил от пояса гранату и все свои силы вложил в этот бросок...

Евдокимов успел вдернуть его, обессилевшего, полубеспамятного в вагон бронепоезда.

— Давай скорей! Отрежут линию — каюк нам. Людкевич и Гервинский погибли. Думали, ты тоже. Что с плечом?

Только тут Алексеев увидел, что весь левый рукав его гимнастерки залит кровью. Но боли не чувствовалось, а только чуть пекло.

— Наверное, пашкой...

— Перевяжись и давай к пулемету.

И вдруг испуганно закричал Коновалов:

— Товарищ командир, путь разрушен!

— А-а, раскудрель твою! — выругался Евдокимов. — Что делать? Будем прорываться через Гатчину... Всем ясно, что это значит? Сквозь порядки белых. Внимание! Стоп машина! Идем назад! Малый пар!.. Внимание всем бойцам: как только войдем на станцию, ты, Буянов, с расчетом быстро переведешь стрелку с Балтийской на Варшавскую дорогу, если она не перерезана. Тогда через полчаса будем у своих. А нет, так будем биться до последнего. Ясно? Полный пар! Как только остановимся — огонь из всех пулеметов и орудий.

Алексеев застыл у пулемета.

Бронепоезд пожирал дорогу, набирая скорость. Вот уже и Гатчинский вокзал. А вон и белые, стоят кучками, кто курит, кто бинтует раны, кто сидит, отдыхая от боя. Победители...

— Стоп машина! — закричал Евдокимов. — Огонь из всех пулеметов и орудий! Буянов — к стрелке!

Да, это была мясорубка: четыре пулемета и шесть пушек били в упор, с расстояния в сто пятьдесят метров. Рушились стены, звенели стекла, бешено ржали лошади, орали солдаты, даже не пытаясь отбиваться.

А бронепоезд уже уносился к станции Татьянино, которая пока была в руках красных.

Белые, между тем, быстро продвигались к Петрограду.

В тот же день, что и Гатчиной — 17 октября, — они вновь овладели станцией Струги Белые, которую отбили было красные.

19 октября захвачен поселок Лигово.

20 октября были взяты Павловск, Царская Славянка и Детское Село, и части 7-й армии были вынуждены отойти на линию Пулковских высот.

21 октября противник занял железнодорожную станцию Батецкая.

В стане врага ликовали. Офицеры Юденича с воодушевлением рассматривали в бинокли окраины города, в котором — в этом уже никто из них не сомневался — их ожидала богатая добыча, чины в новом правительстве и слава освободителей России от чумы большевизма. И больше всех верил в победу сам Юденич. Он знал еще и о том, о чем другие могли только догадываться: в Петрограде готовилось восстание контрреволюционных организаций и уже формировалось временное правительство для города. Пока только временное, только для города... Лундквист, до 20 сентября служивший начальником штаба 7-й армии красных и в то же время возглавлявший Петроградское отделение контрреволюционной организации «Национальный центр», теперь разгромленной, уже не был начальником штаба, но еще не был и разоблачен, всеми силами удерживался в Петрограде, затягивая свой отъезд в Астрахань, к новому месту службы. Юденич верил в него, в то, что он выкрутится из опасного положения, в которое попал: все уже бывало. Все ж никто другой, а Лундквист разработал план наступления Юденича на Петроград, сидя в штабе красных, и пока все шло превосходно.

Еще один бросок, последнее усилие — и цель достигнута. Не сдержавшись, Юденич телеграфировал в штаб Антанты о падении Красного Петрограда. Эта новость облетела мир как великая сенсация. Черчилль поздравил

бывшего царского посла в Лондоне с успехом белого оружия. В штабе Деникина была издана листовка, в которой говорилось, что «английский флот бомбардировал Кронштадт и взял его. Генерал Юденич вступил в Петроград».

Но рапорт Юденича был преждевременен, как и радость его союзников.

Движение белых войск на всех участках вдруг застыло. Получив значительные подкрепления, 7-я и 15-я Красные армии начали контратаковать Юденича.

Два дня шли непрекращающиеся бои.

И два этих дня бронепоезд № 44 не выходил из боя. Прямым попаданием танковой пушки разворотило его носовую часть, изуродовало одно орудие и заклинило второе, погибло шесть бойцов, а остальные, измотанные бессонницей, голодом и напряжением боя, шатались от усталости, засыпали при первой возможности, где заставляли их минуты затишья.

Они хорошо воевали и знали это сами. Им не было известно только, что в войсках Юденича бронепоезд имени Володарского прозвали «летучей смертью», что Юденич назначил награду в десять тысяч золотых рублей тому, кто захватит или подорвет его.

Приказ о контрнаступлении последовал неожиданно, и сначала в него не все поверили: возможно ли оно после многодневного отступления?

23 октября части 7-й армии отбили Детское Село и Павловск, 26 октября — Красное Село.

Бойцы бронепоезда № 44 получили несколько часов на передышку, когда их догнала невесть откуда взявшаяся почта — письма, газеты. Счастливцы, получившие весточку из дома, мусолили в руках бумагу, водя пальцами по строчкам, разбирали по складам каракули родных, остальные рухнули вповалку спать.

Алексееву писем не было. Зато в кипе газет он откопал «Листок Юного пролетария», взял его в руки с трепетом, как родное малое дитя, которое давно не видел. Закрыв лицо газетой, глубоко вдохнул запах типографской краски. И бешено заколотилось сердце, и вернулся он в те вечера семнадцатого года, когда задумывали они журнал «Юный пролетарий», а потом эту вот газету для молодежи... Прошло уж два года с тех пор, сколько воды утекло, сколько друзей унесла гражданская война, но вот оно, их детище, орган Петроградского губернского коми-

тета РКСМ от 24 октября 1919 года № 20/27. Живет, дерется... «Не сегодня завтра решаются судьбы Петрограда, — говорилось в «Листке». — В борьбе будет принимать участие рабочая молодежь. Молодежи дорог Питер, как и дороги все завоевания революции. И ни того, ни другого молодежь не отдаст. Только через бездыханные трупы рабочей молодежи белогвардейцы войдут в Питер... Не быть красной молодежи поработенной. И лозунгом юного пролетария будет: «Иду в бой».

«Верно, братцы, верно, — сказал себе Алексеев. — Только так».

Поискал глазами почтальона. Еще несколько минут назад самый желанный и долгожданный гость, он сидел теперь в сторонке, привалившись к телеграфному столбу, и дремал, надвинув фуражку на глаза. Алексеев подошел к нему, присел рядом.

— Что там в Питере-то?

— Дак в газетах все прописано.

— Все не пропишешь. Что люди говорят?

— Люди говорят, что товарищ Троцкий неправильно удумал.

— А что он удумал?

— А запустить Юденича в Питер и там его разбить. Дескать, так сподручней, на узких улицах-то, чем в поле.

— Чуть какая-то! От кого слышал?

— Дак все говорят.

— А контра? Она же ждет не дожидается этого момента, вся из нор повылезет. Никого не пожалеют — ни женщин, ни детей, ни стариков. Ну, и придумал...

— А все ж народ готовится на всяк случай. Очень шибко готовится.

— Теперь шалишь. Теперь кранты Юденичу.

Да, фортуна опять изменила Юденичу. Опасаясь, что 15-я армия красных выйдет в тыл его Северо-Западной армии, генерал без боя сдал Гатчину и стал поспешно отступать вдоль линии железной дороги.

Так, наступая на пятки белым, вместе с головным батальоном наших войск бронепоезд № 44 в 12 часов 30 минут 3 ноября и ворвался в Гатчину. Остановка была короткой — врага надо было преследовать и добивать. Через несколько часов, слегка подремонтировавшись в депо, бронепоезд двинулся дальше.

Но уже без Алексеева — он был назначен председателем Гатчинского ревкома.

III

Алексеев был горд оказанным доверием: в его руках, как предревкома, была сосредоточена вся полнота гражданской и военной власти в городе. Страшило одно — ответственность. Ведь Гатчина была прифронтовым городом, одним из узловых пунктов в обороне Петрограда. Через гатчинский железнодорожный узел в район боев шли эшелоны с отрядами солдат, матросов и рабочих. В Кухонном каре Гатчинского дворца разместились штаб 7-й армии, откуда командование руководило окончательным разгромом Юденича, тыловые пункты Нарвского оперативного участка.

Страшные следы оставили после себя в Гатчине белогвардейцы за семнадцать дней пребывания в городе...

Сожжено здание Гатчинского Совета и несколько кварталов жилых домов. Похищена или уничтожена электроаппаратура Балтийского вокзала. Во всем округе спилены телеграфные столбы, нарушена связь с Петроградом и близлежащими городами. Взорваны железнодорожные пути. Разграблены магазины и лавки, городские склады. Сказочные деревья, собранные и выращенные за полтора столетия в Гатчинском парке, изумлявшем своей красотой даже искушенных в тайнах садоводческого дела людей, повыврублены, многие его павильоны и статуи разрушены, узорная изгородь вокруг «Зверинца» разобрана на дрова, бесценные произведения живописи, скульптуры Гатчинского дворца разграблены. В секретном донесении контрразведки белой армии от 2 декабря 1919 года говорилось, что «...чинами штаба 1-го стрелкового корпуса из Гатчины было вывезено два или три вагона дворцового имущества, среди которого находится серебряная и иная дворцовая посуда с гербами и вензелями, а также другие ценные вещи». Пройдет совсем немного времени, и в заграничных газетах появятся объявления сбежавших белогвардейцев о продаже гатчинских ценностей, вроде того, что было опубликовано в белогвардейской газетенке «Последние известия» в Ревеле 1 марта 1920 года: «Охотничья карета Александра II, отделана слоновой костью, продается на Б. Розенкранцской, 16, узнать в магазине № 1».

Население Гатчины пребывало в запуганном, подавленном состоянии от бесконечных облав, арестов, порок и массовых убийств, которыми белогвардейцы карали малейшее проявление сочувствия Советской власти. Служа-

ки Юденича повесили священника Богоявленского, отказавшегося служить молебн в честь армии Юденича, расстреляли сотрудничавших с Советами Павлюка, Гуляева, Керберга, Хиндиванца, двух братьев Плоом, Глухарева и многих других жителей города, а двух матросов закопали в землю вниз головой в Приоратском парке. Юденич лично приказал казнить захваченных в плен 31 курсанта гатчинских пехотных курсов, изуродованные трупы которых нашли только весной 1920 года в мусорной яме за Манежем.

Жители Гатчины голодали. За семнадцать дней «хозяйничанья» белогвардейцев в городе на душу населения было выдано лишь по два фунта картофеля, по фунту селедки и одной четверти фунта муки. Весь скот был вырезан, вся птица перебита солдатами.

Ревком в срочном порядке отправил своих уполномоченных по деревням для закупки хлеба и других продуктов.

Люди страдали от холода. Город уже пережил без топлива, в страшном холоде морозную зиму 1918 года и нельзя было допустить, чтобы все повторилось снова. Сотни людей ревком бросил на разработку Таицкого торфяного болота, на заготовку дров.

Появились признаки эпидемии тифа, унесшего уже сотни жизней гатчинцев прошлой зимой и весной. Ревком создал санитарную комиссию, уполномочив ее вести строжайший надзор за состоянием жилищ, казарм и улиц, установил охрану Серебряного озера, снабжавшего город питьевой водой, ввел санконтроль в магазинах, ларьках и на рынке, переселял бедноту, жившую в антисанитарных условиях, в дома городской буржуазии, торговцев и других нетрудовых элементов. Открыл аптеку и лазареты, наладил работу городской больницы, а в доме генеральши Кутейниковой разместил несколько детских садов, яслей, приютов для детей-сирот, которым грозила голодная смерть. Положение осложнилось тем, что в городе находилось множество воинских частей, беженцев из других уездов и все они — и постоянные, и временные жители — со всеми своими бедами и заботами шли в ревком, и тут никуда не денешься: власть, если она настоящая власть, обязана обеспечить людям порядок во всем и всюду. Как? Обывателя это не касается.

В наглухо застегнутой хромовой кожанке, яловых сапогах, в хрустящих ремнях, в кожаной фуражке с красной звездой и строгой усталостью, поселившейся в его

глазах, появлялся ранним утром Алексеев в ревкоме. И начинался крутеж дел, которыми раньше он никогда не занимался и которые теперь был обязан знать. И никого не касалось, что ты молод, что ты в чем-то еще не разобрался, что ты устал... Он должен был иметь понятие обо всем, от него ждали четких указаний, верных решений. Он был должен. Всем. Во всем. Всегда и всюду — днем и ночью, в кабинете, на улице, дома. Должен...

А еще надо было помогать Петрограду — продуктами, дровами и торфом.

А еще надо было бороться со спекуляцией, явной и тайной контрреволюцией, которая, теряя надежду, все же не сдавалась, из последних сил надеялась на возврат старого.

Как и в прошлый раз, Юденич, уходя, оставил контрреволюционное подполье, имевшее немалую поддержку среди жителей города. Немудрено: ведь почти наполовину население состояло из мещан, семей торговцев и офицеров — сказывалась история развития Гатчины, подаренной Екатериной II своему фавориту генерал-фельдцейхмейстеру графу Г. Г. Орлову для отдыха и охотничьих забав за его участие в дворцовом перевороте 1762 года, который возвел ее на престол.

Здесь, в Гатчине, в конце XVII века Павел I в течение многих лет вел ежедневную свирепую муштру своих гатчинских батальонов и озерной флотилии.

Здесь, в Гатчине, Александр III, напуганный террористами, в течение тринадцати лет прятался за крепкими стенами Гатчинского дворца и тройным кольцом конвоя, жандармов и полиции, состоявшего из 11 внутренних и 19 наружных постов охраны.

Здесь, в Гатчине, с конца XIX века привыкли отдыхать в летний период царствующие особы, заводчики и фабриканты, чиновники, коммерсанты и купцы. Соответственно этому формировался и состав населения, его учреждения и предприятия.

...А еще была, никуда не исчезала, а все разгоралась и набирала силу любовь... Это было такое счастье — знать, что совсем рядом, всего полтора-два часа езды на поезде — каждое утро встает, улыбается утру и думает о тебе твоя Мария. И это было страдание — сдерживать себя, чтобы в минуты, когда он начинал явственно слышать ее голос и, казалось, чувствовать тепло ее рук, не бросить на полдороге какое-нибудь заседание, не обрывать речь и не кинуться к ней, в Петроград... Сорок пять

километров по тем скоростям — расстояние немалое, а при разлуке, которая царил в те годы на транспорте, прямо-таки огромное.

И все-таки два, а то и три раза в неделю на самом позднем поезде, в холодных, заплеванных, забитых мешочниками и солдатами вагонов Алексеев уезжал из Гатчины в Петроград, чтобы ранним утром вернуться обратно. Он мотался между городом великим и городом маленьким, жертвовал сном, отдыхом, рисковал жизнью — ради любви. Однажды ему, председателю ревкома, вынесли выговор за то, что он на час с лишним опоздал на совещание, им же назначенное. Это же надо — опоздать на совещание! И из-за чего? Из-за любви...

Перевести Марию в Гатчину оказалось делом немислимым: она была машинисткой в комендатуре, но, что особенно важно — машинисткой с образованием. По тем временам проще было бы подобрать председателя Гатчинского ревкома, чем найти замену такому человеку в Питере.

Однажды в начале декабря по просьбе Алексева Мария приехала в Гатчину, привезла два письма — от Петра Смородина, с фронта, от Оскара Рывкина, из Москвы.

— Пишет братва, не забывает, — порадовался Алексеев.

«Привет, Василий! — писал Смородин. — Я все воюю и, кажется, не так уж плохо. Могу похвастаться (только тебе, знаю — не осудишь): наградили меня орденом Красного Знамени. Это не только мой, это наш общий на всех друзей орден дала мне Советская власть... Где ты там, я совсем потерял тебя. Напиши хоть пару строк».

— Ай да Смородин... Герой! Не то, что некоторые... — сокрушенно вздохнул Алексеев.

— Ладно, не жалуйся. Надо было лучше воевать, — подковырнула Мария.

Председатель президиума ЦК РКСМ Рывкин знал, где находится Алексеев, и просил, если случится быть ему в Москве, зайти в ЦК — надо посоветоваться: что-то бузит комса и никакого ума, а тем более времени, не хватает разобраться во всяческих позициях. Непонятно, куда гнут некоторые товарищи, а между тем, скоро начинать подготовку к III съезду комсомола, и «раздрай»

накануне всесоюзного собрания, когда все силы надо сжать в кулак, никак не на пользу делу.

— Молодец Оскар, не зазнается, — радостно улыбнулся Алексеев. — Эх, и в самом бы деле вырваться в Москву!.. Я ведь еще и не видел ее, белокаменной. А пока со своими комсомольцами не управлюсь. Выступал вчера на городском молодежном митинге... А, да не в этом дело! Махнем по городу?

И, отложив дела, Алексеев повез Марию на своем ревкомовском автомобиле по Гатчине.

— Какой уютный городок. Не ожидала.

— На окраинах — грязь и убогость, а в центре асфальт, плиточные тротуары, палисадники да электрические фонари. Не удивительно: Гатчина — уже десятки лет — дворцовый пригород, постоянная резиденция царей. Сюда и Николай Второй сбежал во время событий 1905 года. Сюда Керенский драпанул в семнадцатом. Ведь Гатчинский дворец — это хмурая крепость. Тут и бастионы с амбразурами для пушек, и рвы с водой с переброшенными через них подъемными мостами. Есть даже подземный ход на всякий случай, если из дворца надо было бы удирать. Хочешь посмотреть?

Они прошли по залам Гатчинского дворца — по Чесменской галерее, Мраморной столовой, Малиновой гостинице, Парадной спальне, заглянули в «Березовый домик» и вышли в парк.

— Думал ли ты когда-нибудь, Василек, что как хозяин будешь ходить по этому дворцу, любоваться его красотой? — спросила Мария. — Что все это теперь — наше? Удивительно и прекрасно! В какое время мы живем... Те, кто будет жить после нас, уже никогда не смогут ощутить это так остро, как мы.

— Да, Мария, ты права. Я часто думаю об этом. Ведь кто я? Заставский парень, каких тысячи. А теперь мне доверили организовывать жизнь целого города. Пусть небольшого, но какого важного, какого знаменитого!.. Я встречался недавно с антикварами — надо ж знать, что за город такой — Гатчина. И поражен. Рядом с Гатчиной, в селе Батово родился поэт Рылеев, а у него жил декабрист Бестужев-Марлинский. Здесь, в Гатчинском дворце, читал басни Крылов, свои стихи — поэт Жуковский. Здесь не раз бывал Пушкин. Через Гатчину проследовал и траурный кортеж с его прахом в феврале 1837 года. И его сопровождал Тургенев. Здесь бывали Тарас Шевченко, Некрасов, Глеб Успенский, Блок, Брю-

сов, пианист Рубинштейн, художник Репин, композиторы Балакирев, Чайковский. Ипполитов-Иванов здесь родился. Здесь бывали Суворов, Кутузов, Багратион... Буржуи, конечно. Наша братва некоторая и слышать о них не желает. И мне иногда хочется крикнуть... да кричу: «Долой старое!» Потом подумаю: «Старое — это ведь прошлое. А в нем и хорошее было...» Все эти люди — поэты, музыканты, полководцы... Если б не было Кутузова в восемьсот двенадцатом, так ведь и нашей революции могло не быть, потому что могло не быть России... А музыку, что люблю, а стихи, что знаю, как из души выбросить? Да и надо ль? Как задумаешься, так все так сложно, так много непонятного... А все же, когда иду по этим залам, по этим дорожкам, слышу их шаги и голоса... Удивительно все это.

— Говорят, в Гатчине живет писатель Куприн?

Алексеев нахмурился.

— Жил. На Елизаветинской улице в доме номер четырнадцать. Теперь уехал вместе с Юденичем. В начале октября я виделся с ним: опубликовал в местной газете не очень вежливые слова о нашей власти. Спорили. Глыба, а не человек, писатель такой, что на колени встать перед ним хочется, а чего-то главного не понимает. Не наш.

— Ты уверен?

— Как же иначе, если он не с нами? — удивился Алексеев.

— Но он ведь тоже писатель, и знаменитый, — с хитрецей глянула Мария.

— А, не знаю! — с досадой махнул рукой Алексеев.

И вдруг, когда они вступили на легкий чугунный мостик через канал, взял Марию за плечи.

— Стой.

Мария остановилась, выжидательно взмахнула локматыми ресницами. Алексеев приобнял ее, прошептал:

— Знаешь, как называется место, на которое мы сейчас вступаем?

— Нет, — ответила она тоже шепотом.

— Остров любви.

— Забавно. Почему? Почему «остров»? Почему «любви»?

— «Остров» — потому что, видишь: под нами, слева и справа — каналы. Они и образовали треугольник суши, островок. «Люби» — может, потому, что здесь сооружен Павильон Венеры, богини любви и красоты.

— А-а!.. — засмеялась озорно и громко Мария. — Раз мы на острове любви, давай и будем говорить только о любви!..

— Хорошо — только о любви.

— Я люблю тебя, — прошептала Мария.

— Я люблю тебя, — ответил Алексеев.

— Я боюсь за тебя, Василек. В тебе нет начала осторожности, сберегающей жизнь. Ты весь — движение, безумное усилие.

— Ты хочешь, чтоб я стал другим?

— Нет. Но я боюсь и за себя... Без тебя мне не жить.

— О чем ты, Мария? Нам жить да жить!.. Завтра ночью жди меня.

Мотаясь в теплушках из Гатчины в Петроград и обратно, Алексеев рисковал. В те годы опасность поджидала людей не только в бою, в ночи, за углом. Не меньше погибало их от голода и тифа, свирепствовавшего именно там, где было больше людей...

Однажды, в конце ноября, как обычно поздним вечером, Алексеев поджидал на вокзале поезд на Петроград. И мог ли думать он, что в те же часы и минуты в него уже забралась и караулит его смерть? Нет, конечно. Морозит? В жар бросает? Вялость? Пустяки. Просто устал. Скорей бы поезд пришел, скорей бы в уют их комнаты и тепло объятий Марии.

Поезд, шипя, подходил к платформе, где его на хлюпавшем, чавкающем, мокром перроне, шараясь волнами из стороны в сторону, высматривал сторожкий и озлобленный лагерь ожидающих. Набитые теплушки, облепленные людьми крыши приготовились к осаде. Мешочки плотнее прижимали к себе свой скарб, интеллигенты испуганно осматривались и поглубже прятали свои носы в поднятые воротники, будто подъезжали к помойке, армейцы теснились, выискивая сантиметры свободной площади — было видно, что там стоит и своя солдатня, зеленые шинели, которые узкой, но длинной полосой окаймляли платформу.

Поезд остановился. Атака началась. С отчаянными лицами, умоляя и сквернословя, толкая и давя друг друга, люди кинулись в двери и окна вагонов.

Алексеева в вагон все ж пропустили без особой давки: местные, потому что знали его, на сидевших же в вагоне действовали кожанка и маузер — то и другое носило большое начальство.

Поезд тронулся, на ходу обвисая гроздьями шинелей,

шуб, пальто и зипунов. За ним, сминая друг друга, еще некоторое время волоклась, бежала, мчалась с воплями толпа неудачников. Наконец, она отстала.

Пробившись в середину вагона, Алексеев примостился в углу скамейки.

Мутило.

В ногах, свернувшись в комок, лежал мальчонка лет десяти. Казалось, спал. Но скоро Алексеев понял, что он без сознания.

— Чей пацан? — крикнул он.

— Ничей, — после паузы ответил сосед безразличным голосом. — Лежит да и лежит. Я как сел, он уже лежал.

Алексеев поднял мальчонку, посадил на колени. Тот дышал жарко, был весь в поту.

— Товарищи, среди вас доктора нет? — крикнул Алексеев.

Откликнулся кто-то издалека, кажется, с самой подножки.

— Прошу вас, проберитесь сюда, тут мальчик без сознания.

Врач оказался молодым человеком, тоже военным, может, чуть старше Алексеева. Пробившись на зов, он поздоровался.

— Здравствуйте, товарищ Алексеев.

Алексеев не стал допытываться, откуда этот человек знает его.

— Что с мальчиком? — спросил он.

Осмотр был коротким.

Врач, незаметно глянув по сторонам, шепнул Алексеву:

— Тиф, товарищ Алексеев...

Можно было подумать, что он не шепнул, а крикнул еще кипящей своими страстями и будто бы ничего не видящей и не слышащей массе это одинаково страшное для всех слово «тиф». Волной вправо и влево от Алексева люди стали утихать и тесниться. На несколько мгновений повисла полная тишина. В ней были страх и угроза. Алексеев и врач уловили это. Притулив мальчонку в угол сиденья, Алексеев встал и вынул маузер. Врач достал револьвер.

— Выкидывай их за борт, братва, а то всем хана!..

Сказано это было негромко, но твердо, и в тишине, нарушаемой лишь перестуком колес да глухой возней сидевших и ни о чем не ведавших на крыше людей, услышано всеми. Немолодой матрос, сказавший эти слова,

стоял совсем близко, шагах в двух, а то и меньше, смотрел на Алексева глазами человека, которого убивали, который видел, как убивают, и убивал сам — спокойно, жестко, по-деловому. «Этот выкинет, — подумал Алексеев. — Стрелять?» Схватку разделяло мгновение, которое требовалось пуле, чтобы долететь до матроса — Алексеев целил ему в грудь.

— Стой! — крикнул Алексеев.

Матрос вздрогнул, будто не слово, а пуля ударила в него.

— Стойте! — повторил Алексеев. — Я — председатель Гатчинского ревкома Алексеев. Еду в Питер. Мальчонку подобрал здесь, в поезде, только что. О том, чем он болен, узнал тоже только что, вместе с вами. Выкинуть его и себя просто так не позволю — буду стрелять. Да, мы попали в беду... возможно. Но доктор мог и ошибиться. А потом, если кто и заразился, так это пока что я, сосед да доктор. Потому предлагаю следующее...

Матрос шевельнулся, словно хотел сделать шаг вперед.

— Стоять! — приказал Алексеев. — Еще колыхнешься — и пуля твоя.

И понял, что в матросе проснулся подчиненный. Он опустил глаза, обмяк.

— Предлагаю следующее...

Мальчонка открыл невидящие воспаленные глаза, едва слышно прошептал: «Пить». Из-за спины матроса тут же протянулась женская рука с фляжкой. Алексеев успел отметить на пальцах женщины два дорогих перстня и удивиться — не боится же в такую пору выставить их напоказ: есть такие, что с рукой оторвут. И еще отметил, как забавно в этой изящной руке смотрится солдатская фляжка в грубом и засаленном чехле из зеленого сукна. Блеснули два больших маслянистых глаза. В них был испуг, но испуг не за себя.

Напряжение спало, Алексеев видел это. Но опасность заразить людей тифом не исчезла. И уже как командир, которого волнует судьба его солдат, будничным и спокойным голосом Алексеев сказал, обращаясь к матросу:

— Ты, крикун, ну-ка раздобудь каких-нибудь тряпок навряде простыней, да отгороди нас четверых от остального люда. Давай, живенько!.. И потеснитесь как можно дальше от нас. Организуй...

Все было сделано, как велел Алексеев.

Еще долго они так и ехали, отъединенные цветастыми

шалями, шинелями, наволочками от гомонящей толпы людей. Некоторые, одолеваемые любопытством, опасливо заглядывали в щелки, сочувственно вздыхали, то ли жалев мальчонку с Алексеевым, то ли от беспокойства за себя.

Алексеев между тем пытался понять, что же произошло и что должно произойти теперь, когда он, если мальчонка действительно болен тифом, заразился опасной болезнью. «Мальчонку надо сдать в приемник». Алексеев знал, что такой есть на вокзале. «Сделает это врач». Алексеев поглядывал на него и видел, что в душе у того творится нечто похожее — он был где-то далеко, быть может, в отлете от этой невеселой истории, там — в облаках мечты о... О чем мог мечтать этот совсем-совсем молодой парень с симпатичным лицом? Было интересно знать, но не хотелось разговаривать. А может, он, как и сам Алексеев, опустился в глубины своего бездонного «я» и застыл на грани «или — или» — или жизнь, если все обойдется, или смерть, если... Пытается разобраться в прошлом, которого не было, и в будущем, о котором и думать не стоит, потому что его теперь не будет, но вот поди ж ты — думается?..

Бросало в жар, хотелось пить и спать. Алексеев раскатал скатку и укрылся шинелью. «Второе: домой идти нельзя. Это опасно для Марии. Но предупредить ее, что он в больнице, надо. Как? Оставить записку. Дальше...» Не думалось. Алексеев забылся.

На вокзале, когда все уже вышли из вагона, Алексеев взял на руки мальчонку и вместе с врачом донес его до приемника, положил на скамейку.

— Как тебя звать, товарищ? — спросил он у врача.

— Я Валерий Нифонтов, товарищ Алексеев.

— Откуда знаешь меня?

— Вы у нас лекцию о Кампанелле читали. Потом вы ведь предревкома, вас многие знают.

— Ну вот что, Нифонтов. Я сейчас сделаю нарушение — вместо приемника пойду домой. Оставлю жене записку и вернусь. А ты пристрой мальчонку. Мне тут пешком ходу двадцать минут туда и обратно. Не возражай и не сердись. Спасибо тебе. А в Гатчине заходи, обещаешь? Ну, бывай.

— Товарищ Алексеев, как вы себя чувствуете? —

спросил Нифонтов, опустив глаза. — Мне кажется, вы нездоровы, вас надо осмотреть.

— Есть маленько, Нифонтов. Через час осмотришь. Пока.

Морозило... Алексеев, чтобы согреться, побежал. Он бежал и чувствовал, как пот прошибает его, как взмокли волосы под шапкой, как пот льет струйками по спине, липкий, вонючий, противный. Кровь била в виски, гудела в затылке, а он все бежал, тяжело дыша и тяжело топан сапогами по снежной хляби, которая разлеталась по сторонам, брызгала на прохожих, и те с ворчанием оглядывались на пьяного военного, за которым, думали они, кто-то гонится...

Алексеев добежал до дому, поднялся на второй этаж и стал искать ключ от двери. Он нашел его, воткнул в скважину и никак не мог повернуть, крутил его, крутил, а ключ не поворачивался, а дверь не отворялась, а Мария все не шла и не шла... Алексеев присел у двери, закрыл глаза и потерял сознание.

Лежащим у порога и застала его Мария, вернувшись с работы. Втащила в комнату, уложила в постель, дозволилась до врача. Осмотрев Алексеева и выслушав Марию о его житье-бытье, тот поставил диагноз: воспаление легких на фоне крайнего истощения организма и нервной системы.

Алексеев все еще был в беспамятстве. В комнате толпились соседи, к ночи, прослышав о том, что он в городе и болен, потянулись друзья. Скоринко с Тютиковым так и остались с Марией около метавшегося в жару и бреде Алексеева.

Он очнулся под утро, когда все трое сторожко дремали, сидя на диване, осмотрелся невидящим взглядом, прохрипел:

— Пи-ить!..

Они вскочили, засуетились, радостные:

— Ну, вот и порядок...

Алексеев не сразу понял, где он и что с ним случилось. Потом, узнав Марию и друзей, виновато усмехнулся:

— Опять я сломался...

Пил жадно и долго, немного поел, полежал с часок — и ожил. Попытался даже встать, но тело было ватным.

— Это безобразие, Вася, как ты живешь, — заворчал на него Скоринко. — Ты ценный кадр и должен беречь себя...

— О-о! — удивленно простонал Алексеев. — И ты туда же: «ценный кадр», «беречься»... Чушь свиньячья! Ты сам-то бережешься? А ты? А ты? — обвел он глазами всех. — То-то и оно! Время наше такое, дело такое. Как тут беречься? И вообще не может большевик экономить себя для будущих славных дел, жить так, будто пишешь жизнь сначала начерно, а потом перепишешь ее набело. Жить надо сразу красиво, во всю мощь. Как Ленин, как Дзержинский, Луначарский, Свердлов... Гореть надо, будто свеча, подожженная с обеих сторон... И другое надо понять, друг мой, — обратился он к Скоринко, — невозможно жить впрок, откладывать свои дела и счастье «на завтра», потому как этого «завтра» может и не быть: все мы смертны. Но это еще полбеды. Внезапно смертны. Сегодня есть, а завтра — тю-тю. Вот что обидней всего. Уйти из жизни, ничего не сделав, — вот чего надо бояться...

— Что за похоронная музыка, что за поповщина, Вася? — подоспел Тютиков на помощь Скоринко. — Не узнаю тебя. Где марш, где звонкие трубы, фанфары, барабан? Мы еще такое грохнем!..

Алексеев согласно кивнул головой.

— Это точно, грохнем... Но вы все же не хорохорьтесь. С жизнью надо быть в честных отношениях, прямо смотреть в глаза ее правде. Это по-большевистски. Потому как правда эта, увы, жестока: живем лишь раз, только здесь, на земле, а «там» — рая небесного, загробного — нет. Честность эта необходима, чтобы сделать очень честным, благородным самый важный для каждого вывод: не готовься жить, а живи, не грабастай — с собой ничего не возьмешь, не берегись, а траться, дари, что имеешь, а главное — себя. Действуй, действуй, действуй! Я много думал о смысле жизни, а на фронте особенно...

Добрым быть и живым осгаваться —
Это значит другим раздаваться.
А собою дорожить — это значит
Самого себя всю жизнь переиначивать...

Горели свечи на окне, ранний утренний свет бледно-серым потоком проникал в комнату, еще не в силах осветить ее, но уже приглушал желтые блики свечей, разрушая замкнутость комнатного пространства, выводя его за пределы дома, соединяя с городом и страной, со всей Вселенной. Два света — ночь и утро — спорили и боро-

лись, рождая звенящее чувство тоски ни о чем, когда кажется, будто в мире не существует зла, а царит лишь добро, когда думается, что нет такой жертвы, на которую ты не решился бы ради тех, кому нужен, пусть даже совсем чужих, вовсе незнакомых, но — людей...

Все согласно молчали в задумчивости. Вдохнул, вновь тихо заговорил Алексеев:

— Я еще скажу, вы послушайте. Я все думаю, какое это трудное дело — быть человеком. Ведь чтобы жить, мало быть живым. Нужны цель и план жизни, нужны принципы, а к ним ум, воля и мужество следовать им. Я видел таких людей, я знаю их. Увы, они не теснятся толпами, их пока мало. Они как светлый идеал. А все же, если мне скажут, что они сплошь из достоинств, из воли и стали, я рассмеюсь. Я наблюдал все годы и подсмотрел: каждый человек не только силен, но чем-то еще и слаб. Каждый! Один больше, другой меньше — вопрос другой. Тут важен принцип. Человек громогласно полон светлых замыслов и дел, о которых спешит возвестить, о которых все знают, и тайно — темных инстинктов и желаний, которые скрывает... К чему это я, спросите? К тому, что в нашем новом обществе мы должны научиться любить человека таким, каков он есть в реальности, а не придуманного, абстрактного. Человек имеет право на ошибку и на прощение. Это натуральный гуманизм, это коммунизм настоящий. Все иное — от иезуитов... Новый человек, как я думаю, будет отличаться от нас прежде всего тем, что научится подавлять в себе темные силы, и уже тем возвеличится...

Лицо Алексеева усыпали мелкие капли пота, он дышал тяжело. Мария под села к нему на кровать, промокнула пот платком, положила на лоб новый холодный компресс.

— Ну хватит, Васенька, хватит. Что ты развыступался, как на собрании? Еще наговоришься...

Затихнувший было благодарно, Алексеев обиженно скосил на нее глаза.

— Кому ж сказать о том, что думаю, как не вам? Ближе у меня никого нет. Излиться хочется... напоследок.

Трое дружно запротестовали и поймали себя на мысли, что уже подумали: «Может, он умирает?» Наверное, они были плохими артистами, может, их выдали глаза, потому что Алексеев, криво усмехнувшись, сказал:

— Да вы не вешайте носа, я пока в седле... Думать и

говорить — моя слабость. Вы уж потерпите... Вот я сказал: быть человеком — трудное дело. Во многих отношениях. Трудно быть человеком в счастье. Трудно сохранить себя, когда тебе дана власть. А все ж труднее всего, думаю, оставаться человеком в беде и горе, ибо в них есть угроза — благополучию, счастью, жизни. Начинает работать эгоизм, защитный инстинкт. Мне больно? Пусть будет больно всем! Я виноват? Но виноваты и другие, пусть тоже держат ответ! И тэ пэ. Животное тут берет верх над человеческим. Хандра забивает все... Честно скажу: тогда, в больнице, когда мне казалось, что останусь слепым, потом в Торжке, после этой истории с Шевцовым, когда меня отбросило от революции, с передовой, я был просто оглушен горем, какая только ересь в голову не лезла! К примеру, думал: «Что — жизнь? Скука, горечь и страдания. Рождение — страдание; старость — страдание; связь без любви — страдание; разлука с любимым — страдание; неудовлетворенное желание — страдание. И так без конца. Сказать короче — всякая усиленная привязанность ко всему земному — страдание. Ты страдаешь, но никому не нужен. Так стоит ли жить?» Я думал, что все меня бросили, все забыли, не доверяют мне... А доверие, скажу об этом особо, самый дорогой и самый хрупкий в мире товар, который не покупается ни за какие деньги, завоевывается потом и кровью, годами, а теряется в одно мгновение, при одном неверном поступке. Как со мной в той истории с Шевцовым. Пока был в общем ряду, пока был как зажатый в обойме патрон, я этого и не замечал. И вдруг этот патрон валяется на земле и его никто не поднимает, может, думают, что отсырел и в нужную минуту не стрельнет, подведет. Большевику это пережить невозможно трудно... А я все же пережил, стерпел, работал еще сильнее. И мне поверили. Вот счастье! И все было по-партийному. Признаюсь, мне кажется, что в той беде я кое-что и приобрел: я стал лучше понимать жизнь и людей, стал человечней. Теперь я думаю, что не задеты горем люди, особенно те, кому доверены судьбы других — работники государственные, партийные, комсомольские и другие, — должны проходить особую проверку на доброту и человечность. Потому как без этих качеств к общественной работе на дух подпускать нельзя. Доброта ведь не в том, чтоб не делать зла или по должности дать человеку то, что он заслужил. И сделанное в расчете на то, что потом тебе за это воздастся, тоже не доброта. Доброта — в понимании права

человека на слабость и ошибку, в прощении действительно виноватого, в помощи попавшему в беду или падшему, в радости счастьем другого. Не из корысти, не преднамеренно, а по внутренней нужде.

Алексеев умолк на несколько секунд и неожиданно круто сменил тему:

— А знаете, о чем я нестерпимо тосковал последний год, да и сейчас тоскую? По работе в союзе молодежи. С чего бы вроде? Мне двадцать три, уже «старик», дело большое доверили, ни охнуть, ни вздохнуть некогда, а тоскую. Иные партийцы надо мной посмеиваются: «Что это за работа? Детские шалости!» Поверите ли, среди тех, с кем в семнадцатом союз создавали, есть «чины», которые вспоминают это со смущением — баловство, дескать. Словно и невдомек им, что через работу с молодым мы и сами как бы протягиваем руку в наше великое будущее, даже и неживые уже. Нет, я больше всего горжусь тем, что работал с молодежью, душу свою тешу тем, что Российский Коммунистический Союз Молодежи отчасти создан и моей мыслью, моими усилиями, и мне уж никогда не расстаться с ним... Хотите стих прочитаю? Помогите-ка сесть. Вот...

Друг мой, комсомол, родной, навек любимый...
Верные мои заставские орлята...
Словно полк на марше, вы идете мимо —
Мимо своего уставшего солдата.

Сомкнуты шеренги, занят промежуток,
Где, как шторм, плечами строй меня качал.
«Отстрелялся, братец!» — мне язвит рассудок.
«Черта с два! — упрямо мне твердит душа. —

Вовсе не устал ты — это враки, враки!
И еще не вышел срок твой призывной.
Ты, как штык и пуля, создан для атаки.
Вечным твоим счастьем будет непокой».

Это верно, сердце. Это правда, память.
Вам ведь не прикажешь: «Уходи в запас».
Нет, не зря я числю вас большевиками.
«Отстрелялся, братец», — это не про нас.

Списан по Уставу? Что же — нет вопросов.
Но ты слышишь: плачут горны про войну...
Что ж — на пулю вражью, смерти страх отбросив,
Я последним взносом жизнь свою метну!

Вскоре Тютиков и Скоринко засобирались на работу, ушли успокоенные: вытянет, коль столько времени говорить смог, значит силы есть. Переутомление не новость, воспаление легких — это все же не тиф.

Мария осталась дома, и Алексеев был счастлив, не отпускал ее от себя ни на шаг. Все говорил, говорил:

— Ты прости, что много болтаю. Мы так редко видимся, что порой в моем уме ты утрачиваешь черты реальные и обретаешь свойства почти божественные. Я зову тебя, шепчу в тоске твое имя, молюсь тебе... Закрою глаза перед сном, путешествую по самым потаенным уголкам своей души и всюду встречаю тебя. Мне кажется иногда, что я — это ты, в каждой клеточке тела... Болеть — это, конечно, роскошь. Но все же хоть пару днейков я поболее дома, с тобой...

И опять читал стихи:

Мы проживаем жизнь спеша,
А надо нам так мало:
Одна любовь, одна душа,
Чтоб нас не предавала.
Мы ищем не других, себя —
Потерянных, забытых.
И я люблю, люблю тебя,
Живой и неубитый.
Ты мне нужна, лишь ты, всегда.
Никто другой на свете.
Ты мне нужна, моя жена,
Всю жизнь и после смерти...
Прошу тебя: переживи
Меня, беду, сомненья.
И разбери и сохрани
Мои стихотворенья.

...А все-таки это был тиф.

К вечеру Алексеев вновь потерял сознание.

Дни и ночи проводила Мария у его постели. Он весь горел, бредил, пытался встать и никого не узнавал. 29 декабря очнулся, долго смотрел на нее, дремавшую на стуле рядом, пока она не почувствовала его взгляда.

— Васенька, родной! Очнулся, тебе лучше.

Он усмехнулся, и вышло это жалко.

— Нет, Мария, это конец... Я чувствую, сил нет никаких, легкость... Чувствую... Открой сумку... полевую... там дневник, стихи... Как жить хочется!.. Обидно... Ты прости, что так вышло... Думал, будем счастливы, а вот...

— Неправда, неправда! — кричала Мария. — Мы были счастливы, Васенька, ведь были?

— Да, — прошептал он и смотрел на нее, плачущую, угасавшим взглядом. Собрался из последних сил, прошептал:

— Не плачь, Мария...

Улыбнулся и умер.

Ушел... Она осталась одна, совсем одинока. Без родителей и родных. Без друзей. Все, кто приходил в их дом, были все-таки его друзьями и уже потом отчасти — ее. Да и мог ли кто заменить ей Алексева? Нет, конечно, нет. Никогда. С ним она не страшилась ничего. Единственно, чего боялась — его отсутствия, одиночества. Единственно, куда стремилась — к нему, равняемуся к борьбе, но нежному и заботливому.

Он ушел — и мир их любви, огромный и величественный, мир, который можно было наблюдать со стороны, но проникнуть в который хоть на самую малость не могла и не смел никто даже из самых близких друзей, этот наполненный особым светом мир исчез.

Чего греха таить (об этом пишут в своих воспоминаниях и Тютиков и Скоринко), иные из знакомых Алексева пытались поухаживать за Марией, хоть мимолетным движением, хоть комплиментом прикоснуться к этой очаровательной, с силой морского отлива тянувшей к себе кроткой на вид красавице. Но Мария не допускала и малейшего покушения на их с Алексеевым отношения, которые многим их современникам на фоне развала старых нравственных устоев, всеобщего хаоса, голода, холода, несчастий и слез казались чем-то таинственным, не вполне естественным, почти болезнью. Между тем это было то, чего не могло не быть и в то суровое время, что было прежде и пребудет во все времена, спасая мир и жизнь; это было то, что всегда возникает при соединении двух чистых сердец, светлых, цельных и страстных натур.

Это была Любовь.

Он ушел... Что осталось? Скорбь. Тоска. На что надеяться, чего желать? Надежда для Марии таилась лишь в любви, которую дарил он, ее Василий, а все желания — в надежде на его любовь. Нет его — нет любви. Круг жизненных стремлений разорвался...

Проходили часы, а Мария, запершись, никого не впускала в комнату. Все сидела, все не верила, все ждала: шелохнется, приподымеется, встанет, скажет...

Потом она долго смотрела на строгий профиль лица Алексева, на обостренные смертью его черты, запоминала любимый образ — суть ее души.

Потом машинально прибралась в комнате, бросив в угасающий камин полевую сумку Алексева с записями и стихами.

Под утро в комнате грохнул выстрел. Когда сломали дверь, Мария была мертва.

Ей было девятнадцать лет. Достаточно, чтобы любить во всю силу и красоту любви, так, как может любить только женщина, без оглядки, до крайней безотчетности, до полного самоотречения. И мало для того, чтобы понять, что... Впрочем, что должна была понять Мария? Что можно жить и без любви? Что уходить из жизни самовольно — проступок тяжкий, осуждаемый? Но — Джульетта, но — Ромео? Любовь судом обычным не судима...

Хоронили Алексева и Марию 2 января. Вместе, рядом, на одной трамвайной платформе, тихо катившейся от Нарвских ворот, стояли два гроба, обитые красной материей, сплошь покрытые живыми цветами. И толпы петроградцев шли траурной процессией. У Путиловского завода платформа остановилась. Из ворот вышли тысячи путиловцев, затопили до краев улицу, двинулись дальше, в сторону Красненького кладбища...

И вот отзвучали прощальные речи, вскинула вверх винтовки красноармейская рота, прибывшая из Гатчины на прощание со своим председателем революционного комитета.

Залп!.. Салют, дорогие мои Василий и Мария! Слава вашей любви, продолжающей веру в чистоту человеческих отношений, слава!

Залп!.. Салют, Мария! Слава тебе, умевшей любить честно и беззаветно, слава!

Залп!.. Салют, Василий Алексеев! Слава и вечная память тебе, не умевшему жить и работать вполсилы, честь и хвала уму твоему, так много понимавшему, сердцу, освещающему дорогу по жизни тем, кто мечтает научиться жить по-человечески, по-коммунистически... Слава!

...Вот и вся моя повесть о Василии Алексееве, вот и вся его жизнь. Вся ли?..

Слышу: гудит работяга-пароход «Василий Алексеев».

Вижу: взметнулись в салюте руки ленинградских пионеров у памятника Василию Алексееву: «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза — всегда готовы!»

Знаю: каждый день по улице имени Васи Алексеева на Кировский завод, который когда-то именовался Путиловским и где когда-то работал Василий, идут тысячи мо-

лодых девчат и парней — наша сегодняшняя гордость и завтрашняя надежда.

Большого смысла исполнен тот факт, что аллея Почета Кировского производственного объединения, где ныне делают самые мощные в стране тракторы, начинается с портрета Василия Алексеева. Это как дань памяти рабочему-самородку, талант и воля которого, как представителя своего класса, огромны и многогранны. Алексеев был кумиром пролетарского молодняка тех лет, в которые жил. Памятник ему, открытый 2 сентября 1928 года, был создан по инициативе и на деньги рабочей молодежи Ленинграда. Имя Алексеева знает сегодня каждый труженик завода, многие тысячи ленинградцев и всей страны.

Да, время уносит все... Все, кроме человеческой памяти, кроме памяти народа, человечества. Секрет бессмертия до ужаса прост: надобно (всего-то!) «поселиться» в этой памяти, быть нужным для многих сегодня и завтра. Своим исключительным знанием, новым открытием, подвигом. А если сказать одним словом и проще — особой значимости делом.

Вот Алексеев. В нынешнем году ему исполнилось бы девяносто лет, он был бы глубоким стариком, если бы остался жив. Хотя это очень сомнительно: слишком много губительных событий случилось за это время в истории нашей страны, чтобы он со своей вездесущной, неистовой натурой не нарвался на смертельный удар. Но будь Алексеев стариком или, как сегодня, «человеком-пароходом» и памятником, он наш современник. Потому что содержание и образ мыслей его, а еще более душевный настрой, поступки его созвучны с нашим сегодняшним представлением о том, как должен жить и бороться новый человек нового, социалистического общества. А если говорить точнее, потому что, прожив всего-то двадцать три года, Василий Алексеев вместе со своим поколением дал нам такой образец.

В самом деле, историческое сознание живущих сегодня людей — это не только свод научного знания, сбитого в неумолимые законы общественного развития, это еще традиции, обычаи и символы, в которых мы воспроизводим наше прошлое эмоционально, — одушевляя образы живших когда-то людей. Не всех, далеко не всех, а только тех, без кого жить невозможно, кто нам необходим. И тогда получается, что люди далекого прошлого непосред-

ственно участвуют в нашем бытии, становятся, вернее, остаются нашими современниками.

Да, и «родимые пятна прошлого» прилипают к нашим душам, и устаревшие идеи еще находят путь к умам иных людей. Несмотря на то, что мы изо всех сил боремся против них, ибо они мешают нам быстрее двигаться вперед. История, как единое временное состояние, как единство прошлого, настоящего и будущего, образуется из наследования не недостатков, не негативного, а прежде всего и главным образом того лучшего, позитивного, передового, что создается предшествующими поколениями во всех областях жизни. В том числе в духовном, нравственном развитии общества. Тут образец самоотверженного, героического поведения, тон которому задали современники Алексева и сам он, имеет непреходящее значение. Потому что образец этот, пройдя сквозь годы, в чем-то изменившись по форме под влиянием реальных исторических условий, в сущности остался тем же, присутствует в настоящем как продолжающийся процесс того изумительного прошлого, которое было для Алексева настоящим.

Такие вот метаморфозы, такая вот диалектика: настоящее Алексева для нас стало прошлым, но это прошлое присутствует в нашей жизни как ее момент, и потому оно настоящее, которое частью уйдет в прошлое, а частью — в будущее. В конце концов все мы должны научиться жить так, как жили Василий Алексеев, Павка Корчагин, Александр Матросов, Олег Кошевой и Юрий Гагарин: не только волей обстоятельств, но и собственной волей всегда быть на передовой — там, где идет борьба за правду, за новое, передовое, где решается вопрос о Революции и ее будущем; не позволять себе жить впосилах, впосилах любить и работать, не готовиться жить, а всегда — жить, писать свою жизнь сразу «набело», каждый день с большой буквы, с абзаца...

Память об Алексееве не угасает и среди комсомольских поколений. И здесь он пример того, каким должен быть подлинный комсомольский работник: не бюрократом и карьеристом, не нудным морализатором, как еще порой случается, а пламенным трибуном, человеком талантливым, умницей, беззаветным трудягой, подвижником.

В книжках и статьях об Алексееве, которые начали выходить вскоре после его смерти, его называли «великим идейным руководителем молодежи», «первым вождем ленинградского комсомола». Статей, сборников, вос-

поминаний об Алексееве много. Есть и книги, ему посвященные. О нем писали сразу после его смерти, еще не умея писать и не имея возможности с близкого расстояния понять, кем и чем был Василий Алексеев. Писали и потом, когда научились грамоте, когда мелкое уже и не виделось через десятилетия, писали все годы до нынешних дней, пишут сегодня.

Удивительно это: ни о ком из руководителей молодежного движения не писали так много и так хорошо, как об Алексееве. Даже его бывшие политические противники, а в обыденной жизни, думаю, его лютые враги. Тот же Григорий Дрязгов, к примеру, посвятивший свою книжку Василию Алексееву... Такое надо заслужить. Нет, завоевать. Надо быть сильным безусловно.

И он был таким — очень сильным, этот рабочий паренек небольшого роста и некрепкого здоровья. Он был силен огромным талантом жить для других, не думая о себе, не хоронясь от пуль и ударов судьбы. Вступив в классовую борьбу мальчишкой, он успел пройти подполье, испытать аресты, отсидеть свои сроки в тюрьме, вместе с большевистской партией взять власть в свои руки и испытать радость победы, получить смертельные раны, перетерпеть жестокие боли и страдания, выжить, чтобы строить новую жизнь, чтобы продолжать бороться и любить... и умереть — на взлете, с раскинутыми для полета крыльями, так и не отведав плодов своей борьбы, недолюбив и недопев своей песни, совсем еще мальчишкой — умереть... Было в его натуре крепкое зерно — раскаленная добела вера в возможность лучшей человеческой доли. Не для себя — для других. Конечно, он мечтал о счастье и для себя. И знал его формулу: жить для других... Мало жил? Ну что ж: пути земные у всех коротки. Жизнь же ценится, как давно замечено, не за долготу, а за содержание.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. П. АЛЕКСЕЕВА

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- 1896, 22 декабря — Родился Василий Петрович Алексеев.
- 1908 — Алексеева определили учеником ремесленного училища при Путиловском заводе Петрограда.
- 1911 — Алексеев становится мальчиком на побегушках, а затем учеником токаря пушечной мастерской Путиловского завода, помогает заводским большевикам распространять листовки, участвует в организации забастовок.
- 1912 — Алексеев вступает в РСДРП(б), ведет подпольную работу, распространяет ленинскую «Правду», пишет заметки в газету, большевистский журнал «Вопросы страхования».
- 1914, март — Алексеев организует демонстрацию рабочих завода «Треугольник».
- 1916 — В начале года избран членом бюро подпольного Нарвского райкома РСДРП(б), организатор партийных групп в районе. По заданию партийной организации создает на Путиловском заводе два подпольных кружка рабочей молодежи и руководит одним из них. В феврале арестовывается петроградской охранкой.
- 1917 — Алексеев один из активных организаторов Февральской революции на Путиловском заводе и заводе «Анчар». Депутат Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Главный организатор Социалистического союза рабочей молодежи Нарвского района, избран его председателем. Вместе с В. Васильевым, В. Невским, С. Косио-ром встречается и беседует с В. И. Лениным о молодежи. Делегат VI съезда РСДРП(б), где дважды выступает. Один из организаторов Петроградского социалистического союза рабочей молодежи, зам. председателя, а с сентября — председатель Петроградского комитета ССРМ. Редактор первого юношеского большевистского журнала «Юный пролетарий». Штурмует Зимний дворец.
- 1918 — Алексеев — нарком юстиции, председатель 1-го Народно-революционного суда Нарвско-Петроградского района, заместитель председателя Петроградского Окружного совета народных судей.
- 1919 — Алексеев — заместитель начальника Особого отдела 7-й армии, затем боец запасного полка, пулеметчик бронепоезда № 44 им. В. Володарского. Председатель Гатчинского ревкома.
- 1919, 29 декабря — кончина В. П. Алексеева.

- Ленин В. И. Полное собрание сочинений, тт. 7, 30, 34, 35. 36. Архангельский В. Петр Смородин. Серия ЖЗЛ. М., Мол. гвардия, 1974.
- Ацаркин А. Н. Жизнь и борьба рабочей молодежи в России. М., 1965.
- Ацаркин А. Н. Пролетарская революция и молодежь. Рождение комсомола. М., Мол. гвардия, 1981.
- Васильев В. Е. И дух наш молод. М., Воениздат, 1981.
- Вторая и третья Петроградские общегородские конференции большевиков в июле и октябре 1917 года. Протокол и материалы. М.—Л., ГИЗ, 1927.
- Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Изд. 2-е, доп. М., Юр. литература, 1952, т. 3, 4.
- Герои Октября. Биографии активных участников подготовки и проведения Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Том I. Л., Лениздат, 1967; то же, том II.
- Жив М., Куликов В. Рождение комсомола. М., Мол. гвардия, 1933.
- Костюченко С., Хренов И., Федоров Ю. История Кировского завода. (1917—1945). М., Мысль, 1966.
- Крупская Н. К. О коммунистическом воспитании. М., Мол. гвардия, 1956.
- Лейберов И. П. На штурм самодержавия. М., Мысль, 1979.
- Лейберов И. П. Свержение самодержавия. М., Наука, 1970.
- Леске Э. Страницы из истории комсомола. Л., Прибой, 1926.
- Лобов И. Сынок пушечной мастерской (рассказ об одном из основателей комсомола — Васе Алексееве). 2-е изд. — М., Мол. гвардия, 1929.
- Мительман М., Глебов Б., Ульяновский А. История Путиловского завода. 1801—1917. М., 1961.
- Нарвская застава в 1917 году. Л., Лениздат, 1960.
- Один из основателей комсомола Вася Алексеев. Сборник. Л., Прибой, 1926.
- Очерки истории Ленинградской организации КПСС. Л., Лениздат, 1962, ч. I; 1967, ч. II.
- Очерки Ленинградской организации ВЛКСМ. Л., Лениздат, 1969.
- Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Воспоминания активных участников революции. Л., Лениздат, 1956.
- О юношеской организации «Труд и Свет». — Юный коммунист, 1957, № 6.
- Протоколы VI съезда РСДРП(б). М., Партиздат, 1934.
- Петроград в дни Великого Октября. Л., Лениздат, 1967.
- Подвойский Н. И. Год 1917. М., Политиздат, 1958.
- Революционные традиции комсомола. Воспоминания петроградских комсомольцев. Л., Лениздат, 1958.
- Революционное движение в России в мае — июне 1917 г. — В кн.: Июньская демонстрация. Документы и материалы. М., Изд-во АН СССР, 1959.
- Революционное движение в России в августе 1917 г. — В кн.: Разгром корниловщины. М., Изд-во АН СССР, 1959.
- Самойлов Ф. Вася Алексеев. Л., Лениздат, 1964.

Скоринко И., Тютиков И. Вася Алексеев. М., Прибой, 1926.

Славный путь Ленинского комсомола. История ВЛКСМ. М., Мол. гвардия, 1978.

Славные традиции. Сб. документов, очерков, воспоминаний. М., Лениздат, 1958.

Трайнин А. С. Под знаменем революции. М., Мол. гвардия, 1974.

Труд и Свет. Петроградская пролетарская юношеская организация. П., 1917.

Трущенко Н. В. Источник силы. М., Мол. гвардия, 1973.
Центральный архив ВЛКСМ, фонды 1917 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
ГЛАВА ВТОРАЯ	48
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	109
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	142
ГЛАВА ПЯТАЯ	216
ГЛАВА ШЕСТАЯ	268
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	307
Основные даты жизни и деятельности В. П. Алексеева	348
Краткая библиография	349

Ильинский И. М.

И 46 Василий Алексеев. — М.: Мол. гвардия, 1986. — 351 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 5 (667)).

В пер.: 1 р. 60 к.

В книге рассказывается о Василии Петровиче Алексееве — пламенном большевике, человеке многих ярких дарований, беззаветного в служении революционному долгу, о его роли в создании Социалистического союза рабочей молодежи Петрограда — предшественника Ленинского комсомола, о работе в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, Нарвско-Петергофском райкоме РСДРП(б), в Народно-революционном суде, в ЧК, о том, как он воевал на бронепоезде № 44 имени В. Володарского, работал председателем Гатчинского ревкома.

И $\frac{470201020 - 068}{078(02) - 86}$ Без объявл.

ЗКП(092)
ББК 66.61(2)8

ИБ № 4948

Игорь Михайлович Ильинский

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ

Редактор **В. Левченко**

Серийная обложка **Ю. Арндта**

Художественный редактор **А. Степанова**

Технический редактор **Т. Шельдова**

Корректоры **Л. Шарапанова, В. Назарова**

Сдано в набор 21.10.85. Подписано в печать 05.02.86. А08048. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48 + 1,68 вкл. Усл. кр.-отт. 20,47. Учетно-изд. л. 21,9. Тираж 150 000 экз. (1-й завод 75 000 экз.). Цена 1 р. 60 к. Заказ 1664.

Типографии ордена Трудового Красного знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.